

**Министерство образования Российской Федерации
Саратовский государственный университет
им. Н.Г.Чернышевского
Московский государственный педагогический университет
Музей Н.Г. Чернышевского**

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Статьи, исследования и материалы

**Сборник научных трудов
Выпуск 15**

**Москва
2004**

Министерство образования Российской Федерации
Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского

Московский государственный педагогический университет
Музей Н.Г. Чернышевского

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Статьи, исследования и материалы

Сборник научных трудов

Выпуск 15

Москва
2004

УДК 84.3(2P)5

ББК 4-49

Редакционная коллегия:

А.А. Демченко, (отв. редактор), доктор филологических наук; *Ю.Н. Борисов*, (зам. отв. редактора), кандидат филологических наук; *С.В. Беспалова*, (редактор и организатор издания), заместитель директора музея Н.Г.Чернышевского; *В.Н. Белов*, доктор философских наук; *Е.П. Никитина*, доктор филологических наук; *В.В. Прозоров*, доктор филологических наук; *Н.А. Троицкий*, доктор исторических наук; *Н.В. Шалаева*, (компьютерная подготовка издания), кандидат исторических наук; *Г.П. Муренина*, директор музея Н.Г.Чернышевского.

Ч-45 Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы: Сборник научных трудов. Вып.15.

В сборнике представлены труды ученых Японии, Украины, Азербайджана, городов России (Москва, С.-Петербург, Астрахань, Пенза, Саратов), исследующих биографию Н.Г. Чернышевского, его литературно-критические, исторические и общественные взгляды, творчество писателя и публициста.

Для преподавателей, научных работников, студентов гуманитарных вузов, читателей, интересующихся историей русской культуры.

ISBN 5-243-00152-X

© Авторы, 2004

© МГПУ, 2004

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемый сборник продолжает серию публикаций научных трудов, посвященных историко-литературной, литературно-критической, художественной, общественной позиции Н.Г. Чернышевского во всем многообразии ее конкретно-исторических проявлений; целостности, сложности. Редакционная коллегия сборника стремилась к привлечению авторов, рассматривающих биографию и творчество писателя-демократа на широком фоне эпохи второй половины XIX века. Большинство авторов — участники октябрьских научных чтений «Чернышевский и его эпоха», проводимых государственным музеем-усадьбой Н.Г. Чернышевского (ГМУЧ, Саратов) и Саратовским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). Выступления ученых из Японии и стран СНГ придают чтением (и сборнику соответственно) международный характер.

Традиционно сборник состоит из двух разделов: «Исследования и статьи», «Сообщения и материалы».

Первый открывается трудами о Н.Г. Чернышевском как художнике слова и литературном критике. В статье профессора И.П. Щерблыкина (Пенза) на материале романов «Что делать?» и «Пролог» рассмотрено своеобразие художественной трактовки Чернышевским исторических процессов, связанных с возможными революционными катаклизмами. Профессор Т. Симосато (Япония) оценивает значение критического наследия писателя с точки зрения задач современной критики. С актуальными культурологическими аспектами связывает творчество Чернышевско-

го профессор Е.В. Листвина (СГУ). Исторические, философские, эстетические, социологические, политические взгляды писателя исследуют профессор С. Сигиура (Япония), профессор В.Н. Белов, кандидат исторических наук Н.В. Шалаева и кандидат филологических наук Н.М. Белова (СГУ), К.В. Ратников (Москва). Японский профессор О.Он предлагает обзор изучения Чернышевского в Японии. Сотрудники музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского изучали проблематику «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя — сочинения, в свое время неоднозначно оценивавшегося Чернышевским (С.В. Беспалова), рассказ современного писателя В. Пелевина «Девятый сон Веры Павловны», рассмотренный в контексте социальной утопии Чернышевского (С.В. Клименко), поэтическое творчество Александра Чернышевского, старшего сына писателя (Г.А. Аветисян).

Второй раздел сборника включает работы преподавателей Педагогического института СГУ Т.Н. Метласовой, разыскавшей в московском литературном архиве неопубликованные варианты предисловия романа Чернышевского «Повести в повести», О.Я. Гусаковой, изучающей историко-критические оценки деятельности Н.Полевого, которые содержались в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевского. Интерес представляют публикации работников высшей школы Е.Н. Багдасаровой (Астрахань), Е.Н. Мановой (Саратов), посвященные воспоминаниям современников о Чернышевском, и З.И. Рустамовой (Азербайджан, Баку), выясняющей роль «Дневника» Чернышевского в его жизни и творчестве. Любопытный материал об отношении к спиритизму во времена Чернышевского разных слоев русского образованного общества прислал профессор О.Он (Япония). Редколлегия сборника по-прежнему внимательна к материалам о писателях и ученых — современниках Чернышевского, представленным доктором филологических наук Б.В. Мельгуновым (Пушкинский Дом, Петербург) о Н.А. Некрасове, профессором Ю.А. Пинчуком (Украина, Киев) о Н.И. Костомарове, кандидатом филологических наук О.В. Тимашовой (СГУ) о А.Ф. Писемском, профессором В.И. Порохом (Саратов) о М.И. Семевском, кандидатом филологических наук Г.Ф. Самосюк и аспиранткой Е.А. Ремпель (СГУ) о М.Е. Салты-

кове-Щедрине, профессором Р.В. Булатовой (Москва) о А.Н. Пыпине. А.Н. Пыпину посвящены также работы сотрудников музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского А.С. Озерянского и И.В. Пузанковой.

Сборник завершается статьей о научных работах многолетнего члена редколлегии Игоря Васильевича Пороха, исследователя творчества Чернышевского.

Художественная интерпретация истории в романах Н.Г. Чернышевского

И.П. Щерблякин
(г. Пенза)

Историческая позиция Н.Г. Чернышевского, ее отражение в художественных произведениях и научно-публицистических выступлениях писателя рассмотрены достаточно полно¹. Но нуждаются в уточнениях по меньшей мере два вопроса: в чем заключается своеобразие *художественной* трактовки исторических процессов в романах Чернышевского и какое значение придавал он так называемым революционным взрывам в деле общечеловеческого, в первую очередь национального, русского прогресса. Рассмотрим эти вопросы, обращаясь к крупнейшим литературным произведениям Чернышевского — романам «Что делать?» (1863) и «Пролог» (1867—1871).

«Что делать?» по основному своему жанровому признаку — не исторический роман в обычном смысле. Это роман о современности, о «новых людях», людях 50—60-х годов XIX века. Однако именно потому, что перед нами рассказы о «новых людях», в романе проступают и исторические контрапункты, отражающие понимание этими людьми прошлого, настоящего и будущего. Будущее воспроизводится в романе не только как фантастическое, но и как *исторически неизбежное* будущее. «Золотой век» — так оно именуется в романе, стремиться к нему может всякий человек, а для общества это даже необходимо. Исторический компонент входит, следовательно, в состав романного

повествования Чернышевского как одна из сторон нового *миропонимания*, воплощенного в чувствах и поступках основных персонажей.

Что представляет собой это миропонимание? Иначе говоря, как сам Чернышевский воспринимал историю, поскольку субъектная зона повествования в романе «Что делать?» это, как я думаю, стопроцентно авторская зона самовыражения в отличие, предположим, от романов Достоевского, где голоса персонажей, по Бахтину, есть голоса «идей», имплицитно не обязательно совпадающих с позицией автора².

У Чернышевского, разумеется, иначе — и многие художественные ситуации романа если не прямо, то опосредованно отражают идеи автора, его позиции. «Исторический путь, — говорил Чернышевский, — не тротуар Невского проспекта»³, т. е. не ровный, отглаженный, а зигзагообразный путь. И все же в неровном, подчас стихийном движении истории есть свои стадии развития. Аллегорически они запечатлены в четвертом сне Веры Павловны, в изображении четырех форм любви.

Нас не может удивлять то обстоятельство, что этапы исторического развития Чернышевский раскрывает через положение женщины, формы ее любви. Это качественная мера человеческой жизни идет еще от Руссо. Но Чернышевский придает ей более широкий и социально заостренный смысл.

Четыре формы любви — четыре этапа человеческой истории. Первая форма — любовь Астарты, то есть рабыни телом и душой. Это олицетворение рабовладельческого общества. Вторая форма — любовь Афродиты, то есть женщины свободной телом, но еще не свободной душой. Люди поклоняются ее красоте, но не признают в ней человеческого достоинства. Эта форма любви отражает отношения рабовладельчества и раннего Средневековья. Третья форма любви — любовь «рыцарская». Мужчина поклоняется красоте женщины, даже бьется за нее, но когда она становится его женой — она оказывается его *подданной*. Эти отношения исторически соответствуют эпохе феодализма и буржуазным *периодам*, когда богом человека становится собственность не только в материальных, но и духовных сферах. Все три жрицы любви продолжают царствовать, говорит Вере Павловне Новая

красавица. Но царства их падают, и скоро они исчезнут, и «я одна останусь царствовать над всем *миром*»⁴.

Кто ж она, эта Новая красавица, и почему с нею можно, по Чернышевскому, связывать представления о ходе исторического развития всего человечества? В нашем литературоведении за этим образом утвердилось имя «Светлой красавицы». Иногда даже пишут с большой буквы. Данный термин имеется в пятом параграфе четвертого сна Веры Павловны. Следовательно, «Светлая красавица» — это название от повествователя: он часто обозначает предмет или явления (и даже лицо) одним словом, а затем его уточняет. И в уточнениях подобного рода скрывается истинный смысл определения. Посмотрим теперь, что означает уточнение к термину «Светлая красавица»: «Это новое во мне. То, чем я отличаюсь от них (т. е. от Астарты, Афродиты и девы «Непорочности». — *И.Щ.*), это *равноправность* любящих»⁴ (т. 1, с. 373). Обратим внимание: не «равенство, братство и свобода», что часто относят к Чернышевскому, недоумевая, как он мог проповедовать равенство между людьми, когда его нет и в самой природе, а *равноправность*! Вот тут нынешние недоброхоты Чернышевского попадают в ловушку: они защищают права человека, которых не может быть без *равноправности*, и в то же время отвергают Чернышевского!

А ведь Чернышевский как раз и был защитником, притом не абстрактных, а реальных *прав* человека. Но идем дальше по тексту: «Я свободна», — говорит Новая красавица, и этим она, безусловно, выражает потребность исторического развития человечества в XIX веке. Но почему она свободна, и в чем заключается вообще истинная свобода общества? «Я свободна», — говорит Новая красавица, защищая равноправность, потому что «во мне нет обмана, нет притворства»⁴ (т. 1, с. 373). Повсеместную несвободу своего времени ощущал Л. Толстой именно в силу засилья обмана или, как говорил сам писатель, огромного количества «лжей», которые опутали и уничтожали современного человека.

Таким образом, по Чернышевскому, в качестве важнейших для исторического прогресса оказываются два условия: 1) *равноправность любящих* (а не соревнующихся в ненависти к друг другу) людей и 2) свобода как состояние, где нет «обмана, нет притворства».

Эти мысли Чернышевского не только не устарели, они приобретают для современного общества особую остроту и оказываются спасительными, если угодно, в той круговерти, в которой оказалось наше общество. Уменьшим «притворство и обман» хотя бы наполовину, значит, обречем истинную свободу; если этого не произойдет — стремление к свободе, которой мы, безусловно, дорожим, окажется иллюзорным.

На как же, по Чернышевскому, обрести «равноправность» и «не обманную» свободу? Вопрос этот у нас долгое время решался все-таки рутинно, потому что более ста лет наша литературоведческая мысль развивалась под сильнейшим социологическим давлением. И сейчас он не устарел, хотя и принял другие формы. Мы не будем отвергать необходимость осмысления литературных явлений с учетом социального фактора. Однако делать это нужно в пределах текста, не разрушая художественной и, значит, основной смысловой логики повествования.

К сожалению, в истории отечественной критики и литературоведения часто и многие сходились на том, что главное у Чернышевского это проповедь революции⁵ — едва ли не в каждой строчке повествования. И это дает сегодня повод противникам революционных потрясений в истории пренебречь наследием Чернышевского, исключить его из широкого общественного обихода. О том, что при этом мы многое теряем, прежде всего в сфере нравственных завоеваний, — говорить не стоит: это очевидно! Но хочется сказать, что мы искажаем литературный текст Чернышевского, когда старательно выискиваем в нем знаки революционных эманаций. Между тем сам Чернышевский, как я думаю, не считал революцию панацеей от всех социальных исторических бед⁶. И себя не считал революционером.

Обратимся к роману «Пролог», точнее — к первой его части «Пролог пролога». Описываемые здесь события были для автора уже в прошлом, т. е. историческими. В данном случае речь идет о предреформенной поре конца 50-х годов XIX века. Условимся, что Волгин при некоторых несходствах в деталях — это лицо, почти адекватно отражающее мысли Чернышевского. С учетом этого рассмотрим, что говорит Волгин по поводу революционных событий во Франции 40-х годов XIX века и заодно — о револю-

циях вообще. В первые годы правления Людовика Филиппа «республиканцы, — говорит Волгин, — подымали несколько восстаний» — и все неудачно. «А чего было и соваться? — продолжает Волгин. — Если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего: преспокойно получали бы уступки одну за другою, дошли бы и до власти с согласия самих противников. Когда видят силу, то не будут вызывать на бой — смирятся, самым любезным манером. Ох, нетерпение! Ох, иллюзия! Ох, экзальтация!!!»⁴ (т. 2, с. 69).

Не думаю, чтобы Чернышевский таким образом скрывал от цензуры свои собственные мысли. Они выражены здесь напрямую — и очень здравые! «Революции», то есть потрясения, происходят тогда, когда мало сил и вся надежда на случай. Когда есть силы, все происходит так, как при смене суток: с рассветом отходит, исчезает тьма! Чернышевский мечтал о рассвете, о «золотом веке», который наступит при наличии здоровых сил. Для этого он писал книги, печатал статьи в журналах.

Теперь по тексту перейдем к другому историческому событию — произошедшему накануне отмены крепостного права. «У меня такой характер, мнительный, заставляющий меня... ненавидеть риск, — говорит о себе Волгин. — Я не желаю, чтобы делались реформы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом»⁴ (т. 2, с. 179). А какие реформы Чернышевский-Волгин признал бы удовлетворительными? Такие, когда земля отдавалась бы крестьянину без выкупа, когда правительство, желая избежать стихийных выступлений крестьян, оставило бы мужикам их земли на правах общего владения.

Как выясняется в романе, помещики и либералы боялись как раз этого и ненавидели Волгина за то, что он своей пропагандой мог склонить правительство к такому выгодному для него и народа шагу. Но ни правительство, ни общество, ни народ не нашли в себе сил решить дело как надо. Правительство испугалось недовольства помещиков, а у общества и народа не хватило умения разумно и энергично отстоять свои права. Именно по этому поводу произнесена фраза: «Жалкая нация!.. Нация рабов! — снизу доверху, все сплошь рабы...»⁴ (т. 2, с. 252). То есть не сумели

решиться на очевидную и обоюдную выгоду! Эта фраза сказана вовсе не по поводу того, как мы долго толковали, что крестьяне не выступили с восстанием после реформы, а по поводу того, что верхи и общество не поняли своей исторической задачи, остались во власти личных корыстных интересов, не поощрили природную тягу русского крестьянства к коллективному, общественному труду. В пользу такой позиции Чернышевского свидетельствует и объяснение Соколовского (Сераковского иначе), где Волгин характеризуется как «представитель ужасных мнений, к которым очень легко может склониться правительство, — мнений ужасных, но врожденных русскому народу, народу мужиков, не понимающих ничего, кроме полного мужицкого равенства и приготовленных сделаться коммунистами (коллективистами. — *И.Щ.*) потому, что живут в общинном устройстве... Правительству народа мужиков, — заключает Соколовский, — очень естественно принять мужицкие идеи» (2, 249). Но ни правительство, ни общество не приняли этих «ужасных мнений» — и потому Волгин общественную ситуацию, сложившуюся к 1857 году, оценивает как «бессмыслие, — бессилие, беспомощность»⁴ (т. 2, с. 249). К чему это привело впоследствии, хорошо известно.

Таким образом, и в «Прологе пролога», даже в подтексте, не угадывается идея «революционных потрясений» — это слишком слабый, рискованный способ решения исторических задач. Примечательно, что Волгин «не считал себя борцом за народ (т. е. революционером. — *И.Щ.*): у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого, что русский народ не способен поддерживать вступающих за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?.. Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания»⁴ (т. 2, с. 253).

Итак, русский народ не способен поддержать вступающих за него. Это звучит парадоксально, хотя и не раз подтверждено историей. Но данное заключение Чернышевского совершенно не может быть обидным для нас. Во-первых, потому, что народ есть народ, и от него на каждый конкретный момент нельзя ждать *больше* того, что он может. Во-вторых, — и это очень важно учесть — у всех народов так! Вспомним, что по статистике Чернышевского у французов лишь несколько десятков тысяч из де-

вяти миллионов участвовало (процент мизерный) в так называемой великой французской революции. А более 99 процентов предавались своим каждодневным занятиям. И удивляться здесь нечему. Жизнь ведь не для «революций» предназначена, а для жизни...

О том, что Чернышевский в его годы не мог надеяться на революционное восстание крестьян (и, следовательно, не мог им адресовать свое гневное суждение о «жалкой нации»), что как политический деятель автор статьи «Не начало ли перемены?» (1861) больше уповал на «разумность» управленческих слоев, свидетельствует еще один эпизод из «Пролога пролога». Мы имеем в виду диалог между «усатым стариком-помещиком» и Волгиным на квартире у либерала Рязанцева (прототипом его считается К.Д. Кавелин). Волгин, втянутый в споры о крестьянской реформе, говорит старику-помещику как бы с раздражением:

«Идите тою дорогою, которую открывают вам слова Савелова (предполагается — Н.А. Милютин. — *И.Ш.*) — Идите ею. <...>

— Хорошо, грозите, милостивый государь: Ваши угрозы не слишком-то страшны; войско разгонит ваших милых мужичков.

— Я знаю это, — говорит Волгин, — мужицкий бунт *не важная* (курсив мой. — *И.Ш.*) опасность для Вас. Войско *легко подавляет* мужицкие бунты»⁴ (т. 2, с. 263).

С учетом этого, очевидного для Волгина, обстоятельства абсурдно предполагать, что Чернышевский-Волгин, хорошо знавший, как «легко» подавляются мужицкие бунты, звал бы без того несчастных крестьян к революционному восстанию.

Это чудилось только таким господам, как «усатый помещик», который сразу же вспылил: «Вы грозите революциею, милостивый государь?» «Понимайте, как вам угодно, — отвечает Волгин. — И запретить, если Вам угодно донести на меня, не могу»⁴ (т. 2, с. 263). И, как мы знаем, — доносили: Чернышевский — «отчаянный коммунист» и пр... Таким мы его и приняли на многие годы после Октября 1917 года.

Но, с дугой стороны, — в чем же Чернышевский-Волгин видел смысл своей работы, почему он всех российских либералов-реформаторов считал болтунами и дурачьем? Что он хотел сам, к чему стремился?

Загадка здесь в том, что «дурачками» Чернышевский считал неподготовленные реформы, реформы, несущие бедствия наро-

ду и обществу. А вот *разумные* реформы, точнее преобразования, которые осознаны обществом и народом и прошли бы без *обмана и проволочек*, — этого Чернышевский как раз и хотел, и на это была направлена его научная, публицистическая и литературная деятельность.

И тут все логично, потому что позиция Чернышевского была правильной. Что толку силиться осуществить революцию, когда «снизу доверху — все рабы»?.. Следовательно, первоочередной исторической задачей по Чернышевскому-Волгину, было *политическое воспитание* общества и — сколько возможно — народа, но в большей степени общества, ибо локомотивом истории являются не революции, как считали марксисты, а общественное мнение, психонастроение среды. «Толкуют, — читаем в „Прологе“, — «Освободим крестьян». Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил для него»⁴ (т. 2, с. 135).

И мы, вслед за Чернышевским, скажем в заключение, что в исторических ситуациях, даже самых драматических, нелепо надеяться на *коренные* изменения, когда нет сил (прежде всего духовно-нравственных), когда нет должного *сознания*, не выработано чувство гражданского и национального достоинства. Будет достоинство — будет и сила, от этой силы отступится тьма. «Перемены декораций» пройдут тогда легко и радостно, как это случилось в романе «Что делать?». Другого пути в истории нет. В начале накопление в обществе здоровых сил, достоинства и чести, а потом, как говорил Чернышевский, — краткие моменты усиленной работы...»⁷.

«Усиленная работа» — это не бунт, взрывающий все, в том числе выстраданный потенциал чести и сознания. Усиленная работа — это приведение всех общественных институтов, в том числе институтов управления, в соответствие с накопленными силами чести и самосознания. С этой именно стороны, по нашему убеждению, следует подходить к оценке исторических прогнозов Чернышевского, что соответствует нашим задачам, потребностям сегодняшнего дня. Данный акцент не придуман нами. Он в логике художественных текстов писателя.

Примечания

¹ См.: *Шапиро А.Л.* Вопросы русской истории в произведениях Чернышевского // *Н.Г.Чернышевский. Сб. статей к 50-летию со дня смерти великого революционера-демократа.* Саратов, 1939; *Новиков М.И.* Философия истории Н.Г.Чернышевского // *Наукові зап. Харківського пед. ін-ту,* 1940. Т. V. С.63—92; *Молок А.И.* Н.Г.Чернышевский и революция 1848 года // *Н.Г.Чернышевский (1889—1939).* Тр. научн. сессии к пятидесятилетию со дня смерти. Л., 1941; *Скафтымов А.П.* Статьи о русской литературе. Саратов, 1958; *Покусаев Е.* Н.Г.Чернышевский. Очерк жизни и деятельности. Изд. 4-е, испр. и доп. Саратов, 1967; *Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г.* Чернышевский или Нечаев? М., 1976; *Демченко А.А.* Н.Г.Чернышевский. Научная биография. Ч. III. 1859—1864. Саратов, 1992.

² *Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 4-е. М., 1979. С. 36—46.

³ *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: т. 15 т. (16-й доп.). М., 1939—1953. Т. 7. С. 923.

⁴ *Чернышевский Н.Г.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1974. Т. 1. С.369. Остальные цитаты на это издание в тексте.

⁵ *Луначарский А.В.* Статьи о литературе. М., 1988. С.235.

⁶ Мои ранние публикации на эту тему относятся к 1990 году. См.: *Щеблыкин И.* «Так есть ли тут «Марат верхом на Пугачеве?» // *Литература в школе.* М. 1990. №6.

⁷ *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 6. С.13.

Тосиюки Симосато
(Япония)

Нельзя не признать, что до сих пор в Японии значение эстетической теории Чернышевского недостаточно понимали и оценивали, хотя и были переведены на японский язык его главные сочинения, например: «Эстетические отношения искусства к действительности», «Антропологический принцип в философии» и роман «Что делать?». Вообще говоря, у нас интерес исследователей к произведениям был сосредоточен в основном на темах политических и экономических. Конечно, у нас есть специальное исследование по его эстетике. Профессор К. Идэ в своей статье в противоположность необоснованному суждению о Чернышевском как «разрушителе эстетики» подчеркивает его преемственное отношение не только к эстетике Гегеля, но и к эстетической традиции Древней Греции¹. Но кроме этой и еще немногих работ в Японии почти нет серьезного труда по эстетике Чернышевского.

В связи с этим хочется отметить, что в настоящее время многие японские русисты считают, что изучение работ Чернышевского по эстетике неактуально. Однако мне кажется, что под утверждением о «несовременности» исследования эстетики Чернышевского скрывается глубокий намек на новое понимание смысла его произведений. Дело в том, что его эстетическая теория по своей логической структуре имеет своеобразный характер, восприятие которого всегда сильно зависело от конъюнктуры, следовательно, при любом истолковании его произведений нельзя избежать того, что толкователь выражает свое понимание Чернышевского, прежде всего через призму современной ему ситуации. В таком случае можно считать, что в этой кажущейся «несовременности» для современных читателей эстетика Чернышевского начинает включать в себя своеобразное отражение не только проблем современности, но и ранее недостаточно освещен-

* Пер. с яп.

ные стороны его работ. Именно с такой точки зрения я хотел бы предложить свою интерпретацию того, какое значение имеют работы Чернышевского для современной критики.

Вначале я хотел бы объяснить задачи критики в современном японском обществе. При этом под «критикой» я понимаю не только литературную критику, но и критику вообще как оценку взглядов. Сегодня в Японии в процессе развития системы средств массовой информации все более и более возрастает роль «умения адресата» критически воспринять данную информацию и адекватно рассуждать о ней на основе ценностной ориентации, которая была получена на опыте собственной жизни. Такое умение «воспринимателя» критически и самостоятельно относиться к каждой информации или знакам о том или ином явлении становится исключительно важным в современном коммерциализированном обществе, в котором всякая информация, особенно рекламная, передаваемая средствами массовой информации, сконструирована по преднамеренному направлению и почти всем «воспринимателям»-потребителям трудно освободиться от разного влияния намерений предоставляющего, в том числе и спонсоров данной информации. Конечно, можно заметить обратное отношение между «информацией и ее «предоставляющими»! Без поддержки со стороны адресатов информации «предоставляющие» ее не в состоянии продолжительно и эффективно заниматься своей деятельностью. Но если плюрализм в сфере системы средств массовой информации недостаточно гарантирован, то возникает проблема. Тогда умение критически воспринять данную информацию становится жизненно важным, потому что без такого умения люди попадают в полное рабство монополизированному информационному агентству. Конечно, в современной цивилизованной стране нет явной цензуры или контроля власти над прессой, но незаметный и скрытый контроль над информацией ощущают почти все критически мыслящие люди. В этом смысле можно отметить параллелизм между задачами Чернышевского и современной критики.

Для того чтобы выяснить актуальность эстетики Чернышевского, нам надо внимательно истолковывать текст и контекст его трактата «Эстетические отношения искусства к действительности».

ти» с точки зрения не только автора, но и читателя того времени, так как выяснение разнообразных вариантов истолкования смысла его сочинения с позиции читателя открывает намерения самого Чернышевского, который подчеркнул значение роли «жизни», т. е. роли живущего читателя — «воспринимателя» по отношению к искусству.

Несомненно то, что цель его магистерской диссертации — выяснить новые задачи искусства в новых условиях того времени, т. е. в контексте господства «реального» направления в науке. Можно сказать, что его намерением является установление обновленной ценности искусства в потоке господствующего направления «уважения к действительной жизни». Словом, цель его эстетики — примирение искусства с новой действительностью второй половины XIX века, согласно традиции Белинского. Именно в этом смысле его сочинение не могло не иметь облик «несовременности» в «век монографий» и «специальных исследований». Здесь надо обратить внимание на то, что тогдашние тенденции в умонастроениях представили искусству позитивистский подход как метод научного познания, в котором первое место занимали естественные науки, изучение природы, в том числе и человеческой. Вообще говоря, методология позитивизма состоит в том, чтобы свести мир, который раньше обобщался под именем «Бога» или «Идеи», к таким эмпирическим наблюдаемым элементам действительности, как «факт». Отрицая метафизические начала, позитивизм пытался вывести «истинное» исключительно из «фактов», взятых посредством одностороннего наблюдения над действительностью, т. е. из пассивного восприятия данных опытов. При такой позиции нельзя не впасть в фатализм. Так называемое реальное направление включает в себя такого рода потенциальную опасность. Для Чернышевского важно было обойти подобную ловушку.

Главная его задача состоит не в том, чтобы свести метафизическое «идеальное» к физическим элементам и свести на нет его собственное качество, а в том, чтобы преобразовать «идеальное», т. е. творчество человека, в духе реалистического понимания мира. Поэтому его цель — актуализация творческой «духовной деятельности» на почве реальности или реализация интеллектуальной прак-

тики в противовес оправданию ее самой по себе, независимо от реального мира. Чернышевский написал в предисловии так:

«Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике.

Автор не меньше, нежели кто-нибудь, признает необходимость специальных исследований; но ему кажется, что от времени до времени необходимо также обозревать содержание науки с общей точки зрения; кажется, что если важно собирать и исследовать факты, то не менее важно и стараться проникнуть в смысл их. Мы все признаем высокое значение истории искусства, особенно истории поэзии; итак не могут не иметь высокого значения и вопросы о том, что такое искусство, что такое поэзия»².

Для того чтобы адекватно понять его высокую оценку истории искусства, нужно обратить внимание на сложные отношения Чернышевского к философии Гегеля и к сочинению «Сущность религии» Л. Фейербаха.

В предисловии к третьему изданию (1888) своего сочинения Чернышевский высказал, что он «желал быть только истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике»³. Мне кажется, что хотя и слишком схематично, но можно выразить эти отношения следующим образом: если по философии Гегеля действительность является процессом воплощения «абсолютной идеи», то по антропологии Фейербаха сущность «абсолютной идеи» состоит в действительной человеческой деятельности. В предисловии ко второму изданию «Сущность христианства» Фейербах утверждал, что в сфере практической философии он сам признает себя «идеалистом», но для него «реализм» должен быть отнесен именно к сфере теоретического познания о прошлом. Чернышевский пошел дальше по направлению к реальности. Для него даже в сфере практической философии идеальное должно найти свое место на почве реальности. Именно в этом пункте и проявляется оригинальность его произведения, представленного в качестве диссертации. Таким образом, он смог стать реалистом и в области эстетики, следовательно, он смог утвердить собственное значение практика, творца «прекрасного» в действительном мире. В рамках такой схемы можно оценить значение задачи его эстетики как окончательную секуляризацию мира посредством централизации человеческой жизни в мире.

В такого рода отношениях мы можем заметить, что его понимание «жизни» при определении «прекрасного» имеет предназначение поставить настоящего живущего человека и его деятельность в центр истории искусства человечества как результата взаимодействий живущих и мертвых. История искусства является продуктом деятельности ранее живущих, а ныне мертвых людей. В этом аспекте становится ясным значение понятия «воспроизведение жизни» в его определении искусства. Мне кажется, что смысл того, что Чернышевский акцентировал внимание на концептуальной разнице между понятиями «воспроизведение» и «подражание» псевдоклассической теории, состоит в том, что в отличие от «дагерротипного копирования» или «мертвой копировки» действительности понятие «воспроизведение жизни» включает в себя определенные направления и цели, т. е. это ценностная ориентация. Очевидно, что «воспроизведение жизни» означает не простое повторение действительности, а улучшение ее в виде «суррогата»⁴, «Handbuch» для начинающего изучать жизнь⁵, «учебника жизни»⁶, в котором художник должен определить «прекрасное» и «ужасное», опустить «все случайное» с помощью «живого смысла».

Во времена Чернышевского задачи эстетики реализовывались через псевдоклассические идеалы и понятия, через «подражание», через мертвое повторение по отношению к действительности, которое может послужить только воспроизводством чувств и вкусов, соответствующих данному порядку. Поэтому можно считать, что для обновленных задач русской эстетики немецкая эстетика явилась средством, а не главным предметом критики. Исходя из этого, целью искусства, т. е. целью деятельности творческой интеллигенции, должна была стать реформация чувств и вкусов образованных людей через воплощение чувств и вкусов, в некотором роде ориентированных на «прекрасную жизнь» народа. В таком смысле, кажется, Чернышевский написал: «Прекрасное как единство идеи и образа, или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем смысле слова или „уменья“, цель всякой практической деятельности человека»⁷.

В современном обществе нельзя не заметить поверхностный ценностный релятивизм и непрерывное изменение явлений ре-

альности, скрывающие в себе постоянное доминирование определенных ценностей. Очевидно, что в так называемой «несовременности» эстетической теории Чернышевского отражается резкая противоположность ее задач современно действительности. Иначе говоря, определение Чернышевского «прекрасное есть жизнь» до сих пор не полностью понимается и не воплощается в современной жизни. В противовес его определению сегодня в мире господствует «ужасное» в качестве «прекрасного», кроме того, «случайное» все более и более становится фактором, определяющим судьбу и жизнь людей⁸. Следует отметить, что воззрение Чернышевского на эстетическое отношение искусства к действительности остается «приговором» явлениям современной жизни.

Примечания

¹ *Идэ К.* Эстетика // Н. Г. Чернышевский: его жизнь и мысль. Токио, 1981.

² *Чернышевский Н.Г.* Эстетические отношения искусства к действительности. Издание 2-е, А.Н. Пыпина. СПб., 1865, с. 3—4.

³ *Чернышевский Н.Г.* Сочинения. В 2 т., М., 1986. Т. 1, с. 208.

⁴ Там же. С. 156.

⁵ Там же. С. 167.

⁶ Там же. С. 170.

⁷ Там же. С. 172.

⁸ По определению Чернышевского, «в действительной жизни трагическое большею частью случайно» и «трагическое по понятиям нового европейского образования есть „ужасное в жизни человека“ (там же, с. 171). В таком смысле мы можем объяснить современную ситуацию всего мира, не только России.

Проблема культуры повседневности — одна из актуальных проблем сегодняшнего дня. К ней обращаются сейчас по различным поводам, пытаясь с ее помощью расшифровать и объяснить многие феномены культуры.

Осмысление повседневности в современной науке трактуется как изучение процесса жизнедеятельности индивидов, развертывающегося в привычных общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий, как некая «верховная» реальность, определяющая все остальные реальности и состоящая в интерпретационной деятельности участников повседневных взаимодействий¹.

Таким образом, культурные явления современности или прошлых исторических эпох являются предметом исследования культуры повседневности. Исследование в ее области — это всегда изучение динамики, движения культурных феноменов в рамках актуальной культуры. Мы постараемся рассмотреть феномен Н.Г. Чернышевского в этом ключе, поскольку его фигура является знаковой в отечественной культуре, как бы ни пытались это отрицать некоторые исследователи.

Начиная с XIX века, имя Н.Г. Чернышевского и все, что было связано с его политической деятельностью и литературным творчеством, стали активно участвовать в формировании культуры повседневности. В 60-е годы XIX века среди молодежи создавались сообщества по образу и подобию знаменитых мастерских Веры Павловны, да и сами образы молодых героев не только становились интересными литературными персонажами, но и создавали определенную программу действий как для девушек (самостоятельность, активность, стремление к образованию и социальной жизни Веры Павловны), так и для молодых людей (аскетизм и целеустремленность Рахметова, нравственные критерии Лопухова и Кирсанова). Причем следует отметить, что герои романа с их стилем жизни воспринимались в первую очередь не как абстрактные героические личности, а как современники, собеседники, товарищи. У молодых шестидесятников XIX века ге-

рой Н.Г. Чернышевского и сам Николай Гаврилович вызывали ощущение сопричастности, совместного действия, своеобразной домашности, этической и интеллектуальной близости.

Хотя личность Н.Г. Чернышевского окутывалась ореолом недосягаемости и мученичества, связывалась с потребностью его канонизации, но и этот процесс в значительной мере вводит Н.Г. Чернышевского в систему культуры повседневности XIX века, поскольку в русской традиции мученики всегда воспринимались как неотъемлемая часть культуры, формирования нравственных канон и определения идеалов, к которым следует стремиться. Благодаря этому процессу образ Н.Г. Чернышевского вошел на уровне повседневности в культурный код отечественной культуры.

Какое место в современной культуре повседневности занимает Н.Г. Чернышевский? Можно ли утверждать, что у него есть своя ниша? В чем это выражается?

Во-первых, в культуре повседневности XX века для многих поколений Н.Г. Чернышевский связан со школьной программой. Под ее влиянием шло формирование его образа и образов его героев. В результате получилась иллюзия «всеобщего знакомства», определяемая поверхностным знанием, часто заменяемым пересказом учебника. Имеется определенная статистика, собранная автором статьи, отмечающая неформальное, заинтересованное отношение к роману, положительные, неординарные эмоции в основном у тех, кто самостоятельно читал «Что делать?» в школьные годы (по болезни не присутствуя на уроках). Не в упрек советской школе, которая несла конкретную идеологическую нагрузку, следует сказать о многопластовости романа. На нее в меньшей степени обращали внимание в рамках школьной программы, но ее интуитивно чувствовали читатели. А именно многопластовость, многосмысленность, по определению Л.Н. Кога-на, отличает высокое качество произведения и создает условия для его сохранения в культуре повседневности. Поэтому герои романа, их образ жизни и стиль мышления, определяющий их поступки, а вслед за ними и сам автор твердо заняли свое место в нашей повседневной культуре.

В рамках культуры повседневности мы сталкиваемся и с другим, не менее интересным феноменом. Это — один из самых рас-

пространенных вопросов, которые в разной форме (как действенной, так и риторической) пытаются решить многие поколения наших соотечественников: «Что делать?». Он стал феноменом русской культуры, узнаваемым семантическим кодом «для тех, кто знает, о чем идет речь». Емкость и изобилие контекстов, используемых при произнесении этой фразы, не понятны не знакомым с нюансами не только русской культуры XIX века, но и в большей степени с теми значениями, которые вкладывались в этот вопрос в веке двадцатом. Диапазон использования его велик: это могло быть произнесено иронически, в плане современного «цитирования» как способа самовыражения, характерного для интеллектуальной постмодернистской среды.

Но тут же вмещивается массовая культура, которая показывает, насколько имидж, собирательный образ Н.Г. Чернышевского вошел в национальное самосознание как образ «своего», образ, с которым могут происходить самые удивительные трансформации в том же постмодернистском духе, но уже на уровне кича. И мы сталкиваемся с такими явлениями, как водка «Что делать?», кафе «Что делать?» (в случае с кафе имеется территориальная привязка: кафе находится у памятника Н.Г. Чернышевскому и демонстрирует максимально спрессованное восприятие в повседневной культуре некоего устойчивого образа, паттерна, сложившегося в массовом сознании). Да и в других ситуациях наблюдается постоянное использование этого вопроса с дополнительной смысловой нагрузкой в обыденной речи различных слоев населения.

Следующий пример проявления в культуре повседневности отношения к Н.Г. Чернышевскому и его творчеству — это введение в жизненный контекст четвертого сна Веры Павловны. Именно четвертого сна, хотя упоминания достойны все сны, несущие большую аллегорическую, притчевую нагрузку, но чаще всего, видимо, вслед за школьной программой, упоминается четвертый сон. Он упоминается или в ироническом смысле — как утопия, или как проявление антиутопии, которые стали реальностью. Причем используют его в данном случае не только исследователи-гуманитарии, но и представители массовой культуры. Так, один из ансамблей начала перестройки в 80-е годы XX века ввел

в текст своей песни слова о четвертом сне Веры Павловны, таким образом, подтверждая значимость, знаковость его для русской культуры в целом, более того, его всеобщую понятность для многих поколений, выросших в советский период истории нашего государства.

Следующий аспект, отмечающий место Н.Г. Чернышевского и его романа «Что делать?» в культуре повседневности, — личностная сторона общения его героев, во многом определенная его собственным взглядом на отношения между людьми, особенно то, что сейчас именуется гендерными отношениями. В первую очередь, хочется отметить отсутствие героев романа в той сфере массовой культуры, которая выражена современными анекдотами о различных выдающихся исторических личностях и литературных героях, где исторический прототип уже мало соответствует вполне самостоятельному образу, сложившемуся в культурном поле анекдота.

С героями Н.Г. Чернышевского этого не произошло. Все же они самобытны настолько, что их нельзя переделать в слишком схематичный, обрисованный двумя-тремя штрихами анекдотический образ. В то же время в повседневном личностном общении житейская, поведенческая сторона романа оказывается весьма актуальной. Затронув глубинные основы отношений между людьми, проблемы совместимости в браке и пути ее достижения, проблемы самостоятельности женщины и мужчины в формировании брачных, семейных, межличностных отношений, этические основы этих отношений, Н.Г. Чернышевский остался востребованным многими молодыми поколениями русской молодежи. В разные периоды на первое место выдвигались различные приоритеты — или возможность освобождения девушки от семейного давления для реализации собственной личности, или проблема развода, или проблема взаимоотношений людей в браке, основанных на доверии, уважении и половой совместимости (что более естественно «озвучивается» в наше время, но воспринималось весьма революционно в середине XIX века).

Несколько поколений молодежи ориентировались на высокую планку человеческих отношений, заложенную в романе. Как писала И. Соколова, прошедшая Великую Отечественную войну, «я

читала „Что делать?“ Чернышевского, выписывала цитаты о любви и посылала их Мише», своему будущему мужу (с которым они служили на разных фронтах)². Это говорит о том, что мысли Н.Г. Чернышевского, его жизненные позиции вошли глубоко в повседневный пласт жизни обыкновенных людей, стали естественным продолжением их собственных взглядов, трансформировались в привычные образцы поведения, даже не отслеживаемые на рациональном уровне.

В заключение, подводя итоги достаточно краткому рассмотрению вопроса о месте Н.Г. Чернышевского в современной культуре повседневности можно сказать, что феномен Н.Г. Чернышевского прочно утвердился в культурных кодах отечественной культуры, что Николай Гаврилович и его герои до сих пор отвечают на многие актуальные вопросы, связанные с проблемами отношения к нашей истории, культуры личности, этики, и благодаря этому находятся в рамках актуальной культуры современности, в том числе и на ее повседневном уровне.

Примечания

¹ См.: Культурология. XX век. СПб., 1997. С. 340—342.

² Соколова И. Биография одного поколения. М., 1987. С. 75.

Исторические взгляды выдающегося народнического теоретика П.Л. Лаврова, его субъективный взгляд на исторический процесс достаточно изучены¹. Но знаменательно, что именно субъективный метод позволил этому философу и социологу дать одну из самых высоких в дореволюционной литературе оценок личности и исторического значения деятельности Чернышевского. Поэтому интересно сопоставить его взгляды с историософской концепцией Чернышевского, установить в них общее и различное, что важно для конкретного различения позиций шестидесятников и народников.

В своей статье «Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской мысли» (1889) Лавров исходил из основополагающего положения Чернышевского, что любой человек является продуктом своего времени и общественной среды. Он мог опереться также на утверждение автора «Что делать?», высказанное в работе «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность», что деяние великой личности является важным фактором исторического процесса. Но Лавров в соотношении объективных и субъективных факторов первичную роль отводит личности. В некрологе на смерть Чернышевского он пишет, что «индивидуальные особенности крупных исторических личностей не раз до такой степени обуславливали ход событий, в которых эти личности участвовали, что становится почти так же трудно понять процесс исключительно коллективным, не беря в соображение индивидуальности тех, кто были его главные двигатели <...> Крупные исторические деятели составляли как бы узлы, где наглядно для исследователя концентрируется работа целых предшествующих периодов и откуда концентрированная работа с большей определенностью переходит в новую работу, распределяющуюся на периоды последующие»². Такой великой личностью Лавров считает Чернышевского. Он относит его к тем гигантам мысли, «которые с полным сознанием воплотили в свое дело ее (историю)

назревшее движение, совокупили в себе ясное понимание вопросов дня с решимостью перевести эти вопросы на почву практического дела, обладали для этого достаточными силами и стали полными представителями своего времени и его высших потребностей, так и в понимании своей роли в истории»² (с. 658—659).

Эта оценка близка той, какую Чернышевский дал роли Лессинга в исторической жизни Германии. Однако теоретические основания этих оценок были принципиально различными.

Обоснование своей концепции личности Лавров дал в «Исторических письмах» (1868—1869). Как и Чернышевский, Лавров опирается на антропологическую теорию Фейербаха, рассматривающего человека как устроителя своей жизненной судьбы, а его интересы, потребности в качестве меры вещей. На этой основе Лавров движущим началом прогресса считает развитие мысли. Соответственно гегелевской теории «отрицание отрицания», он к первой ступени развития человеческого общества относит осознание непреложных объективных законов природы и их независимости от божьего промысла. За этим следует на втором этапе «изучение неизменных законов внешнего мира в его объективности для достижения такого состояния человечества, которое субъективно осознавалось как лучшее и справедливейшее». На третьей ступени происходит разрешение противоречий первых двух этапов. «Человек снова стал центром всего мира, но не для мира, как он существует сам по себе, а для мира понятого человеком, покоренного его мыслью и направленного к его целям»² (с. 22). Это положение восходит к Канту, который считал, что человек подчинен объективным законам природы, но в нравственной сфере он свободен и сам способен устанавливать нормы своего поведения. Однако содержание этой свободы Лавров понимает антропологически, как деятельность, опирающуюся «на сознательный расчет интересов» и ставящую себе цель изменить все данное извне сообразно своему желанию, своему пониманию, своему нравственному идеалу, влечению перестроить мыслимый мир по требованию истины, реальный мир — по требованию справедливости² (с. 40).

В изучении истории Лавров не ставит задачей учет всего многообразия фактов и явлений в ту или иную эпоху. История, говорит он, «не записывает явлений, повторяющихся ежегодно с

математической правильностью, но отмечает лишь то, что изменяется² (с. 29). Факты нужны историку постольку, поскольку они «уясняют ему общий закон этого процесса»² (с. 34). А этот закон предусматривает сосредоточенное внимание на процессе умственного развития, развития личности интеллектуального меньшинства. Вехами этого процесса Лавров считает появление гениев, героев, пророков, которых он, в соответствии с теорией социального дарвинизма, объясняет следствием естественного отбора. В древности в процессе борьбы со зверями «выработались счастливые единицы, способные лучше мыслить, чем эти враги, способные изобретать средства для сохранения своего существования». Они отстояли себя ценою гибели всего остального, и эта первая, совершенно естественная аристократия духа между двуногими, создала человечество. Унаследованная способность или переимчивость перенесла изобретения этих первобытных гениев на небольшое меньшинство, «поставленное в наиболее выгодные условия», упрочило существование человечества»² (с. 76).

В дальнейшем, когда борьба совершалась уже между людьми, среди них также выживали крепкие и способные. «Это была вторая аристократия человеческих пород <...>. Прогресс небольшого меньшинства был куплен порабощением большинства». Развитие большинства совершалось «лишь действием на него более развитого меньшинства»² (с. 82). «Мыслящие личности — единственные орудия человеческого прогресса»² (с. 87), — резюмирует Лавров. «Культура общества есть работа мысли». Отсюда избирательный подход к истории. «В разумную историю человечества могут войти лишь события, уясняющие историю культуры и мысли в их взаимодействии»² (с. 109). Работа мысли одного поколения обращается в следующем поколении в жизненные привычки, в общественные предания.

Мыслительный процесс осуществляется благодаря критике, нарушающей сонную рутину, свергающей те идолы, которые «остальная масса общества признает святынею»² (с. 112).

Как видно, Лавров не принимает во внимание материальную культуру и вообще материальные обстоятельства в развитии общества, не учитывает стихийные факторы и те устои, которые обеспечивают стабильность в жизни общества.

Для Чернышевского исходным в понимании исторического процесса является положение о господстве объективных закономерностей, не зависимых от воли личности. «Ход мировых событий, — пишет он в работе о Лессинге, — неизбежен и неотвратим, не зависит ни от чьей воли». Выдающейся личности он придает организующую роль в этом процессе, видя в ней лишь один из факторов истории: «... скорее или медленнее совершается мировое событие — это зависит от обстоятельств», важнейшее из которых — «появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или другой характер неизменному направлению событий», сообщают правильный ход «хаотическому воплощению сил, приводящих в движение массы»³.

К таким великим личностям Чернышевский относит Лессинга. Но, характеризуя его жизнь и деятельность, он принципиальное значение придает тем историческим обстоятельствам, которые обусловили возможность решающей роли, какую сыграл этот великий деятель в возрождении Германии. Своеобразие исторической жизни этой страны, по словам автора, состояло в том, что именно литературе принадлежала миссия обновительницы национальной культуры Германии. Эту миссию не могли выполнить выдающиеся государи Фридрих II и Иосиф II. Литература, являясь «быстрой посредницей между знанием и жизнью»³ (с. 71), была единственной силой, способной вывести страну из состояния упадка и апатии. «Она дала ему (народу) сознание о национальном единстве, пробудила в нем чувство законности и честности, вложила в него энергические стремления, благородную уверенность в своих силах»³ (с. 7). Лессинг был первым в ряду писателей, оказавших решающее влияние на историческую жизнь немецкого народа, но его деятельность была подготовлена. Важнейшим фактором этой подготовки была преемственная связь немецкой культуры с более передовыми культурами Франции и Англии. Первоначально эта связь культур выражалась в подражании нравам и модам светского общества Франции и литературным образцам. Но появлялись мыслящие люди, которые «старались о сближении немцев с французами — не для заимствования внешних форм, но и для развития немецкой образованности»³ (с. 66). Выдающиеся ученые, смелые публицисты, та-

лантливые поэты способствовали умственному оживлению своих соотечественников.

Это был стихийный процесс, но так постепенно формировалось в обществе сознание необходимости перемен, готовилась почва для преобразования литературы, которое стало стимулом к обновлению всей общественной жизни страны. «Но, как и когда произойдет эта реформа, в каких границах и с какой силой она совершится», было «решено появлением Лессинга»³ (с. 70) «Не от появления Лессинга зависело, оживится или будет погряжать в прежней мертвой апатии немецкий народ. Великое событие приближалось неотвратимо и неизбежно. Но без него медленнее и беспорядочно совершилось бы то, что при его помощи совершалось быстро, решительно и гармонически»³ (70—71). Таким образом, если Лавров видит первоначальные стимулы к общественным переменам в сознании великой личности, Чернышевский считает, что сама великая личность получает эти стимулы от общества, от стихийно возникающих в нем изменений, создающих почву для деятельности выдающейся личности.

Важное значение имеет также и то, что Чернышевский содержание и направление деятельности великого создателя связывает с особенностями данного исторического момента. Лессинг лишь положил начало преобразованию литературы, которое окончательно совершили Шиллер и Гете. Будучи человеком философского склада ума, Лессинг не писал философских сочинений, так как современники не были готовы к их восприятию, но он подготовил это восприятие своими теологическими трудами, а создали немецкую классическую философию Кант, Шеллинг, Фихте, Гегель. Таким образом, по мысли Чернышевского, исторические обстоятельства не только стимулировали деятельность Лессинга, но и определили ее границы.

В романе «Что делать?» Чернышевский широко освещает значение объективных факторов в преобразовании общества. Так, Рахметов показан в преддверии своей деятельности. Д.И. Писарев писал, что назначение личностей, подобных Рахметову, быть деятелями истории. В периоды широких массовых движений они «развертывают <...> всю сумму своих колоссальных сил. В обыкновенное время, когда господствует невозмутимая рутина <...>»,

силам Рахметовых нет приложений»⁴. Сюжетное движение в романе связано с жизнью «новых людей». Внимание Чернышевского сосредоточено на освещении новой этической теории («разумного эгоизма»), определяющей личные и общественные взаимоотношения героев, и новой формы организации труда. Автор романа придает детерминирующее значение личным и общественным отношениям «новых людей», их расширяющемуся влиянию на окружающих. Следовательно, изменение нравов и новая организация труда являются в романе первичным фактором общественных изменений.

Примечания

¹ Щипанов И.Я. Философия и социология русского народничества. М., 1983.

² Лавров П.Л. Философия и социология. Избранные произведения: В 2 т. М., 1965. Т. 2. С. 657. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи.

³ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 4. С. 70—71. (Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи).

⁴ Писарев Д.И. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 47.

Некоторые вопросы о разуме в контексте политической мысли 60-х годов XIX века в России*

Сюити Сигиура
(Япония)

Человек — свободное и разумное существо. Это элементарная предпосылка современного общества. Но в современной политической философии вокруг этой на первый взгляд очевидной предпосылки идут жаркие споры: на чем основаны человеческая свобода и разум? Где находится предел свободы? Я не буду участвовать в этих спорах. Я постараюсь рассмотреть ход развития и изменения политической мысли К.Д. Кавелина — лидера русского либерализма, а также выявить и проанализировать смысл указанной предпосылки в политико-юридическом контексте русского общества второй половины XIX века.

Мысль о том, что, человек — свободное и разумное существо, высказанная Белинским в «Письме к Гоголю», представлена Чернышевским как понятие «разумного эгоизма» в статье «Антропологический смысл философии». Когда эта мысль высказана как протест против политического и общественного строя, подавляющего достоинства человека, она является всеобщей истиной, имеет глубоко нравственный смысл. Но когда этот строй разрушили или считают разрушенным, она оказалась поколебленной. Для русских либералов это время пришлось на 1860 год.

Обратимся к общественно-философским позициям Кавелина в 1840—50 годы. Во-первых, он считал русскую историю историей развития человеческой личности, утверждал человеческое достоинство и свободу. Он думал, что государство и общественный порядок произошли от свободного взаимодействия людей. Это, можно сказать, индивидуальная теория государства.

Во-вторых, в его теории государства было еще одно начало — начало «русской народности». Значит, в ней было два начала: личность и русская народность. Они были разнородными и по крайней мере теоретически взаимно противоречивыми началами.

* Пер. с яп.

В-третьих, это противоречие обнаружилось после освобождения крестьян. Когда перед Кавелиным встал вопрос, как устроить новый порядок в России, он отбросил индивидуальную теорию государства и либерализм. Он стал утверждать своеобразие русского народа и в конце концов дошел до идеи «самодержавной республики».

В-четвертых, ход изменения его мысли был удивительно похож на эволюцию западного либерализма, который заменил теорию индивидуального государства теорией «благоденствия государства». Когда предпосылка «человек — свободное и разумное существо» была поколеблена, Кавелин и западные либералы отказались от индивидуальной теории государства.

1. Теория индивидуального государства К.Д. Кавелина и ее измерение

В 1846 году К.Д. Кавелин напечатал статью в «Современнике» «Взгляд на юридический быт древней России». В ней он представил схему исторического развития России через три стадии — родовую, семейную и государственную — и становление личности на этих стадиях.

Сначала личность была подавлена кровно-родственным бытом. Позже она начала формироваться в семейном быту и проявилась в государственном управлении, т.е. человек из раба природы и обстоятельств стал господином их, «человеком как человек». Эта статья ознаменовала возникновение «государственной школы» в русской историографии, и более того, стала блестящим толкованием русской истории с точки зрения западничества до французской революции 1848 года. Белинский, будучи редактором «Современника», высоко оценил «Взгляд» Кавелина.

Представляется важным то, что Кавелин отождествил государство и «гражданско-юридические отношения». «Появление государства, — писал он, — было вместе и освобождением от исключительно кровного быта. Началом самостоятельного действия личности, следовательно, началом гражданского, юридического». Именно с этой точки зрения славянофил Ю. Самарин критиковал Кавелина в статье «О мнениях „Современника“, исторических и литературных». Критикуя понятие личности, данное

Кавелиным, Самарин отметил, что «абсолютной нормы закона, безусловно-обязательного для всех и каждого из личности путем логики вывести нельзя». Для него «самоотречение каждого в пользу всех есть начало свободного союза людей между собою. Этот союз, эта община — есть церковь». Кавелин возражал Самарину: «Абсолюты это камень, на котором Самарин часто спотыкается и каждый раз падает. Человек создает свои определения из себя». Образование — требование новой жизни — столкнулось со старым порядком, но в конце концов одержало победу над ним. С другой стороны, в человеке, который постоянно взаимодействовал с другими, постепенно росло стремление избежать этих столкновений, вследствие чего общество стало более мирным. Другими словами, Кавелин думал, что общественный порядок не только держался на самосознании людей, но и укреплялся с его помощью.

Следовательно, для Кавелина государство и юридические отношения были тождественны, и существование самого вопроса в духе Руссо — «естественного человека», где «общая воля» свободна от «индивидуальной», не признавалась. Кавелин бессознательно искал причину проявления индивидов в «русской народности». Он видел особенность русского народа в том, что «развивалась только государственная, политическая жизнь, а другие стороны нет». Каждый народ есть «живой, цельный, саморазвивающийся организм», и все стороны его жизни нераздельно связаны. Если в России «все силы и соки народной жизни» сосредоточились в государственной жизни, то ее изменение было изменением в целом русской жизни. Вот почему вся русская история, по Кавелину, есть «по преимуществу государственная, политическая».

Таким образом, у Кавелина есть два понятия государства — государство, отождествленное с юридическими отношениями, и государство как выражение русской народности. Между ними существует пропасть. Первое было плодом исторического развития личности и, следовательно, никак не возвышалось над личностью. Второе понимание государства было прямо выведено из русской народности, априорной русской «общей воли», которая довлела над каждым русским. Эти два понятия у Кавелина оказались сме-

шанными. В этом проявилась двойственность и противоречивость его позиции: во-первых, внутреннее раздвоение между собой и порядком; во-вторых, разрыв между Россией и Западом.

Статья «Взгляд на юридический быт древней России» выражала либеральные устремления «западников» и оптимистическую мысль о том, что общественный порядок может быть установлен посредством развития личности. Но революция 1848 года показала, что нет предустановленной гармонии между свободой и порядком, что из свободы может возникнуть беспорядок. В новых исторических условиях Кавелин развивает теорию, связующую общественный и государственный порядок с «русской народностью». В 50-х годах XIX века он не заметил противоречия этих двух начал, но в статье «Мысли и заметки о русской истории», написанной в 1866 году, это противоречие для него становится очевидным. Он отказывается от теории исторического развития личности, и русская история осмысливается им как развитие самосознания русского народа. Это ознаменовало отказ Кавелина от идей либерализма и утверждение им разрыва между Россией и Западной Европой.

2. Поиски нового русского порядка

В период реформы 1861 года Кавелин был профессором Петербургского университета. Протестуя против притесняющих мер правительства по отношению к университету, он подал в отставку. Однако в деле Чернышевского Кавелин поддержал правительство, т.е. он был в противоречивых отношениях и с оппозиционным движением, и с правительством, свободой и порядком. Чтобы избежать этой дилеммы, он уехал в Западную Европу под предлогом знакомства с европейскими университетами.

Пребывание в Западной Европе с 1862 по 1864 год было поворотным пунктом в развитии политической мысли Кавелина. Он глубоко разочаровался в политическом и общественном строе на Западе, в особенности в «псевдо-либеральной и псевдо-просвещенной политико-административной системе» Франции Наполеона III. В результате он пришел к мысли, что политический и общественный строй в России основан на своеобразном начале, совершенно отличном от западного. Как уже было указано, в ста-

тье «Мысли и заметки о русской истории» (1866) не говорится о развитии личности. Кавелин развивает мысль о том, что общественный быт великорусского народа — это «дом», где царь — глава семьи, а крестьяне — ее члены. «Народ и царская власть сжились у нас, как в Англии со своим парламентом: оба учреждения глубоко национальны». Если Россия состоит из народа и царя, то правильное разрешение крестьянского вопроса является самым важным делом для всех русских. «Центр исторического развития Европы, — говорил Кавелин, — это город, и городские жители представляют европейские народы». Это состояние принесло им, с одной стороны, блестящий успех, а, с другой — антагонизм между имущими и неимущими. По мнению Кавелина, это главная причина современного беспорядка в Европе. Особенность русского общества заключается в том, что Россия является «мужицким царством» (см. «Проект поземельной реформы» 1875 года) или «сельским государством» (см. «Крестьянский вопрос» 1881 года). Следовательно, «от материального, умственного и нравственного состояния русского крестьянина зависели и будут зависеть успехи и развитие всех сторон русской жизни».

В 80-е годы XIX века Кавелин приходит к идее возможности создания в России конституционной монархии, «самодержавной республики» («Разговор», 1880). Происходит явное сближение его взглядов с позициями западного либерализма.

Как известно, на Западе во второй половине XIX века были поставлены так называемые социальные вопросы, и вместе с тем произошло изменение сути понятий «права» и «обязанности». С развитием капитализма Европа стала перед лицом серьезных социальных проблем. В первой половине века, т.е. во времена «классического либерализма», считалось, что свободные рыночные отношения помогут разрешить эти вопросы. Но надежды на свободный рынок не оправдались. Тогда и возник «неолиберализм», который потребовал от государства активного участия в разрешении социальных проблем общества.

Подобные изменения во взглядах и понятиях произошли и в юриспруденции. В период «классического либерализма» юриспруденция была основана на «теории правовой воли», предпосылкой которой являлось происхождение права от свободной воли чело-

века. Известная статья Иеринга «Борьба за право» (1859) была ярким подтверждением этой теории. Но сам Иеринг отказался от этой теории уже в 60-х годах. В книге «Цель в юриспруденции» (1877) он утверждал, что основой юриспруденции должно стать не личное право, а общественно-политическая деятельность.

Эволюция взглядов Кавелина напоминает развитие теории Иеринга. В 1863 году он написал статью «Что есть гражданское право и его пределы?», в которой критиковал «теорию правовой воли»: «...Все гражданские права и отношения вырастают на почве общности: вне общества и государства они невозможны и даже немыслимы». В другой своей работе «Права и обязанности по имуществу и обязательствам» (1879) он утверждал, что «юридические отношения вне правильно устроенного общежития не могут существовать». Другими словами, он заявлял, что в пользу общества и государства можно и надо ограничивать права личности. С юридической точки зрения, его «новая система гражданского права» была очень странна и подверглась острой критике со стороны известного юриста, профессора права Муромцева. Но это уже тема отдельного исследования. Здесь для нас важно то, что Кавелин начал строить новую систему тогда, когда отказался от понятия личности как первоисточника исторического развития России и начал отстаивать своеобразие русского народа и необходимость самодержавной власти в России. В определенном смысле это повлияло на формирование понятия, вобравшего в себя взаимоисключающие начала — «самодержавная республика», и на основе этого понятия — «государство благоденствия». Другими словами, Кавелин отстаивал идею «самодержавно благоденствующего государства».

Таким образом, человек — свободное и разумное существо. Но так ли это, как кажется на первый взгляд? И К.Д. Кавелин, и Н.Б. Чичерин, и Н.Г. Чернышевский пытались дать ответ на этот вопрос. Безусловно, ответы их были неоднозначными, зависели от политических пристрастий и личностных особенностей. Соглашаться с их взглядами или нет — каждый из нас решает самостоятельно. Важно, что они ставили этот вопрос в разных политических ситуациях, искали ответ на него и искренне верили в свою правоту.

Неокантианство как духовное явление в России на рубеже XIX и XX веков

В.Н. Белов

Пространство русской философии несправедливо полностью отдавать лишь религиозной философии. Скорее оно всегда оставалось местом агонального противостояния двух направлений славянофильского, делавшего акцент на самобытности и неповторимости русской философской мысли, которая опирается на исконно русскую религиозность, и западнического, пытавшегося на равных войти в традицию философствования, ведущую свое начало с древней Греции. И если без обязательного разговора об этом противостоянии в XIX веке не обходится ни один курс по истории русской философии, то о продолжении и развитии этого противостояния в начале XX века почти нигде не упоминается, что, очевидно, не соответствует действительности. Как вспоминает об этом периоде Б.В. Яковенко, «...в первой половине 1910 годов сплоченно и действенно выступили представители окончательно сформировавшегося религиозно-философского направления, ориентированного на греко-православную религию; они отвергали всю новую, особенно немецкую философию, считая истинной философию Отцов Церкви и их последователей; они чувствовали и рассматривали себя наследниками славянофилов и Вл. Соловьева. Во главе течения стояли бывшие марксисты, которым, между прочим, удалось отказаться не только от диалектического материализма, но и от критического идеализма... Наряду с этим течением появилось другое, которое также возникло в Москве и группировалось вокруг журнала «Логос»... Его представители вполне определенно объявили себя сторонниками и защитниками новой философии и критического идеализма. Они решительно отклонили подчинение философского мышления религиозному учению или вероисповедничеству (т.е. телеологизму и мистицизму), равно как и научной теории (т.е. позитивизму или сциентизму), декларировали и утверждали автономию и высший суверенитет философского мышления. Так по-новому пробудился в русском сознании и типичный для истории

русского духа онтологизм и спор славянофильства и западничества»¹. Одним из самых значительных неозападнических течений в русской философии начала XX века несомненно было неокантианство.

Как и неокантианство немецкое — основное, собственно и давшее название этому философскому течению конца XIX века, — русское неокантианство для его манифестации следует утвердить в некоторых положениях. Прежде всего необходимо дать ответ на вопрос, который вставал и перед немецкими исследователями неокантианства: представляло ли из себя русское неокантианство самостоятельное философское направление, либо оно было только направлением, отстаивавшим значение критицизма Канта, либо оно было разновидностью немецкого неокантианства, своего рода посредником между немецкой философией и русским духовным производством? Сразу оговоримся по поводу термина «самостоятельное философское направление» в данном контексте, чтобы он не вызвал преждевременного отторжения. Конечно, он не может быть здесь задействован без ряда поясняющих коннотаций. Прежде всего необходимо понимать его относительный характер: быть последователем трансцендентальной философии и одновременно быть совершенно независимым от Канта — невозможно, быть творческим последователем философского критицизма и одновременно представлять из себя нечто совершенно иное, чем такие же последователи в Германии, Франции, Италии, — полный абсурд. Поэтому речь должна идти о развитии кантовской философии в рамках философского критицизма, которые определили немецкие философы-неокантианцы, но которые не просто «копировались» их русскими коллегами, а также подвергались творческой самостоятельной переработке. Относительно «копирования» идей немецких неокантианцев русскими философами нужно, вероятно, отметить невозможность слепого повторения философских мыслей.

Но для объяснения причин возникновения отечественного неокантианства необходимо указать и на специфически российское основание. Здесь имеется в виду русская религиозная философия, самая представительная и авторитетная школа русской философии, которая — как и неокантианство — с идеалистических

позиций объясняла происходящее в жизни человека и человечества. Неокантианство в России в буквальном смысле оказалось между двух огней. И если обратить внимание на максимализм русской ментальности, стремление во всем идти до конца (это имело своим следствием и то, что, по словам Б.В. Вышеславцева, «русские мыслители постоянно стремились к окончательным решениям и постижению последнего смысла всего существующего»²), то материализм и религиозная философия имели в России больше шансов на успех, нежели неокантианство. Материализм, абсолютизовавший действительность, — вера в посюстороннее, вещь — и религиозная философия, абсолютизовавшая трансцендентность, — вера в потустороннее, Бога — были одинаково неприемлемы критическому духу неокантианства, которое направляло свои усилия на действительную трансцендентность, на априорные, разумные, рациональные основания человеческого бытия. В русской истории философии отсутствовала глубокая традиция гносеологического обсуждения философских проблем, не было своих Декартов, Кантов или Гегелей, и поэтому если в западной философии распространение неокантианского гносеологизма воспринималось как попытка отстаивания самостоятельности и самобытности философии, то в России такая «редукция» мировоззренческого осмысления к гносеологической проблематике оценивалась не иначе, как забвение истинно философских задач, ведь, как писал еще учитель В. Соловьева П. Юркевич, «для того чтобы знать, нет нужды иметь знание о самом знании».

В немецкой исследовательской литературе не утихает спор о том, кого же считать неокантианцем, и чем неокантианец отличается от кантианца. При этом предлагаются различные критерии, согласно которым выделяется различное количество школ и направлений неокантианства. Тем более сложно эти дистинкции провести в отношении отечественных философов, сделавших критическую философию Канта своей основной отправной точкой. Следует отметить, что и немецкое неокантианство не отличалось однообразием и строгой приверженностью школьной критической философии. Даже в среде общепризнанной марбургской школы позиции позднего П. Наторпа и Э. Кассирера нель-

зя оценить как строго неокантианские. Можно, конечно, сразу оговориться, что русские философы не создали системы неокантианской философии, как, например, Коген, Наторп, Виндельбанд или Риккерт, их учения носят достаточно фрагментарный характер, что также затрудняет однозначное решение об отнесении их к неокантианскому течению философской мысли. Однако отсутствие собственной разработанной системы, характерная, впрочем, деталь отечественной философии в целом, не должно служить главным основанием для того, чтобы лишать русских философов их принадлежности к неокантианству. На мой взгляд, именно главная особенность всей русской философии, а именно, ее сращенность с жизнью, стремление представить философию не просто в качестве науки об априорных возможностях познания, а в более широком качестве мировоззрения наложила свой отпечаток и на мышление русских неокантианцев. Особенно данное обстоятельство относится к родоначальнику и наиболее последовательному русскому неокантианцу А.И. Введенскому. Еще раз подчеркну, что основная интенция неокантианства: «Назад к Канту, чтобы двигаться дальше» была присуща и русской неокантианской мысли, но многие ее особенности, связанные, в частности, и с особенностями русской философии в целом, стали причиной сомнений некоторых отечественных исследователей в неокантианском характере их философствования.

Русское неокантианство аналогично немецкому прошло несколько стадий своего становления и развития. Первая связана с распространением кантовской философии через переводы его основных произведений и интерпретацией главных идей критицизма. Вторая, которую олицетворяют В. Введенский и молодой И. Лапшин, характеризуется попыткой преодоления недостатков кантовской теории познания и создания в продолжении этого собственной гносеологии. И, наконец, третья, представленная самым широким спектром русских мыслителей, может быть охарактеризована как процесс эманации неокантианства в философию культуры в широком смысле этого понятия: проблемы психологии рассматривали поздний И. Лапшин и Г. Челпанов, социальные и правовые проблемы исследовали С. Гессен и П. Новгородцев, проблемы творчества — И. Лапшин и А. Белый, вопросами воспитания и

образования занимались С. Гессен и М. Рубинштейн, вопросам философии истории — Б. Яковенко и Ф. Степун.

Александра Ивановича Введенского (1856—1925) по праву считают родоначальником русского неокантианства. Он родился в Тамбове. После окончания классической гимназии в 1876 году поступает на физико-математический факультет Московского университета, а через год переводится на физико-математический факультет С.-Петербургского университета. Вскоре переходит на историко-филологический факультет, который и оканчивает в 1881 году. Оставленный на кафедре философии для подготовки к профессорскому званию, в 1885—1887 годах Введенский командирован в Германию, где слушает лекции Куно Фишера в Гейдельберге. В 1888 году он защищает магистерскую диссертацию «Опыт построения теории материи на принципах критической философии» и начинает преподавать в университете и других учебных заведениях С. - Петербурга. Нужно отметить то, что Введенский был великолепным педагогом и лектором, создавшим свою школу. На его лекции всегда собиралось много народу. После смерти своего учителя М. Владиславлева в 1890 году В. Введенский занимает освободившееся место заведующего кафедрой, которую покидает в 1913 году, передав ее своему ученику И. Лапшину. Введенский был одним из инициаторов создания при университете философского общества в 1897 году и беспрерывно руководил им вплоть до его закрытия большевиками в 1923 году.

Хотелось бы сразу указать на различие в понимании задачи философии А. Введенским и Г. Когеном, которое определило и различие в характере логицизма основоположников немецкого и русского неокантианства. Здесь нельзя говорить о кардинальном различии задачи философии у русского и немецкого неокантианца: и тот, и другой видят ее в обосновании возможности научного познания и в обосновании научности самой философии; в данном случае речь может идти скорее о различных акцентах в понимании этой задачи. Если для Когена цельность научного познания самодостаточна и носит скорее аналитический характер: необходимо установить некое первоначало, *Ursprung*, первоисток, бесосновное, беспредпосылочное начало, чтобы из него прийти

к системе, для Введенского научное познание как система, целостность — это основание, фундамент, который не может не предполагать возведения на нем здания мировоззрения, и, таким образом, скорее синтетично: оно содержит и условия действительности научного знания и условия наличия чего-то, что научным знанием не является, но в то же время им допускается как необходимое, в том числе и для своего существования. Но этот акцент существенным образом определяет и характер решения поставленной для философии задачи.

Если Коген в замечании Канта относительно возможности в будущем существования метафизики находит следствие непоследовательности основателя философского критицизма, приводящей к дуализму и психологизму и требующей своего преодоления, Введенский с большим доверием отнесся к этой позиции Канта, считая, что ее нужно скорее не преодолевать, а более выверенно и точно развивать те интенции, которые в ней заложены, что, конечно же, влечет за собой и элементы критики кантовской системы, и пересмотр некоторых ее положений.

Если Коген ищет преодоление кантовского дуализма и психологизма в примордиальном единстве через большую, чем у Канта, «чистоту» этого самого примордиального, то Введенский видит это самое преодоление в большей согласованности дуальных частей — теоретического и практического разума, их большей взаимосогласованности и взаимозависимости. Именно данным аспектом, на мой взгляд, определяется большая самостоятельность Когена в отношении кантовской философии, большая критичность и инновационность по сравнению с Введенским, что в свою очередь является причиной споров вокруг неокантианства русского философа.

Введенский в своей борьбе с метафизикой прибегает к полному отрицанию объективных сторон кантовского критицизма. Именно здесь, т.е. в независимом от субъекта мире вещей в себе, аффицирующих человеческое восприятие, Введенский, как и большинство критических последователей Канта, видит источник противоречия всей системы немецкого философа. Введенский идет здесь по другому пути, как он сам его характеризует, «новому и легкому»: метафизичность он преодолевает субъекти-

визацией — познание является чисто субъективным процессом, закономерно возникающую при этом опасность психологизма преодолевает тем, что суть процесса познания заключает в логические рамки, и, наконец, возникающую при этом опасность солипсизма спасает необходимостью метафизики и признанием эфеноменом веры как гносеологического, так и нравственного аспектов. Указанная логика легко реконструируется по трем основным работам Введенского: «О пределах и признаках одушевления» (1892), где он приходит к открытию нового психо-физиологического закона, который, по словам самого автора, может быть назван «законом отсутствия объективных признаков одушевления»³, и тогда единственным средством оправдания стремления нашего существа к признанию существования одушевленности чужой жизни оказываются постулаты нравственного чувства, которые, в свою очередь, порождают метафизическое чувство, открывающее возможность к метафизическому познанию. В «Новом и легком доказательстве философского критицизма» (1909) он устанавливает, что из четырех логических законов два — закон исключенного третьего и закон тождества — обладают всеми признаками естественного закона, закон достаточного основания — признаками нормативного закона, а вот закон противоречия — признаками как естественного, так и нормативного закона. Для объяснения подобного факта Введенский обращается к различению представления и мышления: мы можем мыслить то, что не представимо, поэтому, чтобы наше мышление было правильным, нужно следовать всем четырем законам логики, но чтобы закон противоречия не стал только нормативным, его следует как можно последовательней превращать в естественный, и последнего мы способны достичь путем следования нашего мышления нашим же представлениям, т. е. путем запрещения мыслить то, что не представимо. В «Логике, как части теории познания» (три издания: 1909, 1912 и 1917) доказывая невозможность метафизического знания ввиду его абсолютной субъективности Введенский выявляет наличие трех видов веры: наивной, слепой к которой он относил и признание вещей в себе, и допущенной критическим рассудком, к которой тот причислил безусловную необходимость нравственного долга. Н.О. Лосский, кстати, уче

дик А.И. Введенского, указывая на умозрительность разделения законов логики своего учителя на нормативные и естественные, полагает их и нормативными, и естественными, справедливо считая, что они нормативны, ибо человек не может не прислушаться к их требованию мыслить нормально и, значит, правильно и, естественно. И как же еще, спрашивает Лосский, доказать, что мир представлений является единственно реальным миром, если не прибегать к помощи веры? Только предположениями о познающем субъекте как о замкнутой на себе монаде, способной наблюдать только свои представления.

Абсолютизовав момент субъективного в познании, Введенскому в целом не удалось непротиворечивым образом преодолеть психологизм, дуализм и метафизичность Канта. Скорее, напротив, его субъективизм приводит к солипсизму, логицизм — к еще большему дуализму, а декларируемое неприятие метафизики — к неизбежному ее приятию в виде такого этико-гносеологического феномена, как вера, который в конечном счете и обеспечивает единство системы философского критицизма русского неокантианца. Признание метафизики в составе цельного мировоззрения в виде морально обоснованной веры сближало его позицию с позицией русских религиозных метафизиков. Неслучайно поэтому Е.Н. Трубецкой, посвятивший критике Канта и кантианства работу, в которой в качестве ошибочного развития учения Канта называет «отрицание необходимости выхода в метафизику»⁴, ни разу не упоминает имя А.И. Введенского.

К числу последователей Канта в России можно отнести и *Георгия Ивановича Челпанова* (1862—1936), который прославился своей педагогической деятельностью в Киевском и Московском университетах. При названных университетах организовал психологические «семинарии» и экспериментальные лаборатории. Челпанов — основатель первого в России Психологического института при Московском университете (1914), основатель и редактор журнала «Психологическое обозрение» (1917—1918).

Среди его работ «Проблема восприятия пространства» (в двух томах) и «Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе» (1-е изд. 1890) следует выделить вторую, выдержавшую множество изданий. В.В. Зеньковский считает ее

лучшей не только в русской, но и в мировой литературе книг по критике метафизического материализма.

Челпанов утверждает актуальность и своевременность своей критики материализма ввиду редкой живучести последнего и соглашается с теми, кто считает материализм отжившей системой. Он доказывает двумя основными способами то, что материализм не научное, а метафизическое учение. Первое, основанное на допущении существования неизменных материальных атомов, видеть и непосредственно исследовать которые мы не можем, но наличие которых мы должны предположить для изучения представленного в мире многообразия вещей и явлений демонстрирует то, что материалист, равно как и идеалист или спиритуалист, принимает на веру свои первоначальные основоположения. Второе — опровергает утверждение о том, что материализм основан на результатах, подтверждаемых естественными науками. Ведь у материалиста Демокрита не было никаких опытных данных для утверждения им материалистических взглядов, потому здесь мы имеем дело с чисто спекулятивной умозрительной теорией.

Челпанов считает, что метафизические построения так же научны, как и эмпирические, их отличает друг от друга только большая степень достоверности последних. Что же касается характера психических явлений, то они, согласно ученому, могут быть познаваемы только путем самонаблюдения или внутреннего опыта. На основе многочисленных примеров из области психологии и физиологии Челпанов приходит к выводу, что между «миром физическим и миром психическим есть непроходимое различие и говорить, будто мысль нечто психическое, есть движение вещества, которое представляет из себя нечто физическое, совершенно неправильно»⁵.

Г.И. Челпанов показывает, что никакие современные изучения интенсивности наших ощущений, физиологического строения мозга не могут поколебать факта коренного отличия психологии от физиологии, субъективного от объективного и доказывает в противовес наивному реализму то, что звук, цвет, твердость, теплота, а также пространство и время — чисто субъективные феномены: «Объективно им соответствует нечто такое, что на них

непохоже. Они представляют собой не копии вещей, а, так сказать, знаки изменений, происходящих в объективном мире»⁶. Это дает ему основание для вывода о том, что существование сознания так же достоверно, как и существование материи.

Примечания

¹ Яковенко Б.В. Тридцать лет русской философии (1900—1929) // Б.В. Яковенко. Мошь философии. СПб., 2000. С. 851.

² Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии // Б.П. Вышеславцев. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 324.

³ Введенский А. О пределах и признаках одушевления. СПб., 1892. С. 30.

⁴ Трубецкой Е.Н. Метафизические предположения познания: Опыт развития преодоления Канта и кантианства. М., 1914. С. 209.

⁵ Челпанов Г.И. Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе. М., 1912. С. 98.

⁶ Там же. С. 199.

Н.Г. Чернышевский в 60—70-е годы XIX века стал символом народничества, духовным лидером разночинцев и русской интеллигенции. В конечном счете он стал знаковой фигурой времени идеологом разночинства и русского утопического социализма. Его авторитет был настолько велик, а роман «Что делать?» так популярен, что, казалось, соперничать и с тем, и с другим сложно, да и не к чему. Но вторая половина XIX века, особенно его завершение, характеризуется глубокими изменениями в духовной жизни общества. Это был сложный и многосторонний процесс «расслоения» общества, по масштабности который можно сравнить только с эпохой Петра I.

Изменениями были охвачены все слои общества и сферы его жизнедеятельности: мировоззрение, общественная, научная и философская мысль. Если реформы Петра в начале XVIII века привели к выделению в обществе двух культурных классов: религиозного (средневекового, традиционного), в рамках которого существовало большинство населения государства, и светского (нового, европейского), охватившего русскую аристократию, то в XIX веке происходит в целом распространение и расширение светского слоя общества, а в конце столетия дробление светской культуры и выделение из нее собственно аристократической (в рамках которой развивалось мистификаторство), купеческой (отраженной в пьесах А. Островского), разночинской (олицетворением которой и стал Н.Г. Чернышевский). Но на рубеже XIX—XX веков возникает еще один культурный слой, нашедший отражение в религиозно-философских исканиях мыслителей серебряного века. Объединившись вокруг «Вех», именно этот слой русской интеллигенции после октября 1917 года пытался переосмыслить и проанализировать роль и значение разночинства, народничества, место и роль в них Н.Г. Чернышевского. С подходами Н. Бердяева, Д. Мережковского, С. Франка, С. Булгакова можно соглашаться или нет, но не учитывать их мнения при ха-

рактистике столь значимой фигуры, как Н. Чернышевский, нельзя.

Пытаясь осмыслить и в какой-то степени заново «прочсть» историю революционного движения в России, большинство философов и писателей стремились дать анализ роли русской интеллигенции¹. И уже в рамках этого вопроса Н. Бердяев, В. Розанов, С. Франк, Д. Мережковский уделяли внимание роли и месту Н. Чернышевского.

Определение русской интеллигенции по Бердяеву, разводит понятия «интеллигент» и «интеллигенция»². Он не видит черт последней в разночинцах, которые формировали во второй половине XIX века научную и революционную интеллигенцию. Русская интеллигенция представлялась Н. Бердяеву некой религиозной сектой, для которой характерны были морализаторство, нетерпимость, особое мировоззрение, свои нравы и обычаи. Другими словами, она профессионально-интеллектуальна³. С. Булгаков дополняет эту характеристику еще одной чертой: чувством виновности и социального покаяния. Поэтому образы русских интеллигентов часто представлены как образы мучеников⁴. При этом стремление к морализации, по мнению С. Франка, есть выражение и отражение нигилизма, вылившееся в отрицание и неприятие объективных ценностей⁵. В отличие от С. Франка Н. Бердяев трактует понятие нигилизма в историко-культурном плане, видя в его проявлении стремление сбросить «с себя культурный покров, превращение в ничто всех исторических традиций, эмансипацию натурального человека»⁶.

Невозможность реализовать свои идеи и участие в политической жизни привели к тому, что русская интеллигенция (пожалуй, в работах русских философов понятие интеллигенции и разночинства до определенной степени тождественны) приняла раскольнический характер. Но раскольниковство было сугубо социальным. Оно означало вступление в конфликт с обществом, которое отрицалось, с действительностью, которую считали злом. Живя в подобном социальном и духовном расколе, разночинцы выработали собственную мораль, выражавшую крайнюю нетерпимость к социальному злу, к существующему несправедливому обществу, к религии⁷. При этом раскольниковство и нигилизм являлись формой самозащиты⁸.

Бердяев в своих рассуждениях ставит знак равенства между раскольничеством и нигилизмом. Но, будучи религиозным философом, он придает этим понятиям скорее религиозный, чем социальный характер. «В основе русского нигилизма лежит православное мироотрицание, ощущение мира, лежащего во зле»⁹. Для философа это своего рода религиозный феномен. Если принять во внимание, что разночинная интеллигенция создает свою мораль, которая заменяет традиционное православие, то нигилизм и раскольничество могут трактоваться, с точки зрения Бердяева, религиозно. Но ни Белинский, ни Добролюбов, ни Чернышевский не воспринимали этот процесс подобным образом. Это было отрицание социокультуры во всех ее проявлениях.

Нигилисты-раскольники выработали и свою религию. И бог — это отрицание, так считал В. Белинский. Д. Мережковский определил нового бога в образе коллектива¹⁰. По его мнению, атеизм разночинцев носил скорее догматический, а не критический характер¹¹. В новой «религии» разночинной интеллигенции он видел «опасность предельного мистического рабства. Самодержавие „Нового Бога“ — коллектива — злейшее из всех самодержавий»¹². Говоря об отсутствии критического скептицизма, Н. Бердяев считает, что «русские все склонны воспринимать тоталитарно»¹³. Так была воспринята и новая религия — марксизм. Тенденцию к догматизму Бердяев выводит из «религиозной целостности русской души»¹⁴. Далее отношение к естественным наукам, получившим широкое распространение во второй половине XIX века, тоже воспринималось как идолопоклонство.

Исходя из обозначенного выше, мы можем понять, почему Бердяев и другие видели в социальном раскольничестве Чернышевского и разночинцев религиозную окраску. Отрицая общество и религию, характерную для него, Чернышевский произвольно способствовал формированию новой, как определил Мережковский, религии — марксизма.

Другая причина столь неординарного подхода Бердяева к понятию раскольничества связана с определением роли детей священников-семинаристов в этом процессе. И действительно, если проследить за развитием леворадикального крыла разночин-

ного сословия, то в нем большую роль сыграли выходцы из религиозных кругов. И, конечно, имелись в виду Добролюбов и Чернышевский. По мнению Бердяева, этот слой русской интеллигенции, эти люди через «православную школу получили формацию души, в которой большую роль играет мотив аскетического мироотрицания»¹⁵. А с другой стороны, кризис православия 50—60-х годов XIX века вызвал волну протеста у части молодежи против религии и распространение нигилизма. Соединение этих двух особенностей и дало в движении народничества стремление к мирскому аскетизму, отрицанию мира, столь же сильные по психологическому воздействию, как и влияние религии. Именно такими предстают перед нами некоторые герои русской литературы: Базаров, Рахметов и др. Эти люди, частично и Чернышевский, принесли с собой особую душевную организацию: моралистическую, требовательную и исключительную (именно такие мотивы звучат на страницах «Что делать?»), — с подобных позиций и оценочных критериев и подходят к себе и окружающим герои романа. Бердяев роман «Что делать?» в целом воспринимает как катехизис русского нигилизма¹⁶.

Чернышевский и шестидесятники привнесли в общественную жизнь еще одну любопытную особенность. С точки зрения Бердяева, Чернышевский, Добролюбов создали новый тип культуры, сниженный по сравнению с 30—40 годами XIX века. Это была попытка распространения культуры вширь, ее демократизации, что неизбежно приводило к понижению общего уровня. Другими словами, происходило усреднение культуры, ее нивелирование в различных социальных слоях общества.

В отличие от Н. Бердяева С. Франк считал, что русской интеллигенции было «чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строгом смысле слова»¹⁷. По определению Франка, культура — «совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей»¹⁸. Пожалуй, это одно из наиболее глубоких определений культуры в широком смысле. Он считал, что культура не интересовала русскую левую интеллигенцию, следовательно, не была ею растолкована народу. Но этот тезис Франка все же сложно отнести ко всей интеллигенции, особенно к ее отдельным представителям.

Причина столь различных подходов определялась, видимо, в том, что разночинцы утверждали свои культуру, идеалы, объективные ценности посредством только им присущей общественно-исторической деятельности. Бердяев, Франк в принципе в понятие культуры вкладывали иной смысл, и речь шла, видимо, с различных культурах — элитарной и демократической — и различных ее ценностях. Но Бердяев не исключал возможность повышения уровня культуры путем «аристократического отбора, переработки человеческого материала»¹⁹.

В трактовке русских философов Н.Г. Чернышевский предстает и демократом, и разночинцем, и нигилистом. Бердяев дополняет характеристику Чернышевского и называет его просветителем²⁰ и энциклопедистом²¹. С одной стороны, Чернышевский был высокообразованным человеком, великолепно знавшим богословие, философию, естественные науки и экономику, а с другой стороны, нес просветительские идеи в борьбе со всеми историческими традициями. И роман «Что делать?» в определенном смысле был просветительским, знакомя читателей с новой культурой, экономикой. Но Бердяев все же считал Чернышевского человеком невысокой культуры, так как он принадлежал к новому типу культуры, неся демократические тенденции.

Чернышевский был вполне типичным представителем разночинства. Для его философии и эстетики характерны были нравоучительность и морализм. Бердяев называет его «материалистом, последователем Фейербаха, и вместе с тем идеалистом земли...»²². Безусловно, в Чернышевском была сильна аскетическая черта. Роман «Что делать?», аскетическая по своему характеру книга, должна была «стать наставлением благочестивой жизни русских нигилистов»²³. Достаточно вспомнить Рахметова, закалявшего свой характер, Лопухова, который жертвует своим личным счастьем и благополучием ради счастья Веры Павловны. Формируя в романе новый идеал любви, проповедуя ее свободу, Чернышевский создал новую мораль и систему ценностей. В сознании русского интеллигента аскеза стала воплощением духовности, противоречащей материальному благополучию. Роман «Что делать?» в целом синтезировал эти два взаимоисключающих начала, создав прообраз нового типа русского человека.

В своем романе Чернышевский также предстал как великолепный экономист, которого высоко оценил Карл Маркс. Выступая в этой роли, Чернышевский создал социалистическую утопию, в чем несколько отошел от образа типичного нигилиста. В отличие от предшественников и многих последователей он не являлся противником индустриального развития общества. В своем романе он пытался показать, обозначить способ сокращения данного пути развития и перехода к социалистическим формам хозяйствования. Здесь, в мастерской Веры Павловны, наиболее ярко проявилась характерная черта социалистической утопии: общинность как основа жизни и деятельности. «Чернышевский защищает крестьянскую общину. Он утверждает, что третий высший социалистический период развития будет походить на первоначальный низший период»²⁴. По мнению Бердяева, большевики в дальнейшем пытались реализовать на деле экономическую концепцию Чернышевского.

Одновременно в этой теории уживалась еще одна специфическая черта русской интеллигенции. С одной стороны, утверждался аскетический идеал, который Франк приравнивал к идеалу бедности²⁵, а с другой, слышались призывы сделать народ богаче. Это приводило к внутренней противоречивости социальной утопии, которая была воплощена в мастерской Веры Павловны. Давая работу и строя идеальный, с точки зрения экономики, мир, Вера Павловна способствовала росту собственного благополучия и достатка своих работниц. Завершая роман, Чернышевский стремился показать сформировавшееся идеальное общество. Но он, выступая как экономист, ушел от проблемы производства и развивал идею распределения. Случайно это было сделано или нет — спорить сложно, но попытка разрешения этого вопроса могла бы привести (что и произошло на практике) к кризису общества и данной экономической системы.

Во второй половине XIX века в сознании народа зрела ненависть к богатым, что приводило к утверждению примата распределения. Возникает понижение интереса к производству — как материальному, так и духовному. Развитие науки, литературы, искусства, культуры вообще становится для интеллигенции менее ценно, чем распределение уже готовых благ²⁶. Действительно, Ве-

ра Павловна больше была увлечена вопросами повышения заработной платы, не заботясь о духовном росте своих работниц. Расширение производства, появление еще одной мастерской мотивируется стремлением охватить заботой большее количество двужек, а не производственной потребностью. «...Абсолютизация распределения, забвение из-за него производства или творчества есть философское заблуждение и моральный грех», — утверждал Франк²⁷. Поэтому, несмотря на стройную красивую экономическую концепцию, теория Чернышевского, так впечатлившая левых интеллигентов, изначально, по мнению философов начала XX века, имела ряд принципиальных слабостей, приведших в дальнейшем к кризису общества распределения.

Нельзя обойти молчанием и философско-эстетические взгляды Чернышевского. В отличие от его экономических сюжетов эта сторона деятельности подвергалась большей критике со стороны Бердяева и других. В реалистической эстетике Чернышевского Бердяев видел скорее антиэстетизм с ярко выраженным аскетическим мотивом²⁸. А философию Чернышевского называл вульгарной, считая ее «окрашенной в цвет популярных естественнонаучных книжек»²⁹. В то же время трудно недооценить значение творчества Чернышевского, которое было отмечено и его оппонентами. «Левая» интеллигенция и религиозные философы оценивали Чернышевского с различных позиций по результатам воздействия на общество. По мнению русских религиозных философов начала XX века, формирование морали социального утилитаризма, подчинение личных интересов жизни общества, социальный заказ в культуре, создание реалистической эстетики в дальнейшем легли в основу советского общества.

Примечания

¹ Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Вехи. Из глубины. М., 1991; Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991.

² Бердяев Н. Указ. Соч. С. 17.

³ Там же. С. 17—18.

⁴ Вехи. Из глубины. С. 44.

⁵ Там же. С. 172—173.

⁶ Бердяев Н. Истоки... С. 38.

⁷ Там же. С. 18.

- ⁸ Там же. С. 18.
- ⁹ Там же. С. 38.
- ¹⁰ *Мережковский Д.* Больная Россия. Л., 1991. С. 151.
- ¹¹ Там же. С. 149.
- ¹² Там же. С. 155.
- ¹³ *Бердяев Н.* Истоки... С. 18.
- ¹⁴ Там же. С. 19.
- ¹⁵ Там же. С. 40.
- ¹⁶ Там же. С. 42.
- ¹⁷ Вехи. Из глубины. С. 176.
- ¹⁸ Там же. С. 177.
- ¹⁹ *Бердяев Н.* Истоки... С. 40.
- ²⁰ Там же. С. 38.
- ²¹ Там же. С. 42.
- ²² Там же.
- ²³ Там же. С. 43.
- ²⁴ Там же. С. 43—44.
- ²⁵ Вехи. Из глубины. С. 177.
- ²⁶ Там же. С. 188.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ *Бердяев Н.* Истоки... С. 44.
- ²⁹ Там же.

К.В. Ратнико

Как известно, в первой половине 50-х годов XIX века основные научные интересы Н.Г. Чернышевского были сосредоточены на разработке теоретических основ новой, позитивистской эстетики, главные положения которой получили оформление в магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Параллельно с этой работой Чернышевским был задуман цикл статей по отдельным вопросам эстетики, призванный постепенно подготовить широкую читательскую аудиторию к восприятию непривычных для традиционной теории словесности эстетических принципов и обновлению общего взгляда на искусство. Предназначавшийся для обнародования в «Отечественных записках» цикл по причинам, связанным, по-видимому, с отрицательным отношением редактора Краевского к новаторской трактовке состоявшихся эстетических канонов, так и не увидел свет, оставшись фактом ранней научной деятельности Чернышевского — свидетельством, подтверждающим фундаментальность проделанной молодым исследователем обширной подготовительной работы.

В этом контексте наибольший интерес представляет оставшаяся неоконченной и опубликованная впервые лишь в 1928 году статья «Возвышенное и комическое», посвященная детальному рассмотрению этих важнейших эстетических категорий. Помимо безусловных достоинств — ясного и четкого изложения материала, данная работа весьма показательна для уяснения того, как, опираясь на достижения предшествующей эстетической мысли, а во многом и отталкиваясь от них, Чернышевский неуклонно подходил к определению собственной позиции по основополагающим проблемам эстетики.

Состоящая в соответствии со своим заглавием из двух самостоятельных разделов («Обыкновенные понятия о возвышенном и критика их» и «Комическое»), статья Чернышевского во втором из них содержит скрытую переключку-полемику с эстетической программой будущего объекта его всесторонней критики в «Очерках

гоголевского периода русской литературы», активного адепта доктрины «официальной народности» в искусстве и общественной жизни, профессора кафедры русской словесности Московского университета Степана Петровича Шевырева (1806—1864), опубликовавшего за три года до этого, в 1851 году, на страницах «Москвитянина» большую статью на близкую тему: «Теория смешного с применением к русской комедии». Анализ работы Чернышевского не только дает весомые основания предполагать его тщательное ознакомление с выступлением Шевырева, но и воочию демонстрирует наметившееся уже в ту пору существенное расхождение теоретика позитивистской эстетики с позднеромантическими концепциями в искусстве, тесно переплетенными к тому же с консервативными политическими воззрениями оппонента.

Первые же строки преамбулы представляют собой завуалированное тонкой иронией стремление размежеваться с «выражаемыми обыкновенно в эстетиках» рутинными представлениями о природе и функциях комического: «Если мы и будем во многом не согласны с ними, то, в сущности, мы с ними совершенно согласны». И действительно, при всей кажущейся солидарности Чернышевского по основным положениям с эстетической позицией Шевырева, с самого начала наблюдается подспудное уклонение от традиционных формулировок, а позднее и предложение своих, несходных с шевыревскими объяснений специфики комического как ключевой эстетической категории.

Поначалу расхождение минимально. И Шевырев, и Чернышевский согласно соотносят комическое со всей «системой координат» категорий эстетики и однозначно определяют его место в области эстетически *низкого*, сопоставляя ее с относящейся к той же области категорией *страшного* (по Чернышевскому) или *ужасного* (в соответствии с патетическими предпочтениями Шевырева). «Безобразие — начало, сущность комического, — дает свое определение Чернышевский. — Правда, безобразия является и в возвышенном, но там является оно не собственно в качестве безобразного, а в качестве *страшного*, которое заставляет забывать о своем безобразии ужасом, возбуждаемым в нас громадностью или силою, проявляющеюся через безобразия». Аналогичную точку зрения развивает и Шевырев. Проведя рассуждение о высоком и прекрасном

как ведущих предметах мира изящного, Шевырев переходит к рассмотрению противоположного полюса искусства:

«Но есть другие предметы, которые носят на себе печать недостатка, несовершенства и, несмотря на то, допускаются в мир изящного.

Таковы предметы смешного и ужасного. Весьма замечательно что мир изящного так разнообразен, что он допускает в себя не только те предметы, которые ознаменованы печатью совершенства, но даже и те, которые им совершенно противоречат».

Как видим, Чернышевский решительно снимает оговорки Шевырева в отношении правомерности допущения явлений «ужасного» в мир изящных искусств и даже находит нужным, вместо указаний на «недостаток», эстетическое «несовершенство» явлений страшного, дать им, так сказать, «уважительную» характеристику: «громадность», «сила». Впрочем, в противопоставлении комического высокому в искусстве, Чернышевский не противоречит Шевыреву: «Всякое ощущение изящного непременно должно возвеличивать нашу душу; если оно ее не возвеличивает, в таком случае не достигает своей цели. Смешное же совершенно противоречит высоте природы человеческой и скорее ее уничтожает, нежели возвеличивает. <...> Смешное есть враг высокого» (Шевырев); «Одна крайность вызывает другую крайность. Так и возвышенное, сущность которого состоит в перевесе идеи над формой, находит себе противоположность в комическом, сущность которого — перевес образа над идеею, подавляющий идею, как в возвышенном образ подавляется идеею» (Чернышевский).

Обращает на себя внимание разница в самом стиле формулирования опорных положений: если Чернышевский стремится сохранять строгость и бесстрастность философской терминологии («форма», «идея»), то Шевырев даже в такой «академической» сфере, как эстетика, никак не может отделаться от привычных в своей публицистике патетичных «морализаторских» ноток («возвеличение души», «высота природы человеческой»). Так при внешнем тождестве мысли уже на уровне стиля начинает явственно намечаться разница между двумя подходами к проблемам эстетики — научного подхода Чернышевского и риторического красноречия привыкшего к публичным выступлениям Шевырева.

Рассматривая область распространения комического среди явлений внешнего мира, Чернышевский вслед за Шевыревым обоснованно исключает природную среду из сферы действия стихии комизма, почти повторяя категоричность утверждений предшественника («не может быть»): «Собственно же смешного в природе нет, да и быть не может, потому что все в природе необходимо и следует одному, своему, установленному закону» (Шевырев); «В природе неорганической и растительной не может быть места комическому, потому что в предметах на этой ступени развития природы нет самостоятельности, нет воли и не может быть никаких притязаний» (Чернышевский). Вновь бросается в глаза четкая, научная конкретность Чернышевского (разделение природы на неорганическую, мертвую, и растительную, живую, а также эволюционистский взгляд на восходящие степени развития природного мира) и декларативная неопределенность тезисов Шевырева (некий не проясненный «свой, один, установленный [безусловно, свыше и навеки незыблемо. — К.Р.] закон»).

Естественнонаучная, материалистическая точка зрения Чернышевского уже на ранней стадии его литературной деятельности начинает исподволь противостоять официально-православным постулатам, ревностным выразителем которых являлся Шевырев. Но вместе с тем система собственно эстетической аргументации Шевырева оказывается вполне востребованной для обоснования новой эстетики, и Чернышевский почти буквально повторяет доводы своего предшественника: «...Мы видим, что смешного в природе нет. Оно принадлежит только человеку. Если мы и смеемся иногда над некоторыми животными, то в таком только случае, когда применяем их свойства к человеку. <...> Неодушевленная и животная природа тогда только подает повод к смеху, когда человек влагает, так сказать, в нее разумную душу, и то, что принадлежит человеку, переносит в мир вещей» (Шевырев); «Но гораздо более мы смеемся над животными потому, что они напоминают нам человека и его движения; и некрасивое животное с неграциозными движениями смешно потому, что напоминает нам урода и нелепые движения нескладного и неловкого человека. <...> Во всех случаях мы, смотря на животное, припоминаем о человеке, и только сближение с человеком делает для нас смешным животное» (Чернышевский).

Использует Чернышевский и шевыревское положение о специфической принадлежности смешного к сфере человеческих отношений, однако принципиально расширяет при этом социальный контекст, не ограничивая, подобно Шевыреву, поле приложения категории комического только индивидуальным проявлением неразумного в человеке, а включая сюда всю общественную жизнь, идущую по ложному, приводящему к комическим ошибкам пути: «...Остается для смешного только царство разум и в человеке только неразумное. Чтобы оно нравственно на него подействовало, — оно должно заключаться или в действии, или в состоянии. Ошибка сама по себе, как незнание, еще не смешна, но когда она проявляется в действии, становится смешной (Шевырев); «...Истинная область комического — человек, человеческое общество, человеческая жизнь, потому что в человеке только развивается стремление быть не тем, чем он может быть, развиваются неуместные, безуспешные, нелепые претензии (Чернышевский). Для строгого аналитического ума Чернышевского очень характерна эта четкая конкретизация расплывчатых шевыревских дефиниций — не «действия» вообще, а именно не обоснованные стремления только казаться по внешности чем-то иным, не меняясь по существу.

Совпадают позиции Чернышевского и Шевырева также и в обосновании такой важнейшей характеристики категории комического, как отсутствие прямого вреда, причиняемого вызвавшими комический эффект действиями самому объекту комизма. Здесь Шевырев прямо следует за определением комического, данным еще Аристотелем, а Чернышевский вполне солидаризируется с этим традиционным и выдержавшим испытание временем постулатом: «Комедия, — говорит он (ссылается Шевырев на «Поэтику» Аристотеля), — есть представление чего-нибудь низкого, но не всегда порочного, а того постыдного, которое приводит смешное, ибо смешное есть какая-нибудь ошибка, что-нибудь постыдное, но безвредное. Так, например, смешное лицо будет дурное, искривленное, но без вреда».

Далее Шевырев развивает это положение на конкретном примере: «В самом деле, если возьмем пример не смешного художественного, но смешного в жизни, то заметим, что только над тем може-

мы безукоризненно смеяться, что не приносит совершенного вреда. Человек шел по улице и упал: это может быть смешно в таком только случае, если он не повредил себе падением, а если он ушибся, то нравственное чувство в нас не допустит никакого смеха».

Свое обоснование принципиальной безвредности смешного Чернышевский строит по той же композиционной схеме, подкрепляя общий тезис указанием на частные случаи: «Все, что выходит в человеке и в человеческой жизни неудачно, неуместно, становится комическим, если не бывает страшным или пагубным. Так, например, чрезвычайно смешна страсть, если она не величественна или не грозна: раздраженный человек необыкновенно смешон, если гнев его пробужден какими-нибудь пустяками и не приносит никому серьезного вреда, потому что человек в этом случае гневается совершенно неуместно, и порывы его страсти нелепы, если не обращены на сокрушение чего-нибудь важного». Приводя далее пример молодого человека, «влюбленного в нарумяненную и набеленную кокетку пожилых лет», Чернышевский подытоживает рассуждения о соотношении идеи комического и принципа безвредности: «Но он смешон только до тех пор, пока эта смешная привязанность не влечет за собою серьезного вреда ему или другим; иначе, губя себя, он становится жалок, и может быть жалок до того, что перестает быть смешным; вредя другим из-за своей глупой, смешной страсти, он делается презренным или отвратительным, и опять перестает быть смешным».

Показательно, что Чернышевский идет значительно дальше Шевырева, определяя возможный вред от действия фактора, вызывающего комическую реакцию, тогда как автор «Теории смешного», применяя свои эстетические принципы к жанру комедии, сознательно обходит проблему вреда и безвредности осмеяния, разрешая ее в благостном и умиротворенном духе: «Но должно заметить, что, когда мы созерцаем в комедии пороки, страсти, то в это самое время удаляем идею того вреда, который в этих пороках находится». Как видим, радикализм Чернышевского и в этом случае берет перевес над консервативной умеренностью «москвитянинского» критика.

Существенно расходится Чернышевский с Шевыревым и в определении причин, порождающих эффект комического. Для эс-

тетика-позитивиста комическое — закономерное порождение интеллектуального несовершенства человека: «Область всего б вредного — область комического; главный источник нелепого глупость, слабоумие. Потому глупость — главный предмет насмешек, главный источник комического». По мнению же алогета официальных доктрин православия, корень проблемы кроется в области морали, понимаемой в сугубо охранительном духе — как средство сдерживания любых проявлений человеческого своеволия: «Злоупотребление свободой нравственной отозвалось и в разуме неразумным, глупостью, дурачеством, и вот что собственно составляет предмет смешного. Однако мы смеемся над пороками, и над страстями, и над всяким злом человеческим. Это так. Но мы смеемся над ними постольку, поскольку пороки наши представляют глупость, дурачество наше, а не постольку, поскольку они нам вредны». Таким образом, в самом подходе к объяснению причин комического эффекта наглядно проявляется разница установок двух теоретиков эстетики: Шевырев стремится перевести разговор в плоскость морализаторства, а Чернышевский — рассматривать проблему в контексте психологического анализа.

Но при всей очевидности расхождений элементы общности точек зрения все же не исчезают совершенно, а в отдельных полемических выступлениях Чернышевский явно перекликается с Шевыревым. Так, говоря о тесной, диалектической взаимосвязи стихии комического с общим трагизмом взгляда на мир, отсылая к гоголевскому принципу «смеха сквозь слезы», Чернышевский и Шевырев проявляют полное согласие: «...комики гениальные всегда близко чувствуют эту близость трагического с комическим, это соседство грусти и смеха» (Шевырев); «В каждом юморе есть смеи и горе...» (Чернышевский). Знаменательно это апеллирование к Гоголю, происходящее на основе диаметрально противоположных взглядов на самую сущность гоголевского творчества, что пока остается затушеванным, но буквально через год открыто выразится Чернышевским в направленной против шевыревских интерпретаций произведений Гоголя третьей статье «Очерки гоголевского периода русской литературы».

Весьма характерно также различие в объяснении природы дей-

ствия комического, «катарсического» эффекта комизма: «...комедия, представляя нам в смешном виде неразумную сторону общественной жизни, тем самым способствует возвышению разумной стороны нашего существа. ...чем полнее, чем ярче представляет нам комедия неразумную сторону существа нашего, тем сильнее в сознании нашем возбуждает идею разумного существа — Богом определенного бытия нашего. <...> Это сознание разумного совершенства как противодействие, вызываемое смешным зрелищем неразумного, и объясняет нам то возвышение нашей природы и то гармоническое впечатление, которое водворяется в нас при созерцании комического» (Шевырев); «Впечатление, производимое в человеке комическим, есть смесь приятного и неприятного ощущения, в которой, однако же, перевес обыкновенно на стороне приятного; иногда перевес этот так силен, что неприятное почти совершенно заглушается. Это ощущение выражается смехом. Неприятно в комическом нам безобразии; приятно то, что мы так проницательны, что постигаем, что безобразное — безобразно. Смеясь над ним, мы становимся выше его. <...> Комическое пробуждает в нас чувство собственного достоинства...» (Чернышевский). Вновь налицо несходство основополагающих подходов Чернышевского и Шевырева к проблеме комического, приводящее к расстановке неодинаковых акцентов: если для первого в проявлении способности воспринимать комическое важен этический аспект («чувство собственного достоинства»), то для второго более существенной является религиозно-патетическая декларация о реализуемой через реакцию на комическое «идее разумного существа», хотя оба автора единодушно отмечают возвышающие действие приобщения к комическому на сознание человека.

Наконец, разница в собственно эстетических предпочтениях со всей определенностью проявилась и в литературном материале, который привлекался каждым из авторов для иллюстрирования своей позиции. Раскрывая сущность остроты как разновидности комического, Чернышевский приводит «два примера насмешки, еще неизвестные у нас», заимствованные из немецкой литературы, тогда как Шевырев последовательно придерживается принципа, согласно которому «примеры, конечно, должны приводить-

ся преимущественно из нашей словесности», и уснащает свое суждение о теории смешного многочисленными отсылками произведениям древнерусской литературы, составлявшей предмет его специальных изучений.

Чернышевский мимоходом исправляет явную недооценку Швыревым потенциальных возможностей такой формы комического, как фарс, ассоциировавшийся автором статьи о русской комедии исключительно с легковесными водевилями французской выделки, тогда как Чернышевский справедливо отмечает, что художественные возможности фарса, при обращении к нему полных мастеров слова, выходят далеко за пределы одной лишь внешней развлекательности: «Но фарсом не пренебрегают и великие писатели: у Рабле он решительно господствует; чрезвычайно часто попадает он и у Сервантеса».

Таким образом, несмотря на то что статья Чернышевского написана во многом как бы «по канве» эстетической работы Швырева, молодой исследователь проявляет очевидную самостоятельность, в частности, давая собственную развернутую классификацию видов комического и в особенности проводя блистательный психологический анализ характера склонного к юмору человека, которым Чернышевский проницательно усматривал признаки глубокого недовольства собой и затаенного внутреннего страдания из-за несовершенства мира — страдания, принявшего внешнее обличие «гамлетовской» иронической насмешки. Исследование Чернышевского не было закончено, поскольку публикация его оказалась невозможной, а дальнейшая работа «впрок», «для себя» была бы непозволительной тратой сил в условиях интенсивной журнальной и научной деятельности 26-летнего автора. Статья «Возвышенное и комическое» не просто явилась пробой сил, подготовительной студией к будущей магистерской диссертации, но и послужила поводом к прояснению собственной эстетической позиции и началу решительного размежевания с прежней школой эстетики, представленной в данном случае столь пригодившейся Чернышевскому статьей Швырева.

О. Он
(Япония)

Считается, что в Японии модернизация страны началась с Реставрации (или Революции) Мэйдзи в 1868 году. Диктатура Сёгун кончилась. Император Мэйдзи со своим правительством начал руководить страной. Под руководством императора Мэйдзи Япония пошла путем модернизации по образцу европейских держав. При этом, подобно тому как в России Петр I первый посылал делегации на Запад, была отправлена большая японская делегация в западные страны, чтобы там изучать государственные системы, современную технику, культуру. В результате революции Мэйдзи была преобразована система управления, создано новое национальное государство, отменены феодальные сословия. Так же сильно изменились и другие стороны японской жизни. Появилось много нового, в том числе и иностранная литература.

Японцев прежде всего заинтересовала русская литература, которую полюбили, стали широко и глубоко изучать и воспринимать умом и сердцем. Русская литература так сильно повлияла на японскую, что сейчас принято считать, будто нет ни одного известного японского писателя, который не попадал бы под влияние русской литературы.

Переводилось много произведений русских писателей. С азартом читались такие великие писатели, как Толстой, Гоголь, Тургенев, Чехов и др¹. Уже в конце XIX века их произведения были переведены на японский язык. В то же время японцы начали изучать и русскую мысль, которая стала для многих руководством к жизни.

Итак, имя Чернышевского было представлено японским читателям уже в эру Мэйдзи (1868—1912). Хотя, к сожалению, изучение творчества Чернышевского активно началось в Японии только после окончания Второй мировой войны, в 1945 году, т. е. после разрушения императорского тоталитаризма. До этого у нас в Японии фактически не было свободы мнений и было запрещено издавать социалистические книги.

* Пер. с яп.

В 1945 году закончилась Вторая мировая война. Япония опять претерпевала большой политический перелом. После войны страна заново пошла по пути демократии. Введена была новая система управления, заявлены основные права человека. Стало возможно изучать любое учение, в том числе и социалистическое.

С этого времени начали активно переводить книги Чернышевского, изучать его с разных сторон. Сразу после войны, в 1948 году, в серии мировой философии вышел перевод работы Чернышевского «Эстетические отношения к действительности» (диссертация и авторецензия, а также предисловие). В том же году вторично был переведен роман «Что делать?», который еще в 1917 году вышел на японском языке, правда, с английского текста. Еще две статьи были переведены в 50-х годах. Это «Очерки политической экономики (по Миллю)» и «Антропологический принцип в философии».

Так имя Чернышевского стало известно в Японии среди интересующихся русской мыслью. Чернышевского принимали не только как писателя, но и как разночинца-интеллигента², экономиста³, предшественника научного социализма или просто революционного демократа⁴. Под влиянием советских исследований с позиции оценки Ленина начали изучать творчество Чернышевского и в Японии.

Несмотря на то, что традиция такого «классического» подхода продолжается даже сейчас⁵, в 70-х годах XX века появились некоторые попытки нового осмысления творчества Чернышевского. Особенности японцы обратили внимание на его теорию о крестьянской общине, потому что при выявлении противоречий капитализма в Японии появились разные общественные движения. Трудящиеся предъявляли требования на свои права, студенты выступали против войны во Вьетнаме, а женщины боролись за свои женские права и т. д. Тогдашняя многоукладная политическая ситуация в Японии способствовала тому, что японские исследователи искали отличающуюся от марксизма теорию преобразования общества.

В это время начали изучать наследие Чернышевского с разных сторон. Одни анализировали его работы с точки зрения педагогики⁷, а другие — с точки зрения феминизма⁸. Углубилось понимание его воззрений. Изучали взаимоотношения между Черны

шевским и другими мыслителями или движениями. Сравнивали его мысли с идеями Достоевского, народников, либералов⁹. Может быть, этот период можно назвать периодом Возрождения Чернышевского в Японии.

В 1981 году вышел в свет сборник статей под редакцией Ма-сахико Канеко, Синдзи Хосоя, Икуо Исикава и Йосио Имаи, который называется «Н.Г. Чернышевский: его жизнь и мысль». Этот сборник можно оценить как итог научных исследований 70-х годов по изучению Чернышевского в Японии. В нем помещено 11 статей, которые посвящены разным аспектам жизни и творчества, воззрений Чернышевского.

Начиная с «классического» подхода (Канеко знакомит с жизнью и эпохой Чернышевского, Имаи формулирует его преобразовательную теорию как теорию преобразования России «снизу», противопоставленную теории преобразования «сверху», а Исикава характеризует его учение как теорию трудящихся), здесь раскрываются разные подходы к творчеству Чернышевского.

Например, когда Ватанабе анализирует теорию Чернышевского о крестьянской общине, он, отмечая взгляд Чернышевского на Азию, видит два аспекта в воззрениях Чернышевского, т. е. Чернышевский как идеалист и Чернышевский как реалист. По мнению Ватанабе, Чернышевский начал защищать крестьянскую общину только после поражения в Крымской войне. Во время национального кризиса у Чернышевского как идеалиста-западника появилась мысль об использовании общины для будущего социализма. Учитывая условия мирового империалистического раздела рынка, анализируя Тайринское и Сипайское восстания, Чернышевский-реалист пришел к мысли, что только путем азиатского развития, т. е. через крестьянскую общину, Россия сможет перегнать Запад. Итак, Ватанабе высоко оценивал Чернышевского за то, что тот, признавая прогрессивное значение европейского общества, подчеркивал важность «опоздания» русской крестьянской общины.

Сасаки, который так же, как Ватанабе, анализировал философию Чернышевского, обратил внимание на двойной аспект мысли Чернышевского. Сасаки видит в философии Чернышевского два аспекта, т. е. аспект чувства и аспект ума, или рассудка. Каждый из двух аспектов находится в соответствии с действительнос-

тью и идеей, или русской жизнью и социалистической теорией или, еще позже, народом и интеллигенцией. Более того, по мнению Сасаки, по мере разработки своей философии, Чернышевский переносил внимание с аспекта чувства на аспект ума. Например, когда Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода» высоко оценит формулу Гегеля «отвлеченной истины нет; истина конкретна», тогда он явно защищает «действительность» в эстетической теории, «русскую действительность» в литературной критике. Такое превалирующее внимание к «действительности» Чернышевского привело его к защите крестьянской общины. Кстати, в условиях 60-х годов, когда Чернышевский полагал, что «опыдающая» Россия может быстро развиваться только с помощью «сближения» с передовыми странами, он явно переходит к превалированию аспекта ума. Отмечая, что такой взгляд Чернышевского отражает понимание диалектики, Сасаки характеризует диалектику Чернышевского как «просветительскую», потому что Чернышевский видит момент развития только в «сближении», т. е. извне и не видит его во внутренних противоречиях. Констатируя то, что в концепции «разумного эгоизма» диалектически синтезированы и аспект чувства, и аспект ума, а также определяя место Чернышевского как основателя народничества и диалектического материализма, Сасаки все-таки видит особенность Чернышевского в том, что его философия сформировалась на первоначальном этапе его становления, когда превалировала сфера чувства.

В этом сборнике также проанализированы отдельные произведения Чернышевского. Например, Мицуо Наганава, тщательно анализируя роман «Что делать?», утверждал, что главным героем этого романа является Рахметов, который олицетворяет идеального революционера. А Такеси Сакон раскрывает историю создания и опубликования романа «Пролог».

В то же время в этом сборнике обращено внимание и на советских историков. Например, Имаи, с одной стороны, ссылаясь на работу итальянского ученого F. Venturi, задает вопрос о целесообразности концепции «революционной ситуации», и он же, с другой стороны, знакомя с полемикой среди советских ученых, показывает динамизм советской историографии¹⁰. А Икуо Исикава, тоже проследившая советскую историографию, обращает особое внимание

мание на полемику вокруг «Революционной ситуации в России» под редакцией Нечкиной. В заключение, знакомя японцев с работами «саратовской школы», Исикава высоко оценивал и используемые там материалы, и методику анализа сборников «Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников» в двух томах и «Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы».

Благодаря работам Имаи и Исикавы, японские исследователи стали интересоваться полемикой среди советских историков, в том числе полемикой между Козыминым и Нечкиной вокруг авторства письма «Русского человека».

Вместе с тем изучение взаимоотношений между политическими направлениями и личностями стало любимой темой японцев, которые занимаются историей, литературой, философией середины XIX века. Один аспирант даже попытался выяснить политическое место Герцена, рисуя его позицию между двумя «доктринерами», т.е. Чернышевским и Чичериным¹¹. Кроме того, некоторые серьезные работы, освещающие тему взаимоотношений мыслителей к Чернышевскому, были опубликованы в 80-х годах. В первом ряду таких работ стоит монография Исикава «Герцен и Чернышевский»¹². Исикава вслед за переводами работ Чернышевского «Капитал и труд» (1965), а также «Заметки о журналах». (1957), «Славянофилы и вопрос об общине» и «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1983), опубликовал эту книгу. Здесь Исикава, ставя три вопроса, анализирует разногласия между Герценом и Чернышевским. Впервые задавая вопрос: «Реформа или революция?», Исикава констатирует процесс расхождения Герцена и Чернышевского, начиная со статьи «Very Dangerous!!!» и до их встречи в Лондоне. По мнению Исикавы, причина этой полемики объясняется идейной разницей двух мыслителей. Кстати, Исикава, не соглашаясь с классовой точкой зрения Евгеньева-Максимова, поддерживает вывод Козымина о возможности существования «между ними глубоких расхождений как по вопросам теоретическим, так <...> по тактическим», несмотря на то что эти «два человека находятся по одну сторону баррикад». Именно второй и третий вопросы, т.е. вопрос о русском социализме и вопрос о «народе и интеллигенции», значит, вопрос о революции, посвящены анализу теоретических расхождений Герцена и Чернышевского.

В конце 80-х годов XIX века впервые на японском языке вышел в свет собрание сочинений Чернышевского в двух томах. Переводчиком этого собрания является Коити Мори, усилиями которого переведены на японский язык несколько главных работ Чернышевского, таких, как «Эстетические отношения искусства к действительности», «Очерки гоголевского периода русской литературы» «Лессинг, его время, жизнь и деятельность», «Критика философских предубеждений против общинного владения», «О причинах падения Рима», «Экономическая деятельность и законодательство», «Антропологический принцип в философии», «Письма без адреса», «Письма сыну», «Характер человеческого знания», «По поводу смешения в науке терминов „развитие“ и „процесс“».

Кстати, произошедший в СССР политический перелом не мог оказать влияния на Японию. По мере того как шел процесс либерализации в СССР в 80-х годах XX века, научный интерес японских исследователей перемещался с изучения революционной мысли на изучение либерализма. На базе старых работ открываются новые перспективы¹³. Например, Сюити Сугиура в своей монографии, обращая внимание на взаимоотношения между Чичериным и Чернышевским, тщательно анализирует идейные структуры Кавелина и Чичерина¹⁴.

Тем не менее новые условия не мешали японским исследователям продолжать изучение творчества Чернышевского. С 1998 года, благодаря директору дома-музея Чернышевского Г.П. Мурениной и ее сотрудникам, профессорам А.А. Демченко и Имаи, японские исследователи начали приезжать в Саратов на научные чтения «Чернышевский и его эпоха». Такие взаимоотношения не только расширяют и укрепляют дружбу между Россией и Японией, но дают возможность для нового перспективного изучения творчества Чернышевского.

Примечания

¹ В эру Мэйдзи (1868—1912) переводились, например, следующие произведения: «Гробовщик» (1904), «Выстрел» (1905), «Метель» (1889), «Капитанская дочка» (1883) А.С. Пушкина; «Записки сумасшедшего» (1907), «Шинель» (1909) Н.В. Гоголя; «Княжна Мэри» (1892), «Тамань» (1892), «Фаталист» (1907) М.Ю. Лермонтова; «Ася» (1896), «Стихотворения в прозе» (1908) И.С. Тургенева; «Кзаки» (1893), «Война и мир» (1886), «Анна Каренина» (1906), «Власть тьмы» (1905), «Крейцера соната»

(1895), «Воскресение» (1903) Л.Н.Толстого; «Палата № 6» (1906), «Чайка» (1910), «Дядя Ваня» (1912), «Три сестры» (1911), «Вишневый сад» (1908) А.П.Чехова и др.

² Опубликована подробная библиография Чернышевского. См.: *Синдзи Хосоя*. Японские работы о Чернышевском // Н.Г.Чернышевский — его жизнь и мысль (1981). *Сатихико Канеко*. Интеллигенция в период реакции // *Nihon-hyogon*. 1949. №7.

³ *Сумихиро Судзуки*. Чернышевский и Рикардо // *Hitotsubashi-ronso*. 1955. №34; *Акира Мацубара*. Мнение Чернышевского на труд; рождение политической экономики в России // *Waseda-shogaku*. 1956. №125; *Сатоси Ямамото*. Теория Чернышевского на капитал и труд // *Slavic Studies*. 1957. №1; *Икуо Исикава*. Теория трудящихся у Чернышевского // *Unv. Ibaragi*. 1964. №1—2; *Масахару Танака*. Изучение истории экономической мысли // *Minerva-shobo*, 1967; *Икуо Исикава*. Политическая экономика у Чернышевского // Мысль и литература в России // *Kobunsha* 1977; *Таненобу Соезима*. Чернышевский как экономист // *Keizai*. 1978. №176.

⁴ *Йоситомо Накамура* и *Масаки Ямаути*. Идеиная борьба вокруг наследства революционного демократизма в России в XIX века — критика Н.Г.Чернышевского против крепостного права // *Rekishihyogon* 1955. №71; *Йоситомо Накамура*. Русская крестьянская община и утопический социализм в середине XIX в. // *Unv. Shimane*. 1956. №2; *Кэисин Икесэджи*. Развитие русского социализма Н.Г.Чернышевского // *Hogaku-shinrou*. 1970; *Кититаро Йокемура*. Чернышевский и мысль революционных демократов России // орган КПЯ *Zenshin*. 1971. №327; *Кюми Мори*. Материализм Чернышевского // История материализма нового времени. 1977.

⁵ Например, см.: *Юзиро Такеи*. Историческая философия у Чернышевского // *Hogitsu-bunka sha*, 2000. Автор, анализируя дневник Чернышевского, рисует его как радикального социалиста.

⁶ *Икуо Исикава*. Чернышевский и крестьянская революция // *Unv. Ibaragi*. 1974. №7; *Масаэджи Ватанабе*. Основная структура теории Чернышевского о крестьянском мире // *Hitotsubashi-ronso*. 1974. №72; *Масаэджи Ватанабе*. Познание Азии в теории крестьянской общины Чернышевского // *Roshia-go roshia-bungaku kenkyuu* 1975. №7; *Масаэджи Ватанабе*. О переходном периоде Чернышевского // *Hitotsubashi-ronso*. 1976. №76; *Масаэджи Ватанабе*. Теория крестьянской общины у Чернышевского как критическая система на предубеждение // *Keieito keizai*. 1976. №7.

⁷ *Харука Эбихара*. Педагогическая мысль у Чернышевского и Добролюбова // *Kodansha*. 1976; Записки о педагогической теории Чернышевского. Революционно-демократическая педагогическая теория, 1978.

⁸ *Норико Оно*. Мнение Чернышевского о женщине; «Что делать?» как роман любви // *Unv. Kobe*. 1979. №22.

⁹ *Минео Куросова*. Достоевский и Чернышевский // *Hitotsubashi-ronso*. 1973. №70; *Икуо Исикава*. Критика Чернышевским либерализма // *Unv. Ibaragi*. 1975. №8; *Сёсукэ Комацу*. Т.Г.Шевченко и Н.Г.Чернышевский // *Koube-gaidai ronso*. 1975. №26; *Икуо Исикава*. Чернышевский и первая «Земля и воля» // *Hitotsubashi ronso*. 1976. №76; *Акико Вада*. Народническая революционер-женщина. *Yuki-kaku* 1980.

¹⁰ *Yoshio Imai*. The London Meeting of Herzen and Chernyshevsky in June 1856 // *Unv. Kogakuin*. 1969. №8.

¹¹ *Он Оя*. Герцен и свобода речи. *Daigakuin kenkyu nenrou Unv. Chuo*, 1984.

¹² *Икуо Исикава*. Герцен и Чернышевский. *Mirai-sha*, 1988.

¹³ См. например, *Йосио Имаи*. Герцен и Каверин: дружба и расхождение // Русская мысль и литература, 1977.

¹⁴ *Сюити Сузура*. Политическая мысль Русского либерализма // *Mirai-sha*. 1999.

Системная организация «Выбранных мест из переписки с друзьями» была впервые исследована Александром Матвеевичем Бухаревым (архимандритом Федором), известным в XIX веке духовным писателем, преподавателем Московской Духовной Академии. В 1849 году, т. е. сразу после опубликования «Переписки», он написал «Три письма к Н.В. Гоголю», в которых по сути да оригинальный развернутый комментарий к сочинению Николая Васильевича. Бухарев, в частности, констатировал в «Выбранных местах» наличие трех проблемно-тематических уровней, «которые только изложены не систематически, а по разным отдельным статьям и письмам»¹. Первый уровень «составляют общие и основные мысли — о бытии и нравственности, о судьбах рода человеческого, о Церкви, о России, о современном состоянии мира и проч.». Во второй уровень входят мысли, касающиеся «искусства, в собственности поэзии». Третий «состоит из некоторых личных объяснений ваших о себе, о сочинениях ваших, об отношении вашем к публике и пр.»².

Ю.Я. Барабаш считает такую систематизацию весьма полезной в методологическом плане: «С известной долей условности предложенное системное членение текста гоголевской книги и сегодня может быть признано в научном смысле корректным, стать исходным пунктом анализа»³. Он полагает, что, например, первый, «социально-философский», уровень сам состоит из «множества подсистем» (подсистема России, религиозная подсистема и т. д.).

Нам представляется справедливой мысль о существовании нескольких «проблемных узлов» в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Здесь действительно имеет место некоторая фрагментарность композиции при единстве идейно-тематического плана. А. Терц не принял такую структуру «Переписки», считая, что в этом произведении произошло «смещение жанров, законных в разрозненном виде и стыкнувшихся тут в нечто противоестественное: Библии и поваренной книги, молитвы и газеты,

земных и небесных забот»⁴. Однако существует аргументированное объяснение Гоголя, касающееся жанровой «разногласицы» в книге. Николай Васильевич в «Авторской исповеди» называет «Переписку» «верным зеркалом человека», в котором «находится то же, что во всяком человеке»⁵. Обращение к Библии и поваренной книге звучит на этом фоне всего лишь как отражение различных сторон человеческой природы.

Общественная проблематика «Переписки» — «сплошной и страстный призыв к личности — отдать все силы на служение общему благу»⁶ — вызвана желанием достучаться до души каждого человека, каждой личности, потому что «все существование общества определяется существованием корней», а «корни эти — в душах людей»⁷. Какой бы социальный вопрос ни рассматривался писателем, какие бы ответы на него ни предлагались, любой «проблемный узел» в книге «завязан» на «индивидуальном духе человеческой личности».

«Выбранные места из переписки с друзьями», на наш взгляд, — цельный, эстетически организованный ансамбль «проблемных узлов». Каждый из них подчинен единой задаче книги — обратить внимание современников на духовно-нравственный кризис поколения 40-х годов XIX века. М.О. Гершензон в «Исторических записках» определяет целевую установку Гоголя как «защиту гибнущей родины»⁸. Гоголь обозначил в «Выбранных местах» многие «печальные события» в общественной жизни. При этом «общественный быт он видел в совокупности человеческих личностей, человеческую личность — в совокупности душевных движений»⁹. Исправление поврежденных нравов, по его мысли, можно и должно производить посредством воздействия на «душевные корни» каждого индивида. И действенным, целесообразным средством оздоровления души Гоголь-писатель, конечно же, видел искусство. Магическая сила преображения, определяемая как категория прекрасного, исходящая из первоизданной нравственной чистоты жизни, способна, по Гоголю, возратить гармонию человеческому обществу, согласовать устремления отдельной личности с естественным природным движением.

Не случайно в центре «Переписки» стоят фигуры Женщины и Художника¹⁰. Автор создает два базисных образа общественного

совершенствования. Будучи непосредственными носителями феномена прекрасного, они осмысливаются в качестве залога будущего духовного возрождения. Так, ставя женщину на пьедестал духовного возрождения России, он пишет: «Клянусь, женщину нас очнутя прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлыстнут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича» (Н.В. Гоголь. Собр. соч. Т.6. С. 257).

Чрезвычайно высоко Гоголь оценивает и роль художника: «Лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости» (Н.В. Гоголь. Собр. соч. Т.6. С. 237), — пишет Гоголь имея в виду душевную красоту, сопряженную с понятиями действительно библейскими — добротой, кротостью, великодушием. Злая, сварливая женщина а priori не может быть красивой, кокетливый в своем творчестве художник уже перестает быть художником. Гоголь и предъявляет такие высокие требования к этим ипостасям потому, что считает их безусловными носителями абсолютной нравственности.

Свою программу нравственного возрождения общества автор выстраивает на психологической основе прогрессивных социальных преобразований. При этом художник не должен вмешиваться в общественно-политические неурядицы: его задача — пробуждать к жизни нравственные силы человеческого духа. «Если бы он (Гоголь) закрепился на этой безупречной позиции спасения человечества силами красоты — чтением „Одиссеи“, общением с прекрасными женщинами, слушанием музыки, — никто бы на него не обиделся и не рассердился. Но Гоголь дело русского языка, дело претворения в плоть слова красоты, принял к сердцу буквально... В подмогу искусству он не замедлил привлечь гражданские и церковные ведомства, хозяйственный статус и разум, съевший собаку в вопросах психологии, педагогики и т. п.»¹¹, — эмоционально отмечает А. Терц. Нам представляется, что тотальность проблематики, стремление затронуть весь спектр

российского общественного уклада, возможно, непосильный труд даже для гения, но в результате был создан многогранный образ России 40-х годов XIX века, образ поколения россиян и удивительный по глубине и масштабу обобщенный образ русского человека с его представлениями, чаяниями, поисками духовных истин. Так, в главе «Споры» он пишет: «Все эти славянисты и европейцы, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу»¹². Гоголю искренне непонятны и неинтересны политические разногласия, его волнует объединяющая спорящих нравственная идея — любовь к России.

Н.В. Гоголь, формально не принадлежа ни к одному лагерю, сам стремился постичь смысл существования Российского государства, выделить его особенное место среди западного мира. Так или иначе, историки и теперь не склонны упрощать процессы, протекающие в 40-х годах XIX века в общественном сознании. Д. Олейников полагает: «... к началу 40-х годов начитанная „образованная публика“ пришла к выводу, что подражание Западу — реальность прошлого, что этот этап пора преодолеть»¹³. Гоголю, учитывая его близость к авторам «Москвитянина», несомненно, был знаком пафос, с которым А. Студитский выступил в № 9 этого журнала за 1842 год: «Было время, когда увлеченные Западом, мы жили его жизнью, повторяли его слова, мы дышали остатками его дыхания... Наша литература была долго отголоском Запада, наша мысль светила заимствованным светом. И теперь, при распространении мысли о народности, — нам надобно снять чужое платье, сбросить подрывшую нас кору, чтобы, наконец, явиться в своем виде, просветлеть своим светом»¹⁴.

Мотив «просветления» становится ведущим в «Переписке» при разработке патриотической тематики, более того, становится определяющим в рассуждениях об уникальности русского национального менталитета: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово „просвещение“. Даже и не задумывались над тем, откуда пришло это слово, и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего на-

сквозь высветить человека во всех его силах, а не в одном уме пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь («Просвещение») (Н.В. Гоголь. Собр. соч. Т.6. С. 277). В думах о Отечестве звучит не дилетантизм эмигранта, поучающего из своего «прекрасного далека», но деятельное желание писателя-психолога содействовать российскому благу.

Исследуя социально-психологическую проблематику «Выбранных мест из переписки с друзьями», необходимо не столько понять, сколько принять глубинный пласт христианского верования Гоголя, на котором, собственно, и воздвигнут храм его «Завещания». Особенность темы «просвещение — просветление» обусловлена именно этой верой, этой нравственной идеей автора, растворенной как в нем самом, так и в его книге. Еще в начале XX века И. Житецкий высказал мысль, что «мировоззрение Гоголя проистекало из реальной любви, соприкоснувшейся с пессимистическим сознанием человеческого бессилия и желания водворить Царство Божие на земле»¹⁵. Он наметил, но не развил чрезвычайно важный для понимания замысла книги мотив всепроникающей любви. Сам Гоголь дает повод поразмышлять над этим. В «Авторской исповеди» он пишет: «Для того чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью»¹⁶. Однако мимо этого замечания прошли многие авторы статей и монографий.

К.В. Мочульский старается вписать религиозный план в общую тональность книги. «Работа проповедника, — заключает он, — сводится не к уничтожению зла, а к исправлению испорченного, искаженного добра в душе грешника»¹⁷. Здесь прослеживается взаимосвязь научного осмысления «Переписки» с общей тенденцией гоголевских исканий — сакцентировать внимание на возбуждении нравственных сил в человеческой личности. (Ср.: «У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: исповедь и проповедь. На этих двух поприщах ...можно сделать очень много»¹⁸).

О той же проблеме говорит и Е.А. Анненкова: «В „Выбранных

местах“ речь идет не столько о реальных чертах русской православной церкви определенного времени, сколько о церкви в ее идеальной, „апостольской сущности“... Гоголю-художнику дано ощутить, что потребность быть одновременно „вдали от людей“ и „волноваться вместе с ними“ осуществима лишь в теоретической системе христианства, но не в его живом бытии»¹⁹. Здесь подхвачена мысль самого Гоголя: «Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших... Жизнью нашей мы должны защитить нашу церковь, которая вся есть жизнь» (*«Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве»*)²⁰.

Наиболее аргументированно это разъяснил М.О. Гершензон в «Исторических записках»: «Личность и закон Христа занимают в его (Гоголя) учении центральное место, но играют только служебную роль: в Христе мы видим недостижимый образец тех самых душевных свойств, которые нужны всякому для наиболее успешного служения общественному благу, а в его учении — как бы лучшее... руководство к выработке этих качеств в себе и других. Христос для Гоголя — как бы величайший специалист обществоведения, изучивший как никто законы исторического бытия, другими словами — законы душевной жизни человека. Здесь нет и намек на религию в прямом значении этого слова. Чтобы научиться реально, а не в мечтах и на бумаге, перестраивать жизнь, нужно предварительно как можно трезвее и детальнее изучить ее, какова она есть от века; лучшим ее знатоком и тактиком оказался Христос — вот и все!»²¹.

Гоголь — консерватор по своему мировосприятию, но консерватор прогрессивного толка. «Преобразование общества, — пишет он, — начинается с приказа: всем оставаться на своих местах. Не рвать ни одной традиции, не изменять ни одного учреждения. Ибо все институты, законы, должности и установления совершенны... Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, все достаточно, устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к злоупотреблениям» (*«Занимающему важное место»*) (Н.В. Гоголь. Собр. соч. Т.6. С. 354). Эта позиция при всей своей

утопичности выглядит гораздо привлекательней той, что описан П.В. Анненковым в его «Замечательном десятилетии»: «Герцен был заодно с Белинским, и они оба смотрели прямо и открыто в лицо всем симптомам разложения, грозившим, по их мнению, Европе. Они думали, что из пепла старой цивилизации Европы возникнет феникс — новый порядок вещей как венец и последнее слово тысячелетнего развития»²².

В решении вопроса о будущем России размышления писателей весьма осторожны. Анализ писем друзей из России, получаемый из разных мест одновременно, дал ему возможность увидеть целостную картину положения общества, словно он сам побывал в разных уголках России. Это видение целого поразило его, и он с тревогой отмечает: «...Еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг от друга и не произвело такого разлада во всем» («*Нужно проездиться по России*») (Н.В. Гоголь. Собр. соч. Т.6. С. 296).

Россия современная вызывает у Гоголя серьезное беспокойство. Более того, состояние общества исторгает у него вопль души: «Соотечественники! Страшно!». «Его отношение к Родине из любви выросло в жгучую тревогу, почти в ужас, и этим чувством, вызвавшим к жизни самую книгу его писем, дышит каждая его строка. Эта книга — как набат в глухую полночь; невнятные от ужаса словами она кричит: Россия гибнет! Проснитесь, спящие! Нельзя медлить!.. Ему кажется, что никогда еще Россия так громко не звала своих сыновей... И потому он не устает молить всех встать на служение ей»²³, — комментирует переживания Гоголя М.О. Гершензон.

Опасения Гоголя родились не на пустом месте. Анализ жизни только высшей сословной среды, а именно дворянства, стал предметом изображения «Выбранных мест из переписки с друзьями», дал ему повод для тревоги за судьбу страны. Административно-чиновничий аппарат управления России позднее будет «воспет» Салтыковым-Щедриным, но именно Гоголь в «Переписке» создает образ не взяточника, а взяточничества как явления из разряда «страхов и ужасов России», сравнимого разве что с чумой

или нашествием супостата: «Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли, прослышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека» (Н.В. Гоголь. Собр. соч. Т.6. С. 293). «Настал другой род спасенья — не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства» («*Страхи и ужасы России*») (там же, с. 340). Позволю себе заметить, насколько актуальна для русской интеллигенции такая постановка вопроса...

Путь спасения России, по Гоголю, в нравственном просветлении общества. Именно оно должно, по его мнению, пробудить глубинные нравственные силы личности. Они уже вполне оформлены и закреплены естественным ходом истории. Изменить порядок вещей в России — значит нарушить коренные, природные взаимосвязи и окончательно обречь себя на гибель. Отсюда — спасение своей души «не выходя из государства». Гоголь — не социолог и не политик, он Божьей милостью Художник, гениальный психолог. Он прекрасно осознает необходимость преемственности и традиций в способе и образе мышления каждого поколения. Он скрупулезно описывает те действия помещика, губернатора, которые «просветляют» личность и служат общественной пользе. Гоголь не создает социальных новаций, он обращается к психологии человека, призывая честно выполнять единожды установленную социальную функцию: «Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезли навеки... Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они... Скажи им всю правду: что с тебя взыщет Бог за последнего негодея в селе и что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно не только к тебе, но и к себе самим» («*Русский помещик*») (там же, с. 317). Здесь усматривается некоторый утопизм во взглядах, но нет утопии как таковой.

Несмотря на констатацию глубочайшего общественного кризиса, Гоголь остается историческим оптимистом. Он верит в мес-

сианскую идею России, «просветленной» и «облагороженно своими гражданами: «В России еще брезжит свет, есть еще путь и дороги к спасению, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже... Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках» («*Страхи и ужасы России*») (там же, с. 342). Поистине нужно обладать величайшей, невыразимой патриотической стойкостью, чтобы верить в «светлое воскресение» своей страны. «Больше той любви к родине, какая сказалась здесь, не может быть»²⁴, — утверждаем мы вслед за автором «Исторических записок».

Россия для Гоголя — глубокая и постоянная боль души, исцеление которой возможно только через «нравственное просветление» каждой личности: «Не полюбивши России, — пишет он, — не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши вам своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам» («*Нужно любить Россию*») (там же, с. 293).

Нам представляется важным подчеркнуть эту отмеченную Гоголем взаимообусловленность процесса: процветание общества обеспечивает процветание каждой личности, а процветание личности зависит от ее «просветленности». Гоголь-художник утверждает, что именно прекрасное в жизни должно стать источником «просветления» и в конечном итоге началом обретения России «своей национальной формы»: «Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского... Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник светлого воскресения воспряднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов!» («*Светлое воскресение*») (там же, с. 420). Образ «светлого воскресения» звучит в книге апофеозом России, выстраданным Гоголем в его мученических исканиях.

Поколение 40-х годов XIX века отвергло книгу Гоголя, и механизм этого отторжения известен. Изучение психологии отторжения, названного Ю.Д. Марголисом «смертоносным вихрем»²⁵ и утверждение гениальности Гоголя-художника было начато

Н.Г. Чернышевским в «Очерках гоголевского периода русской литературы». Чернышевский, вопреки устоявшемуся мнению о нем как продолжателе и последователе критики Белинского, прямо противостоит этой критике в защите Гоголя от обличений Белинского, заявляя, что «Гоголь 1850 года заслуживал такого же уважения, как и Гоголь 1835 года»²⁶. Он пишет, что Гоголь «до конца жизни остался верен себе как художник, несмотря на то, что как мыслитель мог заблуждаться; ...высокое благородство сердца, страстная любовь к правде и благу всегда горели в душе его ...страстной ненавистью ко всему низкому и злему до конца жизни кипел он»²⁷.

Примечания

¹ Цит. по: *Барабаш Ю.Я.* Гоголь. Загадка «Прощальной повести». («Выбранные места из переписки с друзьями». Опыт непредвзятого прочтения). М., 1993. С. 33—34.

² Там же. С. 34—35.

³ Там же. С. 36.

⁴ *Терц А.* В тени Гоголя // *А. Терц.* Собр. соч. В 2 т. М., 1992. Т.2. С. 12.

⁵ *Гоголь Н.В.* Авторская исповедь // *Гоголь Н.В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т.6. С. 435.

⁶ *Гершензон М.О.* Исторические записки (О русском обществе). М., 1910. С. 98.

⁷ Там же. С. 96.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 94.

¹⁰ См.: *Беспалова С.В.* Искусство и Женщина — «ступени к христианству» (О духовном возрождении общества в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В.Гоголя) // *Пропагандист великого наследия.* Вып.3. Саратов, 2002. С. 73—83.

¹¹ *Терц А.* В тени Гоголя. С. 27.

¹² *Гоголь Н.В.* Выбранные места из переписки с друзьями // *Н.В. Гоголь.* Собр. соч. В 7 т. М., 1967. Т.6. С. 251. Здесь и далее ссылки на это издание даются в тексте.

¹³ *Олейников Д.* Странности любви // *Родина.* 1995. № 11. С. 34.

¹⁴ См.: *Москвитянин.* 1842. Ч.V. № 9. Критика. С. 205.

¹⁵ *Житецкий И.* Гоголь — проповедник и писатель. СПб., 1909. С. 52.

¹⁶ *Гоголь Н.В.* Авторская исповедь // *Н.В. Гоголь.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т.6. С. 472.

¹⁷ *Мочульский К.В.* Гоголь // *К.В. Мочульский Гоголь.* Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 40.

¹⁸ *Гоголь Н.В.* Выбранные места из переписки с друзьями // *Гоголь Н.В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т.6. С. 236.

¹⁹ *Анненкова Е.И.* Исторический путь и этика православия в концепции А.С. Хомякова и Н.В. Гоголя // *Христианство и русская литература.* СПб., 1994. Вып. 1. С. 216.

²⁰ Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Н.В. Гоголь. Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т.6. С. 234.

²¹ Гершензон М.О. Исторические записки (О русском обществе). М., 1910. С. 10.

²² Анненков П.В. Замечательное десятилетие. 1838—1848 // П.В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 250.

²³ Гершензон М.О. Исторические записки. С. 92

²⁴ Там же.

²⁵ Марголис Ю.Д. Книга Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Основные вехи истории восприятия / Под ред. д-ра ист.наук Г.А. Тишкин. СПб, 1998. С. 100.

²⁶ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 4. С. 664.

²⁷ Там же. Т.3. С.13.

Социальная утопия Чернышевского в рассказе В. Пелевина «Девятый сон Веры Павловны»

С. В. Клименко

Рассказ Пелевина «Девятый сон Веры Павловны», опубликованный в конце 90-х годов, посвящен событиям российской (точнее, советской) истории конца 80-х — начала 90-х годов, получившим название «перестройка». В этот период произошли значительные изменения в экономической, политической и социально-культурной жизни России, причем все новации производились с ориентацией на прежние идеалы в прежних символах — «новая жизнь» и «светлое будущее».

Традиционная для русской культуры тема общественных катаклизмов вызвала в памяти автора рассказа множество историко-литературных аллюзий и мотивов. Пелевин использует их в трагестийной традиции, совмещающей в одном повествовании смешное и страшное, «низкое» и «высокое». В основе рассказа — судьба «маленького» человека, сметенного историей, — тема «Медного всадника» А.С. Пушкина. Этот мотив дополнен темой ожидания «светлого будущего», почти осуществившегося, но вновь потерпевшего крах. Рассказ приобретает черты трагического фарса, соединяющего традицию гоголевского «смеха сквозь слезы» и комизм бурлеска, гротескного и трагестийного по своей природе.

Пелевин не задается целью пародирования того или иного автора или произведения. Его интересуют аналогии русской истории XX века в сравнении с XIX-м веком. Изменения в социальной и экономической жизни Советского Союза 80-х годов дают богатый материал для литературных аллюзий, главная из которых для Пелевина — социальная утопия Н.Г. Чернышевского, «приснившаяся» в четвертом сне Вере Павловне: хрустально-алюминиевые дворцы, пение во время работы, свободная любовь и ощущение счастья у обитателей земного рая — в воплотившемся светлом будущем, оставшемся, тем не менее, утопическим «сном золотым».

В романе Чернышевского героиня видела четыре сна. Пелевинский «девятый сон» — еще одна аллюзия, намек на *девятый*

вал «океана истории», сметающего все на своем пути. Философский аспект утопии Чернышевского становится одной из ведущих тем в рассказе Пелевина «Девятый сон Веры Павловны». Ему предпослан эпиграф из Людвиг Витгенштейна, философа начала XX века: «Здесь мы можем видеть, что солипсизм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман»¹ (с. 360).

Главную героиню автор называет не Верочкой, как у Чернышевского, а Верой — усиливая тем самым «идеальную» часть духовного строения. Вера — «солипсистка», так как все перемены в ее жизни, происходящие без ее вмешательства, парадоксально и комично воспринимаются ею именно как продукт ее воли или мечты. Для Веры было совершенно очевидным то, что «идеоточник» начавшихся перемен — «она сама»: «Началось все с того, что как-то однажды днем Вера первый раз в жизни подумала не о смысле существования, как она обычно делала раньше, а «о его тайне», «а выводом из этой мысли было то, что все долги годы духовной работы, потраченные на поиски смысла, оказались потерянными зря, потому что дело было, оказывается, о тайне» (с. 360—361). Героиня во время отдыха читает и перечитывает «книги по солипсизму» и обсуждает проблемы бытия со своей подругой Маняшей. Последняя, хоть и считала, что «все эти тайны никакой пользы... не принесут, пока... со смыслом не разберешься» (с. 376), все-таки шепнула Вере на ухо что-то, что позволило подруге разгадать «тайну существования». И дальше Вера уже могла «управлять бытием, т.е. действительно прекращать старую жизнь и начинать новую, а не только... говорить об этом, — и у каждой новой жизни будет свой особенный смысл. Если овладеть тайной, то уж никакой проблемы со смыслом не останется» (с. 362). Так думала Вера, которая, хоть и была «солипсисткой», но своим поиском философской тайны бытия жаждой прогресса оказалась похожей на Веру Павловну.

Героиня Чернышевского также жаждала «новой жизни» и стремилась к ней, правда, делала для этого шаги вполне практические — открыла швейную мастерскую, где одновременно работали и читали вслух книги, обсуждали житейские проблемы. Что именно она шептала Маняша на ухо подруге, читателю осталось неизвестным, но вскоре у Веры началась «новая жизнь». Стоило ей подумать и

помечтать о картинах, музыке и улучшении бытовых условий на работе, как все стало явью. О месте работы героини, а также о месте и времени действия автор сообщает в первой фразе рассказа: «Перестройка ворвалась в сортир на Тверском бульваре одновременно с нескольких направлений». Знаками наступления «нового времени» стали «осмелевшие газетные обрывки» у задерживающихся дольше обычного посетителей туалета, «матерные монологи, где, помимо Господа Бога упоминались руководители партии и правительства», «предчувствие долгожданной свободы» на лицах «голубых» и частые «перебои с водой и светом» (с. 360). Вера была уборщицей в мужском туалете, ее подруга Маняша — уборщицей в соседнем женском туалете. Вера — «существо неопределенного возраста и совершенно бесполое, как и все ее коллеги», Маняша — «намного старше... худая старушка тоже неопределенных, но преклонных лет», с седой косичкой на затылке, при взгляде на которую Вере небезосновательно и знаменательно вспоминалось словосочетание «Петербург Достоевского». Удар топором по этой косичке Вера произведет в финальной части рассказа — но не от желания доказать себе, что она «право имеет, а не тварь дрожащая», а от разочарования в материальных ценностях, заполнивших «новую жизнь» вокруг Веры.

Впрочем, это также вполне согласуется с темой «Петербург Достоевского», тем более что топор заведет убийцу очень далеко — прямехонько в мир иной. Но до той поры в туалете на Тверском бульваре, ставшем в рассказе Пелевина моделью страны, произошло много изменений. Сначала он сделался кооперативным заведением. Вопреки исторической аллюзии начало кооперативной жизни в заведении на тверском бульваре было лучезарным: на дверях появились зеленые бархатные портьеры. Кафель на стенах сменила плитка с зелеными цветами, кабинки обшили пластиком под орех, вместо унитазов поставили «розово-фиолетовые пиршественные чаши». «Вере подняли зарплату на целых сто рублей в месяц» и выдали рабочую одежду, «как в метро». «Теперь Вера сидела возле турникетов в специальной будке, похожей на трон марсианских коммунистов из фильма «Аэлита» (с. 366) и была похожа на виденную в детстве продавщицу из Елисейского, резавшую семгу на фоне настенной фрески с залитой солнцем долиной.

Комизм усиливается и становится фарсовым от соединен «низкого» и «высокого»: работник туалета, пусть даже кооперативного, упоминает имена деятелей элитарной культуры, получивших большую известность и популярность в интеллигентских кругах первые годы перестройки. Наряду с Фрейдом и Набоковым это Сологуб, Блаватская, Рамачараки, Фасбиндер и Бергман. Фарсовости добавляет и непростая музыкальная программа, предлагаемая клиентам заведения. Вера ставила принесенные начальником кассеты с записями «Мессы» и «Реквиема» Джузеппе Верди, часто даже сама напевала строки из «Реквиема» на латыни, потом она ставила «Рождественскую ораторию» Баха на немецком языке, потом Моцарта, а к вечеру — Вагнера с «летающими в бой валькириями». И все бы было хорошо, если бы не появление неприятного запаха, точнее, «вони», которая «проявлялась», когда начала играть музыка. Этот фарсово-гротескный прием знаменует появление в жизни героини новых перемен. На месте мужского туалета возник комиссионный магазин — наступил следующий этап перестройки в экономике и кооперативном движении.

В магазине продавалось множество дорогих вещей, и теперь «ничего уже не напоминало... о том, что в этом месте когда-то был туалет» (с. 372). Теперь Вера работала уборщицей в магазине, а ее подруга осталась работать в соседнем с ним «объединенном» туалете. Работы у Веры «стало намного меньше, а денег — просто ума», к тому же в магазине «теперь музыка играла круглый день — иногда даже — несколько музык, — а вонь исчезла» (с. 372). «Соплисистка» Вера по-прежнему не знала и даже «не думала о том, кто научил ее всему необходимому для осуществления метаморфозы» (с. 373). «Научившая» ее всему Маняша, значительно проигравшая в жизни, стала реже заходить к Вере в магазин. Но вскоре произошла новая «метаморфоза»: сбылось Маняшино пророчество о том, что вонь «не пропадала вовсе» и обязательно вернется. Теперь ей казалось, что стоящие за прилавком «флаконы со сказочными названиями» — ценой «в три-четыре советские зарплаты каждый», — «недаром находятся в том самом месте, где раньше бодро журчали писсуары; и само название «туалетная вода»... вдруг приобрело эфемический смысл» (с. 374).

Отрицательные эмоции у Веры вызывало не качество предла

аемых товаров иноземного происхождения, а невиданно быстрый рост «покупательской способности» у «новых посетителей» магазина. Последние и были теперь в Вериных глазах вымазаны чужеродной для магазина субстанцией — кто частично, кто полностью, а кто и в несколько слоев. «И вдруг Вера поняла, что пока она управляла миром, к ней пришла старость и впереди теперь только смерть» (с. 375). За метафизикой и «солипсизмом» Вериного бытия читатель отчетливо слышит традиционную для русской культуры невысказанную героиней тоску по жизни, наполненной нематериальными ценностями, жизни духа. Наступление торжества «злата» и проявилось в Верином сознании как торжество противоположной злату субстанции — подобно тому, как в мифах и сказках золото превращалось в руках скаредных персонажей в нечто, не имеющее никакой ценности. В состоянии сильной тоски и томления духа, от полной разочарованности в такой «тайне существования» Вера приготовила для подружки Маняши, напороочившей беду, свой страшный гостинец. (Бездуховность, заполнившая мир, оказала ей плохую услугу!) Со словами, почти из Достоевского, «Ой, Господи... А я-то думаю: картины, музыка... Вот дура. А вокруг на самом деле туалет, какая уж тут музыка может быть... А кто виноват?» — Вера «с силой обрушила топор на Маняшину седую головку» (с. 377).

Топор может ассоциироваться и с ошибочно приписываемой расхожим мнением Чернышевскому прокламацией П.Г. Зайчневского, строки из которой получили в России широкую известность: «К топору зовите Русь!». «Топор» произвел страшную метаморфозу: «раздался звон и грохот, и Вера потеряла сознание, а когда очнулась, то вдруг не узнала саму себя. Казалось, какая-то часть ее души исчезла... Все вроде бы осталось на месте — но исчезло что-то главное, придававшее остальному смысл; Вере казалось, что ее заменили плоским рисунком на бумаге, и в ее плоской душе поднималась плоская ненависть к плоскому миру вокруг» (с. 377).

Литературная метафора вселенской пошлости неожиданно превратилась в реальное уплощение и разрушение мира вокруг героини. Произошла катастрофа, напоминающая всемирный потоп: «...Гудение за стеной стало невыносимо громким; стена задрожала, выгнулась, треснула, и из трещины, опрокинув стойку

с одеждой, прямо на закричавших от ужаса людей хлынул отвратительный черно-коричневый поток» (с. 378). Веру унесло потоком по Тверскому бульвару, «уровень жижи поднимался со скамочной быстротой». То, что попадалось навстречу героине в этом потоке, и он сам быстро становились символами истории было России: чеховские три сестры «в белых кисейных платьях и белогвардейский офицер, из-под приставленной ко лбу ладони глядящий вдаль»; детская коляска с младенцем «в синей шапочке и большой пластмассовой красной звездой», солдаты «в фуражках с синими околышами», готовившие к стрельбе пулемет — узнаваемые кадры из кинофильма С. Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“», ставшие метафорой исторической катастрофы. Течение влекло Веру в направлении «сумрачных пиков» с «рубиновыми пентаграммами». «Блажен, кто посетил сей мир, — шептала Вера, — в его минуты роковые...» (с. 379).

Финальные события рассказа окончательно превратили его в фантазмагорию с отчетливой символикой. «Зловонный черно-коричневый поток», накрывший Москву, — это события начала 90-х годов, прекратившие существование на земном шаре Советского Союза. В повествовании появляется глобус, упавший со здания Центрального телеграфа — за него и уцепилась героиня, усевшись на «выделенное красным государство трудящихся». Вращение глобуса Вера остановила, ухватившись за тонувшую рядом с ней красную звезду. Советская символика рубиновых украшений Кремля расширяется и углубляется автором при помощи термина «пентаграмма», который открывает читателю иной смысл звезды — атрибута древней магии, означавшего совершенство являвшегося средневековым магическим знаком на амулетах, оберегающих от сил зла. Однако у пентаграмм было и иное древнее значение. По древним поверьям, перевернутая пентаграмма является сатанинским знаком.

Последние события Вериней жизни напоминают гоголевский гротеск, перерастающий в Апокалипсис и аллегорию потустороннего мира. Именно к его вратам нес Вера поток. После того как исчез «огромный многовековой город», в глобусе образовался проем, а вокруг — темная пустота, в которой дул ветер (вероятно, «блоковский»). То, что увидела Вера в последние мгновения

перед тем, как ее поглотила Вечность, оказалось печальной метафорой исчезновения страны и всей прошлой жизни с её светлыми и темными сторонами: «Над ...головой оставался кусок грустного вечернего неба в форме СССР (...пальцы изо всех сил вжимались в южную границу), и этот знакомый силуэт, всю жизнь напоминавший чертеж бычьей туши со стены мясного отдела, вдруг показался самым прекрасным из всего, что только можно себе представить, потому что, кроме него, не оставалось больше ничего вообще» (с. 381). Перед самым концом земной жизни Вера уснула, а когда проснулась, увидела в потоке «надувную лодку, в которой стояла высокая и широкоплечая фигура в фуражке, с длинным веслом». В этой фигуре героиня узнала виденного в недавнем прошлом, в кооперативном туалете, маршала по имени Пот Мир Суп. Тогда он явился в сопровождении пионеров с *флейтами*. Его имя комично сочетает в себе Пол Пота и Ким Ир Сена, напоминая вдобавок большевистские лозунги 1917 года: «Мир — народам!», «Земля — крестьянам!» и портреты И.В. Сталина. В руках у «маршала» было длинное весло и, подобно Харону, он сопровождал Веру в преисподнюю.

Двое неизвестных, один «с низким и рокочущим голосом», другой «с высоким и тонким», поставили ей диагноз «солипсизм на третьей стадии» и приговорили к «вечному заключению в прозе социалистического реализма. В качестве действующего лица» (с. 382). Но там уже не оказалось свободных мест, и тогда спросили у нее самой: «Эй, Вера! Что делать?» Вера машинально, «по инерции» дважды повторила «Что делать? Что делать?» «и вдруг все поняла». А когда поняла, то с ужасом трижды прокричала опять, но уже с вопросительно-восклицательной интонацией: «Что делать?!» И когда крикнула эти, оказавшиеся магическими, слова в четвертый раз, то со страшной силой врезалась во что-то» и очутилась там, куда нечаянно попросилась — в одноименном знаменитом романе, в роли главной героини, ее тезки, Веры Павловны.

«Перевоплощение» произошло в тот важный для героини Чернышевского момент, когда первый муж Верочки Розальской Дмитрий Лопухов принял решение «сойти со сцены», чтобы дать шанс жене стать еще более счастливой, вступив во второй брак с любимым человеком, их другом Александром Кирсановым. Лопухов

объявил Верочке, что уезжает в Рязань к своим старикам. Пелевина приводит в своем рассказе отрывок из текста Чернышевского фразой Лопухова: «До свидания, Верочка. Не вставай. Завтра у тебя свидание. Спи». Заключительные строки рассказа о москвичке Верочке являются началом XXVII подглавки главы третьей романа Чернышевского «Что делать?» — с воспроизведением старой орфографии, отмененной в России после Октябрьской революции 1917 года: «Когда Вера Павловна на другой день вышла из своей комнаты, муж и Маша уже набивали вещами два чемодана» (с. 383). Героиня В. Пелевина за совмещение идеализма с реализмом (а может, за убийство топором Маняши?) на том свете было определено в качестве то ли наказания, то ли лечения «проживание» в романе «Что делать?», тоже совместившем реализм и утопические, идеальные представления о «светлом будущем» и «новой жизни» «новых людей». Похожи ли друг на друга две Веры Павловны? Отчасти похожи. Им обеим свойственно мечтать и верить в сны — идеальные модели жизни. Они обе разгадывают «тайны существования» и хотят «управлять бытием», изменять жизнь, делать сон явью. Героиня Пелевина в третий раз начала свою «новую жизнь», перевоплотившись в Верочку Розальскую в счастливый момент ее биографии, когда Вера Павловна, тоже в третий раз и тоже волею судьбы (а отчасти, собственной волей) изменила свою хорошую жизнь на еще более хорошую. Во втором браке с Александром Кирсановым Верочка Розальская увидела вещий сон.

В четвертом сне ей были открыты «тайны будущего», т. е. было показано, «как... будут жить люди». Верочка увидела «всякое счастье, какое кому надобно», когда «все живут как лучше кому жить» и каждому — полная воля, вольная воля». В этом сне героиня Чернышевского поняла, что «будущее светло и прекрасно»².

Между тем именно в браке с Кирсановым жизнь Верочки действительно стала «светлой» и «прекрасной», похожей на сон. Ее часто посещали «сладкие мысли» — о ее занятиях в мастерской, о сыне Мите, о муже Саше, о подготовке к учебе в медицинской академии, о чае со сливками в постели и о теплой ванне. На одной из последних страниц романа Чернышевский рассказывает о веселом зимнем пикнике с песнями и шампанским и сообщает о своих героях: «Они живут весело и дружно, работают и отдыхают, и наслаж-

даются жизнью, и смотрят на будущее если не без забот, то с твердой и совершенно основательной уверенностью, что чем дальше, тем лучше будет³. Верочке ее жизнь казалась сном: «Дума ли это или дремота, спится ей или не спится? Глаза полузакрыты, на щеках легкий румянец, будто румянец сна... да, это дремота»⁴.

«Тайна существования» героини Пелевина, так занимавшая ее в начале «перестройки», обернулась ее вовлечением в утопию, в мечту, в сон — если даже это «вечный сон», героиня Пелевина об этом вряд ли пожалеет. Все совершилось почти по формуле, приведенной в эпиграфе к рассказу Пелевина, объясненной несчастной Манняшей: «...С одной стороны, мы действительно создаем все вокруг, но с другой — мы сами просто отражения того, что нас окружает. Поэтому любая индивидуальная судьба в любой стране — это метафорическое повторение того, что происходит со страной, а то, что происходит со страной, складывается из тысяч отдельных жизней» (с. 373). Собственно, это суждение включает в себе суть и смысл пелевинского рассказа, травестирующего основные проблемы русской классической литературы и особенности российского менталитета с его тягой к активной гражданской жизни и духовности. С невозможностью совместить гражданское служение и тихое личное счастье, с неискоренимой склонностью к катаклизмам и апокалиптическим зигзагам истории.

Жизнь в российском государстве состоит из сплошных потрясений. Катастрофичность проникает в каждую отдельную судьбу, даже если это судьба «солипсиста»-идеалиста. Не случайно та единственная картина, которая появилась в кооперативном заведении на Тверском бульваре одновременно с музыкой, была не менее тревожной, чем «Реквием» и «Полет валькирий». Автор приводит сюжет этой картины, купленной «в обанкротившейся пельменной». На ней была изображена тройка белых лошадей, запряженных в сани, в которых сидели «два гармониста в расстегнутых полушубках и баба без гармонии», а следом за санями бежали «сосредоточенные волки», и перспектива изображения была «какой-то странной» (с. 371). В сюжете, заимствованном из народного прикладного искусства, читается почти гоголевская, продолженная в будущее, мысль: «Русь-тройка» мчится под бесшабашную музыку, преследуемая волками, — в неизвестность. По поводу этой картины и

других перемен Вера однажды беседовала с Маняшей. После прослушивания увертюры к «Корсару» Маняша обратилась к подруге с вопросом: «Ты, Вера, никогда не задумывалась над тем, почему наши воля и представление образуют вокруг нас эти сортиры?» Вера ответила, что задумывалась. Что «мы сами создаем мир вокруг себя и причина того, что мы сидим в сортире, — наши собственные души» (Таков-де наш менталитет!) Маняша даже вспомнила Сологуба: «И мне светила возвестили, что я природу создал сам...» И вообще, размышляли подруги, «никакого сортира на самом деле нет, а есть только проекция внутреннего содержания на внешний объект и то, что кажется вонью, на самом деле „просто экстерриоризованная компонента души“ (с. 371). Подруги согласились, что жить стало лучше, вот только будущее внушает какие-то неопределенные опасения. (Кажется, еще немного — и Вера с Маняшей придут к выводу о необходимости самоусовершенствования духовного развития!) Имя Веринной подруги вызывает ассоциации, связанные с советской историей. Маняша — это «домашнее» имя М.И. Ульяновой, любимой сестры вождя Октябрьской революции, помощницы и единомышленницы В.И. Ленина. В то же время Мария, Маша — служанка Веры Павловны Розальской, появившаяся в последней фразе рассказа Пелевина. И как знать, быть может в нее «перешла» душа невинно убиенной пелевинской Маняши.

Фантасмагория жизни Веры завершилась сном, в котором ее бытие продолжится в новом качестве, обещая быть благополучным и счастливым. Утопия Чернышевского и жизнь-сон его героини сыграли важную роль в «индивидуальной судьбе» на очередном витке истории многострадального государства. Немаловажную услугу оказал роман Чернышевского и творчеству литератора XX века В. Пелевина, обогатив его стилистическое мастерство трагическими приемами, пародией и гротеском с элементами театрализованности и игры.

Примечания

¹ Пелевин В. Желтая стрела. М., 2000. Остальные цитаты на это издание в тексте.

² Чернышевский Н.Г. Что делать? Л., 1975. С. 290.

³ Там же. С. 335.

⁴ Там же. С. 267.

Александр Николаевич Чернышевский был человеком очень разносторонних интересов. Он окончил математический факультет Санкт-Петербургского университета, известны его публикации в журнале «Мысль» по проблемам математики в 1881—1882 годах, а в архивах хранятся рукописи его статей по политической экономии, социологии, народному образованию, методике преподавания, нумизматике и даже медицине. Однако главным увлечением всей жизни А.Н. Чернышевского была литература.

В очерке «Старший сын»¹ Н.М. Чернышевская упоминает о том, что стихи Александр начал писать еще будучи учащимся Ларинской гимназии. Нам не известны ранние стихотворные опыты Александра, мы имеем возможность говорить только о его произведениях, относящихся к 1880—1890 годам и опубликованных в его поэтическом сборнике «Fiat lux!». Этот сборник был издан в Санкт-Петербурге в 1900 году в Лештуковской паровой скоропечатне П.О. Яблонского. Он невелик по объему: состоит из 128 страниц и содержит 91 стихотворение. В первом разделе сборника стихи даются без датировки, а во втором, озаглавленном «Из более ранних», датированы 1888—1899 годами. В архивных музейных документах нет никаких упоминаний об истории издания этого сборника, как, впрочем, и других опубликованных произведениях Александра.

Нет сведений об истории создания и опубликования сборника и в черновых вариантах очерка Н.М. Чернышевской о поэтическом творчестве Александра, который так и не был закончен и опубликован². На заключительных страницах очерка «Старший сын» Нина Михайловна пишет о преобладании в творчестве Александра гуманных стремлений, романтическом увлечении героическими образами и грезами о новой, счастливой жизни. Она особо отмечает тот факт, что поэзия Александра в целом не но-

* Речь идет о старшем сыне Николая Гавриловича Чернышевского, Александре — талантливом человеке, математике по образованию, всю жизнь увлекавшемся литературой. — *Примеч. ред.*

сит на себе отпечатка психического расстройства, хотя все же у матрирует в ней некоторые патологические черты: «короткие ассоциации», «истощение мысли», «бессилие в овладении ею в конце». Иллюстрируя это утверждение, Нина Михайловна приводит примеры стихотворений, в которых «заклучение, жалкое по форме и по содержанию» не соответствует «красоте замысла «удачному, сразу заинтересовывающему читателя началу». Особенностью психики объясняет приверженность Александра к малым поэтическим формам и В.А. Пыпина: «Только в небольших стихотворениях его отрывочные мысли нашли себе законченное выражение»³. Вывод, сделанный Ниной Михайловной: «Стихи в общем читаются легко и не свидетельствуют о глубоком психическом расстройстве, нося тем не менее на себе черты болезни психики»⁴ — представляется достаточно обоснованным.

На наш взгляд, выражением болезненных черт является бросающаяся в глаза неравноценность стихотворений: с безукоризненными по форме соседствуют слабые, граничащие с откровенной поэтической беспомощностью и невнятицей. По законам здравого смысла автор должен был или доработать последние, или не включать их в сборник. Однако на тех произведениях Александра, которые можно считать удачными, явно лежит печать поэтического таланта. Отмечал это и главный его критик — отец: «Быть может, мой друг, ты уж имел бы известность как поэт, если бы ход твоей жизни не был до сих пор неблагоприятным для развития твоего таланта»⁵, — писал Николай Гаврилович. И еще: «Перечитывая в эти месяцы стихотворения в накопившейся у меня гряде «Отчетственных записок» и «Вестника Европы» за несколько лет, я находил не очень много таких хороших, как некоторые из твоих»⁶. Высокая оценка, если учесть, что в названных изданиях 1878—1880 годов (предположительно, этот период имел в виду Н.Г. Чернышевский) печатались произведения таких поэтов, как А.Л. Боровиковский, А.А. Голенищев-Кутузов, А.М. Жемчужников, Н.М. Минский, С.Я. Надсон, Я.П. Полонский и другие.

Поэтический контекст, в котором развивалось творчество Александра, весьма интересен. За 80-ми годами XIX века, как известно, закрепилось название «эпохи концов и начал», где завершались одни линии развития и возникали другие. 90-е годы —

это годы становления раннего русского символизма, с его пафосом преодоления своих предшественников, и в то же время — это годы продолжения традиций русской поэтической классики. В творчестве Александра ощущается веяние символистских настроений. Знаменателен тот факт, что Александр выбирает для своего сборника название на иностранном языке, вслед за «Chefs d'oeuvre» (1895) и «Me eum esse» (1897) В.Я. Брюсова, признанного вождя русских символистов.

Достоверно известно из биографических источников, что большое влияние на становление поэтического творчества Александра оказали западно-европейские романтики. Н.М. Чернышевская справедливо замечает: «Заимствовав от Гейне язык, темы и форму восьмистиший стихотворений и поэм, от Байрона живопись (картины моря, морской бури, теснины скал, путь в извивах гор, свободная цепь гребней и вершин, душевное одиночество путника из дальней земли), как поэт однако остался в стороне и от иронии немецкого поэта и от байронического демонизма. Поэтическое мироощущение Саши ясно и свободно от скорби и от гнева»⁷.

Действительно, обращает на себя внимание безмятежно созерцательный и просветленно-оптимистический взгляд на жизнь, преобладающий над редкими мотивами неудовлетворенности и печали. Типичный пример:

Где бы камни, скалы, мели,
Ни скрывались
Под водой,
Как бы тучи ни чернели
Ни вились
Над головой —
Если ясный блеск лазури
Ты увидел
На пути —
Верь — порыв и самой бури
Ждет лишь только,
Чтоб пройти!

Стихотворения, опубликованные в сборнике «Fiat lux!», в большинстве своем — образцы автопсихологической медитативной лирики. Автор довольно широко использует тропы, особенно

эпитеты и метафоры, но в сборнике явно выделяется особый тип стихотворений, имеющих тенденцию к номинативности. Его лирика — разговор о значительном, высоком, прекрасном, своего рода экспозиция идеалов и жизненных ценностей. Поэт своим творчеством создает особый мир — более прекрасный и гармоничный, нежели окружающий его в реальности. Это подтверждают и лексические доминанты, выявленные в результате исследования лексики поэтического сборника. Среди существительных это: сердце (39)⁸, небо (34), свет (31), волна (28), солнечная жизнь (27), мир (25), роза (24), море (23); среди глаголов: быть (22), смотреть и видеть (26), говорить (16), летать (14), открывать (11), ждать, звать, верить (10). Характерные эпитеты также имеют положительную семантику: ясный (20), милый (15), яркий (14), прекрасный, светлый (13), мягкий, новый (11). Подбор эпитетов, как известно, является весьма значимой и существенной составляющей образности поэтических произведений и дает представление о доминирующих мотивах в творчестве поэта.

Главное содержание лирики Александра — это вечная красота природы и бесконечный, многообразный мир человеческих чувств. Часто обе темы объединяются в его стихах приемом параллелизма:

На заре и в час заката
Небо пурпуром пылает,
Но лазурью ясной в полдень
Взгляд приветливо ласкает.
Незаметно яркий пурпур
Переходит в блеск лазури —
Так в душе светлеют страсти,
Гасит время сердца бури.

Здесь состояние природы вызывает у поэта ассоциацию с состоянием человеческой души. В некоторых стихотворениях второй компонент сравнения опущен, и читателю предоставляется разгадать самостоятельно, какую аналогию хотел провести автор:

Часто море закипало,
И обычные волненья
Лишь травы морской извивы
Наносили на каменья.

Но когда оделось море
В полог пены, серебристый, —
Бурей был коралл из бездны
Брошен на берег кремнистый.

Возвращаясь к вопросу о присутствии элементов символистской эстетики в творчестве Александра, следует отметить, что, по мнению В.Я. Брюсова, в параллелизме как художественном приеме уже заключен один из источников символистического искусства, особенно в случаях, где описанное явление символизирует нечто из другой сферы⁹. Наблюдается в творчестве Александра и характерный для символистов порыв попасть за пределы обычной, земной видимости в миры загадочные и таинственные:

Где свивается, клубится
Полупризрачная мгла,
Где видений мир таится —
Жизнь живет, что отжила,
Где волнуется, струится,
Разливая радость — свет,
Легких грез толпа роится,
Где былого мира нет...

За пять лет до появления «Фейных сказок» К.Д. Бальмонта Александр любовно воскрешает в своих стихах этот прекрасный сказочный персонаж:

Тихой грезю фея летела
Над долиною облачной роз,
Любовалася ею, смотрела,
Как менялся в ней каждый утес...

— строки из стихотворения «Розы облачной долины». Феи воспиты и в других стихах:

Не верь, что феи удалились
от равнодушия людей,
Что лишь в преданьях сохранились
Былые были прежних дней, —
Над всем, что лаской жизни вея,
Чарует силою своей,
Горят лучи, светя и грея,
Страны прекрасной чудных фей.

Влечение к таинственному, однако, как видно из нижеследующего стихотворения, расценивается поэтом как воплощение полноты жизни, придание ей новых ярких, волнующих красок:

Говорят — «нет заклинаний,
Откровений и чудес,
Мир таинственных гаданий
И волшебных чар — исчез...»
Если сердце — кровью жаркой,
Кровью алою полно —
Как охотно в этот яркий
Мир — порой летит оно!

К творчеству Александра с полным основанием можно отнести высказывание Б.К. Зайцева: «Поэзия есть ощущение мира волшебным оттенком»¹⁰. Одним из прекрасных образцов поэзии обозначенной тематики представляется небольшое стихотворение, приведенное в тексте фантастического рассказа «Арси и Дана, или Серебряное море», которое не уступает по своей выразительности и совершенству формы произведениям маститых современников:

Среди видений роя
Звучит напев один:
«Наш голос — плеск прибоя
И шум лесных вершин.
Мы всюду — мы над вами,
Вблизи и вдалеке,
Мы реем облаками,
Мы искрима в песке.
Горим в цветном узоре
На неба синеве,
Как смерч несемся в море
И прячемся в траве!»

Населяя свой мир «роем видений», обитающих во всех природных стихиях, поэт реализует демиургическое начало всякой истинной поэзии: не искажая, но преображая действительность, создает новую реальность. Именно степенью законченности и гармоничности нового бытия творений поэта, по мнению Вл. Ходасевича, объективно определяется подлинность его творчества¹¹.

Если судить с этой точки зрения, надо признать, что создание собственного поэтического мира в творчестве Александра несомненно. Особенно явственно его черты проступают в пейзажной лирике. У каждого истинного поэта собственный взгляд на природу. Например, в природном мире И. Анненского нет яркости и резкости красок, у А. Фета природа представляется живой и одухотворенной, ранний В. Брюсов упрекает природу в несовершенстве и антиэстетизме, поэта захватывают экзотические картины, приукрашенные его творческим сознанием. «Создал я в тайных мечтах / Мир идеальной природы», — пишет он. Нечто подобное мы наблюдаем и в творчестве Александра. Знакомясь с пейзажными зарисовками сборника «Fiat lux!», несведущий читатель никогда бы не подумал, что родина поэта — туманный и бледный Петербург, что его родная природа — природа русского севера, с ее блеклыми красками, перламутровыми оттенками, нежными переливами света. Его пейзажи — буйство красок, звуков, ароматов. Это щедрая природа юга, напоминающая Эдем, по которому тоскует сердце поэта:

Да, там поющие ручьи,
И говорящие цветы,
И темно-синий небосклон,
И всюду царство красоты —
И воздух там — как будто в нем
Разлито веянье весны,
Там золотые облака
Плывут как грезы или сны...

(Из стихотворения «Греза юга»)

Или:

Какое-то чудное царство
Порою встает предо мной —
Там воздух при каждом движеньи,
Звенит музыкальной волной...

.....

Близ роз там пурпурные искры
Горят, точно рой огневой,
И кажется лилий сиянье
Загадочной тихой мечтой...

Южные теплые моря, прекрасные цветущие острова, сверкающие горные цепи изображаются поэтом с неизменным восторгом и восхищением. Здесь нет места упрекам в несовершенстве природа служила Чернышевскому неиссякаемым источником вдохновения. Но не та природа, которую он видел перед собой, а воображаемая, идеальная природа юга, которая влекла его всю жизнь. Побывав в Италии, Александр воочию увидел воплощение своих грез и уже не смог покинуть эту желанную землю, в ней и окончил свои дни.

Еще одним источником поэтического вдохновения Александру служило изобразительное искусство, которое он очень любил и в котором хорошо разбирался, будучи, по свидетельству мемуарных источников, завсегдатаем музеев и выставок. В сборнике «Fiat lux» есть стихотворения особого жанра — впечатления от картин и скульптур. Об этом говорят авторские ремарки, например: «Под впечатлением картины Ю. И. Скворцовой «Маленькая Наина». Ноябрь 1897»; «Под впечатлением картины Е. Вахтер «Раздумье». Май 1894»; «Впечатление картины «La vague» W.A. Bouguereau»; «Впечатление статуи Ф. Бока. Март 1890» и т. п. Обычно эти стихотворения кратки, номинативны, выразительны. Лексика точна и проста, поэтизмы отсутствуют. Свои зрительные впечатления поэт дополняет передачей ощущений тепла, дуновения ветра, восприятия звуков, словом, своими миниатюрами он создает эффект присутствия в изображаемом художником пейзаже:

Солнце жжет. Нагрелись камни,
Будто дышат теплотой.
Небо ярко. Замер воздух,
Неподвижный и немой.
Утомившись, к серым камням
Прислонилась она —
Чем, в стране тепла и света,
Будет жизнь ее полна?

(«Под впечатлением картины Е. Вахтер
«Раздумье». Май 1894»)

Другой пример:

День блестящ. Не видно тени.
Берег ровен и отлог.

Волны моря, в легкой пене,
Набегают на песок. —
И шая водой, играя,
Ждет с улыбкою она —
Чтоб над нею — кружевная
Расплеснулася волна!

(30 июля 1897. Впечатление картины
«La vague» W.A. Bouguereau)

Очаровательна картина лунной ночи в Венеции, окутанная таинственным полумраком, беглая и завораживающая зарисовка, порожденная впечатлением от картины Жюдэна «Перед поездкой на гондоле»:

Венеция в сумраке лунном,
Но скоро луна заблестит,
Терраса над самым каналом,
Гондола у лестницы плит.
Они на террасе. — Безмолвно
Гондола в даль моря скользнет,
И с ними в волнах золотистых,
Как легкая тень — пропадет...

В этом произведении лаконичными средствами поэт создает образительную глубину и перспективу, которая достигается организацией всех уровней построения текста: плавный, напевный трехкратный амфибрахий, сочетание глаголов настоящего и будущего времени, оживляющих статическую картину предвкушением изменения (скоро луна заблестит), и движения (гондола в даль моря скользнет), употребление неожиданного в данном контексте наречия «безмолвно», позволяют добиться эффекта присутствия в изображаемом пейзаже.

Несомненно, Александр испытывал на себе влияние Пушкина, Тютчева, Фета, других поэтов. Можно проследить заимствование тематики, формы некоторых стихотворений, но чисто подражательных произведений, каких-то стилизаций у него нет. В стихах проступают индивидуальные черты Александра Чернышевского как поэта созерцательной мысли и черты эпохи fin de siècle — прежде всего черты формирующегося символизма. В стихотворении «Талисман», например, традиционная пушкин-

ская тема решается по-иному: талисман здесь призван хранить не от опасностей жизни и разочарований любви, а от мрачных снов, видений и лживых призраков — важных составляющих символистского мироощущения:

Если в сердце есть святыня
Как бы ни был ты томим
Снами мрачными — виденья
Разлетятся все — как дым...
Не томись же, с верой ясной,
Сохраняй свой талисман,
И рассеет свет победный
Лживых призраков обман.

Очевидно, под влиянием стихотворения А.А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» написано Александром следующее стихотворение:

Пламя яркой алой розы,
Незабудки милой цвет -
Обаянье пылкой грезы,
Чувства тихого привет..
Светлый мир мечты спокойной,
Полный нежной ласки взгляд
Чистота лилеи стройной,
Орхидеи аромат..

Если в стихотворении Фета безглагольность отвечает цели изображения речи музыкально-экстатической, является лирическим способом выражения волнения и нарастания любовной страсти, то у Александра Николаевича безглагольность — прием представления череды эскизных зарисовок квинтэссенции прекрасного в мире природы и в мире человеческих чувств.

В творчестве Александра не проявляется поэтической индивидуальности, слишком самобытной и резкой, но при знакомстве с поэтическим сборником «Fiat lux!» создается ощущение, что стихи Чернышевского имеют свое «необщее выражение», свой облик, спаянный глубоким внутренним единством.

Выделяющейся чертой лирики Александра является широкое употребление императива. Полиадресованность (т.е. обращение поэта и к себе и к обобщенному неопределенному адресату) усугубляет глубокий контакт между автором и читателем:

Нет, не трать на то, что было,
Лучших сил своих расцвет —
Посмотри, как жизнь приносит
С каждым днем — все новый цвет!
Всюду новое движенье,
Радость, горе, тень и свет —
В том, что есть и в том, что будет —
Счастья ласковый привет!

В психологическом смысле, учитывая биографический контекст творчества поэта, подобные стихотворения представляют собой одну из защитных реакций человека тонкой душевной организации от всего негативного в жизни и иногда откровенно напоминают формулы самовнушения:

В зимний холод, знай, что скоро
Зеленеть начнет трава,
В день туманный — знай — проглянет
Скоро неба синева.
Ночью верь блестящим звездам,
Жди сияния зари,
И лишь то, что сердцу мило,
Сердца памятью дари...

Нотки трагического мировосприятия тщательно изгоняются из творчества, проявляясь лишь в нескольких стихотворениях. Очень интересным представляется вопрос о том, избегал ли поэт вообще изливать в своей лирике горькие чувства или просто не включил подобные произведения в сборник. В творчестве Александра очень наглядно проявляется различие между автором и лирическим героем, в котором актуализируется обычно какая-то часть личности автора. Некоторые поэты стараются избавиться от своих тягостных переживаний, горечи, разочарования, выплескивая их в лирических произведениях. Александр актуализирует в поэзии светлую сторону своей личности, оставляя за рамками творчества все тяжелое и трагическое, чем изобиловала его жизнь.

Обращает на себя внимание отсутствие в лирике Чернышевского иронии, юмора и сарказма. Видно, им не находилось места в творимом поэтом обособленном, светлом и гармоничном ми-

ре. Другая особенность, подмеченная в свое время и Н.М. Чернышевской, — в стихах Александра нет темы земной любви, описания любовных чувств, нет ни одного реального образа женщины (единственная женщина — это героиня его сновидения в стихотворении «Золотистая рожь»). Из биографии поэта мы знаем, что ему не чуждо было чувство любви, что эмоции, испытываемые в этом состоянии, перехлестывали через край и часто приводили к обострению его душевного заболевания. Избегал ли он лирических излияний на любовную тему из-за чувства болезненной щепетильности и скрытности в области личных отношений, которое отмечали его близкие в своих мемуарах, или по другой причине — вопросов здесь больше, чем ответов. Но факт остается фактом: в его поэзии слово «любовь» употребляется в абстрактном смысле, что для лирики нетипично. В творчестве Александра наблюдается некоторая стереотипность образного мышления, влекущая за собой употребление штампов, таких, как «звать и манить» (всегда в паре!), «привет ласки», «блеск лазури», «сердца глубина». Преследуют поэта навязчиво повторяющиеся банальные рифмы: гор-узор, вода-всегда-иногда, свет-привет-расцвет, земли-вдали, трава-синева и т. п. Сама однообразность лирических настроений вызывает ощущение некоей заданности: нет остроты и трепета эмоциональных реакций. Ведь их вызывает, как правило, непосредственный отклик на окружающее. В этом плане наиболее интересными представляются уже упоминаемые стихотворения, написанные под впечатлением картин. Недаром им присуща собственная стилистика.

Однако все слабости поэтики Александра Чернышевского в большей степени искупаются неподдельным лиризмом его стихов, отсутствием в них вычурности, произвольностью и простотой поэтического языка. В его творчестве нашел отражение несомненный поэтический склад души этого незаурядного человека. Остается только выразить горькое сожаление о том, что талант его, в силу объективных жизненных обстоятельств, не получил необходимого развития и судьба не подарила нам еще одного замечательного поэта серебряного века.

Примечания

¹ Очерк «Старший сын» был опубликован уже после смерти Н.М. Чернышевской: впервые в сокращенном виде в журнале «Русская литература» № 1 за 1978 г., а затем, в более полном, — в ее книге «Семья Н.Г. Чернышевского» (Саратов, 1980).

² *Чернышевская Н.М.* Материалы к очерку о поэзии А.Н. Чернышевского. 1923—1935 гг. ГМУЧ. ОФ. № 7347/8.

³ *Пытина В.А.* О Саше Чернышевском. 1924 год ГМУЧ. ОФ. № 871. Л. 8.

⁴ *Чернышевская Н.М.* Материалы к очерку о поэзии А.Н. Чернышевского. Л.21.

⁵ *Чернышевский Н.Г.* Письмо А.Н. Чернышевскому от 5 марта 1885 // Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1950. Т. XV. С. 519.

⁶ *Чернышевский Н.Г.* Письмо А.Н. Чернышевскому от 10 августа 1883 // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М. 1950. Т. XV. С. 404.

⁷ *Чернышевская Н.М.* Материалы к очерку о поэзии А.Н. Чернышевского. Л.6.

⁸ В скобках указано, сколько раз данная лексическая единица встречается в поэтических текстах сборника «Fiat lux!».

⁹ *Брюсов В.Я.* Далекие и близкие. М., 1912. С. 14—15.

¹⁰ *Зайцев Б.К.* Бунин. Речь на чествовании писателя 26 ноября 1933 // Наше наследие. 1990. № 3. С. 91.

¹¹ *Ходасевич В.Ф.* Колеблемый треножник. М., 1991. С. 196.

Неопубликованные варианты предисловия к роману Н.Г. Чернышевского «Повести в повести»

Т.М. Метласова

Роман был впервые опубликован отдельным изданием в 1930 году издательством политкаторжан под редакцией Н.А. Алексеева, а затем вошел в полное собрание сочинений 1949 года¹. Оба издания снабжены примечаниями, содержащими некоторые неопубликованные варианты текста романа. Рукопись «Повестей в повести», хранящаяся в настоящий момент в РГАЛИ, дает более полное представление об истории создания романа, а тщательное ее изучение показывает, что опубликованы были далеко не все варианты текста².

Наибольшее количество вариантов относится к предисловию, несущему основную тактическую нагрузку, учитывая условия написания романа: он создавался в Петропавловской крепости, где его автор содержался по предъявленному ему ложному политическому обвинению. Поэтому предисловие является не только пояснением к тексту, адресованным читателю и разъясняющим сложную структуру романа, но и имеет своей целью запутать и отвлечь внимание цензуры от его содержания, еще более усложняя форму данного художественного произведения.

Принимая во внимание значение предисловия романа и руководствуясь целью нашего исследования, помещаем в данной публикации неизданные варианты предисловия «Повестей в повести» (исключая варианты 6—9 октября 1863 года и 10 октября 1863 года, содержащиеся в примечаниях XII тома полного собрания сочинений Н.Г. Чернышевского, составленных А.П. Скафтымовым).

*Вариант 13 октября 1863 года**

В этом моем романе «Повести в повести» вы увидите лица, которые должны назваться вымышленными в еще более строгом смысле, чем Кавальканти, Лелия, Пиквик и Домби; вы увидите лица совершенно сказочные, действующие в сказочной обстановке, — такие, как Рустем, Зораб, Гурдаферид, Рудабе³. Смешно было бы мне окружать своих героинь и героев волшебниками и ведьмами, пэри и разговаривающими звездами⁴, как окружены ими герои Фирдавси: поэт [неоснователен]⁵, когда употребляет обстановку, которая не живет в его⁶ сердце и сердце его публики. Но мой роман — собрание сказок, которые лишь и отличаются от сказок «Тысяча и одной ночи» (тем), что там в некоторых сказках — только в некоторых — есть волшебная обстановка, а у меня нет ее ни в одной, как нет ее в очень многих из сказок «тысяча и одной ночи»⁷.

Если бы я писал только романы, мне не пришлось бы писать и этих нескольких строк предисловия: без всякого предисловия все сами увидели бы, когда прочли бы «Повести в повести», что это — опыт дать нашей публике сборник сказок в роде «Тысяча и одной ночи»; даже по форме мое произведение — сколок с этого дивного памятника поэзии: мой «Рассказ Верещагина» — точно такая же рамка для вставляемых в него сказок, как рассказ о Шахеразаде — рамка для тех сказок; как там, с теми сказками связана жизнь Шахеразады, так тут с этими сказками — жизнь Верещагина. Уж из этого одного ясно, что даже и сам Верещагин — лицо чисто сказочное: чья же судьба, в самом деле, может зависеть от того, что какая-то «незнакомка» присылает ему свои сказки? Это явное противоречие самой простой догадке: бросал бы он эти тетради в камин, только бы всего и было, «незнакомка» бы и перестала утруждать себя. Кажется, ясно, с первых же страниц, что это — даже не роман, а просто напросто сборник сказок, Чем дальше читать, тем очевиднее становится это.

Потому, если бы я был только беллетрист или поэт, романист

* В авторских вариантах предисловия в ряде случаев мы позволили себе упростить и приблизить к современной пунктуацию. — *Примеч. ред.*

или сказочник, незачем было бы говорить даже эти немногие слова. Но я, кроме того, что я беллетрист я также публицист; как публицист, я предмет сочувствий и антипатий более сильных, чем довольство или недовольство беллетристом, поэтом или сказочником. — Я нисколько не в претензии на людей, оказывающих мне честь своею неприязнью. Я был бы неоснователен, если бы желал или надеялся не быть предметом такого чувства для них. Но каждое положение имеет свои надобности. Положение людей, оказывающих мне честь своею враждою ко мне как публицисту, возбуждает в них непреодолимую потребность искать и в моих беллетристических произведениях пищу для удовлетворения неприязни, которая живет в них.

Прежде всего, надобно быть справедливым даже и к людям, с которыми находишься в борьбе. Я был бы несправедлив, если бы не признал, что эта потребность их и натуральна и непреодолима для них самих. А если я должен признавать этот факт, то, конечно, я и должен поступать сообразно такому признаванию.

Что я вижу и нахожу естественным? То, что если бы я перевел Магабхарату и Рамаюну, эти люди не могли бы успокоиться, пока не отыскали бы, кто там я: Кришна или Арджунас, Равана или кто иной; если бы я перевел Мольера, то стали бы отыскивать кто там я — Тартюф или Селимена, Альцест или Гарпагон.

Следовательно, очень неделикатно поступил бы я, если бы не ввел себя в мой роман. Я заставил бы многих людей изнуряться поисками. Я не бесчувствен к их потребностям сердца — хотя бы сердца людей и неприязненных мне. Я, проповедник гуманности, обязан быть предупредителен к нуждам существ, имеющим вид и подобие людей.

Потому я ввожу себя в этот роман под псевдонимом Л. Панкратьева. Этим псевдонимом были подписаны некоторые из серьезных моих статей. Итак, Л. Панкратьев — это я, Н. Чернышевский, как действующее лицо романа «Повести в повести».

Вариант 13—14 октября 1863 года

Прежде всего, надобно узнать вам, друзья мои, кто вы. Вы — люди понимающие, что роман следует читать, как роман; что ро-

ман — создание вымысла; что лица, действующие в нем, — лица вымышленные; что Жанна — не госпожа Дюдеван, Женестьева — также не госпожа Дюдеван; что Пиквик — не Диккенс, Домби — также не Диккенс.

Вы увидите, что действующие лица этого моего романа еще более далеки от личности автора и всяких действительных его отношений к его родине и окружающим его людям. Жанна и Женестьева, по крайней мере, француженки; Пиквик и Домби, по крайней мере, англичане. В моих Верещагиных, Сырневых, Крыловых нет ничего русского. Замените стихи из Фета стихами из Гейне, Беранже, Теннисона, Петрарки, поставьте вместо Старобельска — Wessen⁸ и т. д., вместо Верещагин, Сырнев, Крылов — Verstag, Surnaw, Karlhaf — выйдет немецкий роман с немцами; поставьте Albeville, Whitetown, Albano; — Veristac, Whairestock, Veristigi; — Sarnes, Surne, Sornelli, — Charais, Cherly, Carlotti — выйдет французский роман во Франции, английский в Англии, итальянский в Италии, — что это такое? — очень просто: сказка, не заботящаяся даже о местном колорите, без которого не могли обойтись ни «Консуэло», ни «Пиквикский клуб».

В «Консуэло» и «Пиквикском клубе» рассказываются приключения, которые явно вымышлены: то, что было с Жанною и Домби, могло быть хоть когда-нибудь с кем-нибудь; но никогда ни с кем не бывало ничего такого, как с Консуэло и Пиквиком. Но все-таки, эти романы претендуют хоть на некоторое правдоподобие, хоть заботятся о том, чтобы не было противоречий между их страницами: Пиквик — везде Пиквик, о котором везде говорится одно и то же: старик, холостяк, ученый; Консуэло тоже везде одно: итальянка, с цыганскими чертами лица, певица. Почитайте, что говорят о себе и других мой Всеволодский, моя Крылова: в первом же рассказе, по первым страницам Сырнев одно лицо, по последним — другое; Тисьмина прямо называет себя Ев(т)роповной — т. е. взяла мифологию, да и выписывает оттуда то, что рассказывается о [неразборчиво] Европе; в конце первой части Крыловы без церемоний объявляют о себе, что они ни больше, ни меньше, как Наль и Дамаянти. Противоречий всякому правдоподобию — на каждом шагу. Возьмите хоть завязку: вся история состоит в том, что какая-то госпожа начинает угощать

Верещагина своею «рукописью», а он никак не может отделаться от нее; да бросил бы тетради в камин, а на письма не отвечал бы — только бы «неизвестная» и перестала бы утруждать себя. Вы видите, что даже и Верещагин — лицо чисто сказочное, поступающее так, как никто нигде.

Да, действующие лица моего романа — совершенно такие же сказочные, как Рустам, Зораб, Гурдаферид, Рудабе. Смешно было бы мне, пишущему для вас, окружать своих героинь и героев⁹ волшебниками и говорящими звездами, как окружены герои Фирдавси: но это нелепо, когда поэт употребляет обстановку, которая не живет в его сердце и сердце его публики. Но сущность сказки не в волшебной обстановке. Сказка отличается от повести и романа тем, что не заботится ни о местном колорите, ни о прозаическом правдоподобии — вещах, которые нужны роману и повести. Сказка не хочет и походить на правду. Роман и повесть говорят вам: неправда, так бывает, и нередко; — сказка говорит: не люблю, не слушаю, а я стану рассказывать то, чего не бывает. Ее цель только одна: развлечь вас.

Мы все занимаемся своими общественными вопросами; это прекрасно, но «делу время, а потехе час», — нужен отдых от серьезных мыслей — нужно иногда и позабыть, что мы граждане, гражданки, отбросить все заботы в сторону и позабавиться, пошутить, помечтать легкими, эфирными, светлыми грезами чистой поэзии, чуждой всякого «общественного служения».

Мне хотелось дать нашей публике сборник вроде «Тысяча и одна ночь». Даже и по форме «Повести в повести» — явный опыт подражания этому прелестному памятнику поэзии. Как там рассказ о Шахеразаде служит рамкою для сборника сказок, так здесь рассказ о даме, которая знакомится с Верещагиною, служит рамкою для «Рукописи женского почерка». Если бы в моих сказках была хоть тысячная доля той поэтичности, которая очаровывает в дивном сборнике, служившем идеалом для меня, я уже был бы доволен, я уже был бы великим поэтом.

Итак, «Повести в повести» — сказки в сказке, опыт подражания сборнику «Тысяча и одна ночь». Это ясно с первых же страниц.

Поэтому, если бы я был только сказочник, поэт, я мог бы обой-

тись без этого предисловия. Но если здесь я беззаботный сказочник, заботящийся о чистой поэзии, отвлекающейся от всякого общественного служения, то в других моих произведениях, в моих бесчисленных статьях я — публицист. Как публицист я предмет сочувствий и антипатий более сильных, чем довольство или недовольство сказочником, поэтом. Я нисколько не в претензии на людей — писателей и не-писателей, оказывающих мне честь своею неприязнью. Я был бы неоснователен, если бы надеялся или желал не быть предметом такого чувства от них. Но каждое положение имеет свои надобности. Положение людей, оказывающих мне честь своею враждою ко мне как публицисту, возбуждает в них непреодолимую для них самих потребность искать и в моих поэтических произведениях пищу для удовлетворения неприязни, которую они совершенно основательно питают ко мне как публицисту.

Питают совершенно справедливо и совершенно натурально. Я был бы очень неоснователен, если бы не признал этого. А если я должен признавать этот факт за справедливый и натуральный, то, конечно, я должен и поступать сообразно такому признаванию.

Что я вижу, что я нахожу естественным и справедливым — то, что если бы я перевел Мольера, то стали бы искать для юридических обвинений против меня перед моею родиною, кто там я: Тартюф или Селимена, Альцест или Гарпагон.

В рукописи имеется еще один незавершенный и перечеркнутый вариант предисловия, датированный *6 сентября 1863* (вероятно, первый), который также считаем важным для исследования и находим целесообразным привести здесь, так как его текст имеет отношение к рассуждениям Н.Г. Чернышевского о личности «автора романа».

Предисловие издателя

Натурально будет предположение, что весь этот роман написан тем литератором, имя которого поставлено под ним. Я не обязан отвечать ни «да» ни «нет»¹⁰. Я только обязан принять на себя полную литературную, нравственную и всякую формальную

ответственность за этот роман или сборник?¹¹ Я уже принял ее, подписывая под ним свое имя.

Всякая ответственность соединена с некоторыми правами. Становясь перед публикою, критикою и официальною властью лицом, закрывающим¹² автора (если автор — другое лицо) или авторов (если авторство принадлежит не одному лицу), я должен был иметь естественное желание делать по местам заметки, какие казались мне нужны. Никто не оспаривал у меня этого права. Я пользуюсь им, как мне кажется, очень умеренно.

Было одно желание, которое я исполняю. Форма романа или сборника проста и вместе многосложна. Лицо, называющее себя Николаем Лукьяновичем Верещагиным, рассказывает публике то, что считает нужным. Его рассказ служит рамкою, наружно сцепляющею повести, разнообразные анекдоты и сцены, отрывки и целые стихотворения, доставляемые ему или, — быть может и то, — принадлежащие ему самому; — а быть может, рассказ этот и поясняет их внутреннюю связь, быть может, даже больше: ставит публику в то отношение к ним¹³, какое желал (или желали) создать между ними и публикою их автор (или авторы). Я или не знаю или не считаю нужным объяснять или, быть может, не имею права говорить теперь, каково действительное отношение между рассказом г. Верещагина и автором (или авторами) этой «Рукописи». Итак, почему бы то ни было, я молчу об этом. Но было желание, чтобы я принял на себя труд¹⁴ рассказать публике, насколько то нужно, кто такой сам г. Верещагин. Чье это желание, я не считаю удобным¹⁵ объяснять. Но я нашел справедливым и нужным исполнить его.

Далее, очевидно, должно было следовать пояснение относительно личности Верещагина и его отношения к авторству романа, но данный вариант предисловия остался незавершенным и, как и несколько последующих его вариантов, не устроил автора.

Роман Н.Г. Чернышевского «Повести в повести. Роман или не-роман» остается одним из малоизученных произведений автора, представляющим большой литературоведческий интерес в силу своего художественного своеобразия. Изучением истории создания данного романа занимались в свое время Н.А. Алексеев —

при подготовке текста романа к печати отдельным изданием в 1930 года, и Н.А.Алексеев и А.П.Скафтымов — при подготовке полного собрания сочинений в 1949 года. Выверив текст по рукописи и по копии М.Н.Чернышевского, они составили его чистой вариант и снабдили роман примечаниями, включающими сведения текстологического и биографического характера. В примечаниях данных публикаций романа приведены также варианты предисловия и некоторых эпизодов романа, имеющие наибольшие расхождения с печатным текстом. К истории создания романа обращались также в своих монографиях Г.Е.Тамарченко и Ю.К.Руденко.¹⁶

В свете пристального интереса литературоведов к проблеме автора в художественном тексте роман приобретает новое современное звучание благодаря особенностям художественной организации и явлению размывания авторского присутствия. Чернышевский, которого самого чрезвычайно занимала проблема автора, движимый рядом причин, сознательно стремился растворить автора в тексте путем введения в текст большого количества «соавторов» и наделения их известной долей «самостоятельности».

После подготовки полного собрания сочинений исследователи к рукописи не обращались. Однако новое обращение к рукописи дает богатый материал для исследования.

Изучение авторской рукописи романа «Повести в повести» позволяет установить сроки его написания. Чернышевский работал над текстом данного произведения с 21 июля 1863 по 1 января 1864 года (на переплете рукописи проставлены именно эти «крайние даты»).

В целом рукопись представляет собой 250 листов, сброшюрованных в два больших альбома и мелко исписанных ровным уборым почерком, с множеством вставок, исправлений, пометок на полях, большинство из которых предназначено для набора. Нередко, когда текст не помещался на листе, писатель использовал поля, где еще более мелким почерком старался изложить тот или иной сюжет до конца, закончить начатую мысль. Все листы аккуратно датированы и пронумерованы. Текст рукописи — черновой, содержащий ряд вариантов отдельных эпизодов; осо-

его части. В целом роман не завершен — рукопись обрывается на полуслове.

В данной статье мы рассматриваем часть рукописи, относящейся к предисловию. Именно эту часть романа отличает наибольшее количество рукописных вариантов, что объясняется, на наш взгляд, ее полифункциональностью: с одной стороны, предисловие служит разъяснением сложной структуры романа, адресованным читателю, и призвано также усыпить бдительность цензуры, отвлекая внимание цензора от содержания самого романа. С другой стороны, предисловие также является структурной частью его композиции, в которой автор вписывает свое имя в один ряд с «героями-соавторами» данного произведения, проливая свет, таким образом, на художественный замысел своего романа. Поэтому писатель с особой тщательностью относился к предисловию, и ряд первоначальных его вариантов не устраивал автора. Но для изучения истории создания «Повестей в повести» и раскрытия авторского замысла все они имеют огромное значение.

Первый судя по датировке на полях, вариант предисловия остался незавершенным и в рукописи перечеркнут. Он датирован 6 сентября 1863 года и имеет название «Предисловие издателя». Во всех последующих вариантах слово «издатель» отсутствует. Первоначально Н.Г. Чернышевский, видимо, стремился совсем не упоминать своего имени в предисловии, «отказываясь» тем самым от авторства романа. В том же варианте текста его заглавие выглядит следующим образом: «Повести в повести. Роман, посвящаемый тому лицу, для которого написан». Далее следует посвящение с подписью «некто», а затем «Предисловие издателя». Так, используя маску «издателя», он стремился скрыть за ней свое истинное имя. Здесь ответственность за авторство принимает на себя некий литератор: «Натурально будет предположение, что весь этот роман написан тем литератором, имя которого поставлено под ним. Я не обязан отвечать ни „да“ ни „нет“. Я только обязан принять на себя полную литературную, нравственную и всякую формальную ответственность за этот роман или сборник. Я уже принял ее, подписывая под ним свое имя». Поскольку вариант незакончен, а в тексте отсутствуют какие-либо указания на личность Н.Г. Чернышевского, можно предположить, что он

собирался подписать его своим псевдонимом «Л. Панкратьев». Но это лишь начальный вариант, в котором игра авторских масок только завязывается.

В других вариантах текста предисловия (от 6—9 октября, 10 октября, 13 октября 1863 года) Н.Г. Чернышевский упоминает свое имя, а смена авторских масок получает свое развитие.

В конечном, печатном варианте текста мы видим, что писатель полностью признает свое авторство. Название романа теперь «Повести в повести. Роман, посвящаемый тому лицу, для которого написан Н.Г. Чернышевским», посвящение подписано словом «автор», а все предисловие — еще раз собственным именем «Н. Чернышевский». Но элемент игры с авторскими масками не только остается, но и усложняется. За собственно предисловием снова следует название романа, переходящее в текст «Повести в повести. Роман, посвящаемый а m-lle В.М.С. ЭФИОПОМ, надобно начать мою биографию и характеристику», а на полях рукописи имеется пометка для набора «это заглавие лишь для шутки — в сущности ведь продолжается еще предисловие, потому шрифты не крупные в строках этого заглавия». Чернышевский продолжает предисловие, надев маску Эфиопа, т. е. прибегнув к своему псевдониму, которым подписал ранее одну из статей. Затем Эфиоп передает эстафету авторства Л. Панкратьеву (еще один псевдоним Н.Г. Чернышевского) — «переписчику романа», а тот, в свою очередь, ссылается на Л.Д. Верещагина — невольного покровителя всей пишущей компании и прожектера рукописи (по замыслу автора). Изучая варианты предисловия, мы можем проследить рисунок завязки этой интриги.

В варианте от 13 октября автор большое внимание уделяет объяснению с цензурой. Его цель — убедить цензоров и следователей, что роман не имеет никакого отношения к действительности, а его события и действующие лица никак не связаны с реальными событиями и лицами: «В этом моем романе «Повести в повести» вы увидите лица, которые должны назваться вымышленными в еще более строгом смысле, чем Кавальканти, Лелия, Пиквик и Домби; вы увидите лица совершенно сказочные, действующие в сказочной обстановке, — такие, как Рустем, Зораб, Гурдаферид, Рудабе. Смешно было бы мне окружать своих геро-

инь и героев волшебниками и ведьмами, пэри и разговаривающими звездами, как окружены ими герои Фирдавси: поэт [неоснователен], когда употребляет обстановку, которая не живет в его сердце и сердце его публики. Но мой роман — собрание сказок, которые лишь и отличаются от сказок „Тысяча и одной ночи“, (тем) что там в некоторых сказках — только в некоторых — есть волшебная обстановка, а у меня нет ее ни в одной, как нет ее в очень многих из сказок „Тысяча и одной ночи“. Итак, его роман — это сказка без сказочной обстановки, которая может лишь показаться похожей на реальную жизнь, но в действительности все — вымысел.

Другой целью писателя было убедить проверяющих в том, что не стоит искать в героях его романа личность автора или какое бы то ни было сходство с нею: «каждое положение имеет свои надобности. Положение людей, оказывающих мне честь своею враждою ко мне как публицисту, возбуждает в них непреодолимую потребность искать и в моих беллетристических произведениях пищу для удовлетворения неприязни, которая живет в них». В объяснении с людьми, «питающими к нему вражду», писатель прибегает к едкой иронии, указывая на абсурдность столь сильного стремления отыскать автора в одном из героев. Действительно, было бы нелепо подозревать прототип автора в образах некоторых из них:

«Что я вижу и нахожу естественным? То, что если бы я перевел Магабхарату и Рамаяну, эти люди не могли бы успокоиться, пока не отыскали бы, кто там я: Кришна или Арджунас, Равана или кто иной; если бы я перевел Мольера, то стали бы отыскивать кто там я — Тартюф или Селимена, Альцест или Гарпагон.

Следовательно, очень неделикатно поступил бы я, если бы не ввел себя в мой роман. Я заставил бы многих людей изнуряться поисками. Я не бесчувствен к их потребностям сердца — хотя бы сердца людей и неприязненных мне. Я, проповедник гуманности, обязан быть предупредителен к нуждам существ, имеющим вид и подобие людей.

Потому я ввожу себя в этот роман под псевдонимом Л. Панкратьева. Этим псевдонимом были подписаны некоторые из серьезных моих статей. Итак, Л. Панкратьев — это я, Н. Чернышевский, как действующее лицо романа «Повести в повести».

Н.Г. Чернышевский отчетливо осознавал, что за все долгое время его пребывания под следствием в Петропавловской крепости следователи пытались найти любые обстоятельства, способствующие закрытию дела с максимально неблагоприятным для него исходом. Поэтому любой намек на сходство автора с одним из своих героев был не в его пользу. Это обстоятельство во многом и явилось основным фактором в формировании столь сложного авторского замысла в отношении структуры романа и введения в него множества авторских масок, в конечном счете размывающих авторское начало в тексте.

В варианте от 13—14 октября Чернышевский продолжает развивать мысль, что «роман — создание вымысла», лишенный местного колорита, «что лица, действующие в нем, — лица вымышленные». Чтобы сделать это пояснение еще более убедительным и удалить события романа от действительности, он уверяет нас, что его герои даже нерусские: «действующие лица этого моего романа еще более далеки от личности автора и всяких действительных его отношений к его родине и окружающим его людям. Жанна и Женестьева, по крайней мере, француженки; Пиквик и Домби, по крайней мере, англичане. В моих Верещагиных, Сырневых, Крыловых нет ничего русского. Замените стихи из Фета стихами из Гейне, Беранже, Теннисона, Петрарки, поставьте вместо Старобельска — Wessen и т. д., вместо Верещагин, Сырнев, Крылов — Verstag, Surnaw, Karlhaf — выйдет немецкий роман с немцами; поставьте Albeville, Whitetown, Albano; — Veristac, Whairestock, Veristigi; — Sarnes, Surne, Sornelli, — Charais, Cherly, Carlotti — выйдет французский роман во Франции, английский в Англии, итальянский в Италии, — что это такое? — очень просто: сказка, не заботящаяся даже о местном колорите, без которого не могли обойтись ни „Консуэло“, ни „Пиквикский клуб“».

Продолжая усыплять бдительность следователей, писатель убеждает их, что его роман — это сказка, к тому же совершенно неправдоподобная: «Противоречий всякому правдоподобию — на каждом шагу. Возьмите хоть завязку: вся история состоит в том, что какая-то госпожа начинает угощать Верещагина своею „рукописью“, а он никак не может отделаться от нее; да бросил бы тетради в камин, а на письма не отвечал бы — только бы, „не-

известная“ и перестала бы утруждать себя. Вы видите, что даже и Верещагин — лицо чисто сказочное, поступающее так, как никто нигде».

Он объясняет людям, несведущим в литературе, в чем отличие сказки от романа и намеренно стремится преуменьшить значение своего произведения, подчеркивая, что оно написано лишь для развлечения публики, и в нем нет ничего серьезного или важного:

«Сказка отличается от повести и романа тем, что не заботится ни о местном колорите, ни о прозаическом правдоподобию — вещах, которые нужны роману и повести. Сказка не хочет и походить на правду. Роман и повесть говорят вам: неправда, так бывает, и не редко, — сказка говорит: не любо, не слушай, а я стану рассказывать то, чего не бывает. Ее цель только одна: развлечь вас.

Мы все занимаемся своими общественными вопросами; это прекрасно, но «делу время, а потехе час», нужен отдых от серьезных мыслей — нужно иногда и позабыть, что мы граждане, гражданки, отбросить все заботы в сторону и позабавиться, пошутиться, помечтать легкими, эфирными, светлыми грезами чистой поэзии, чуждой всякого „общественного служения“.

Автор настаивает, что «„Повести в повести“ — сказки в сказке, опыт подражания сборнику „Тысяча и одна ночь“». Это ясно с первых же страниц». Такая мотивировка необходима автору для того, чтобы роман беспрепятственно миновал цензуру и был допущен к печати без каких-либо нежелательных последствий для самого Чернышевского. Обращаясь к проверяющим с просьбой не искать в тексте романа его личности, в данном варианте предисловия он выбирает более мягкий стиль, избегает явной иронии.

Итак, изучение неопубликованных вариантов текста предисловия позволяет проследить этапы формирования окончательного текста, установить основные направления его доработки, определить главные тенденции авторского замысла романа и выявить причины основных тезисов предисловия. Мы видим, что Н.Г. Чернышевский стремился наиболее четко и доступно изложить свои намерения относительно структуры и содержания романа, искал подходящие аргументы для их подтверждения, в каж-

дом последующем варианте старался достичь более убедительного изложения, а также избегать острых углов в обращении к цензуре, несколько сгладить явно ироничное звучание текста.

Примечания

¹ Чернышевский Н.Г. Повести в повести / Под ред. Н.А. Алексеева. М., 1930; Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. 1949. Т. XII. С.126—541.

² Редакторы первых изданий романа Н.А. Алексеев и А.П. Скафтымов руководствовались целесообразностью размещения в них вариантов текста, выбирая отрывки с наиболее существенными отличиями от печатного варианта. Исследование же, относящееся непосредственно к истории создания текста романа, требует тщательного изучения его рукописи и выявления максимального количества различий печатного и рукописного текстов.

³ В рукописи первоначально было написано «Шахеразада», затем исправлено на «Рудабе».

⁴ В рукописи первоначальный вариант фразы «сторукими гигантами» зачеркнут и исправлен на «разговаривающими звездами».

⁵ Слово написано неразборчиво, вариант его расшифровки мой (М.Т.).

⁶ Слово «его» в рукописи подчеркнуто.

⁷ В этом месте в рукописи обозначена следующая вставка: «Сущность сказочной обстановки не в волшебных принадлежностях, — она в том, что сказка не заботится о прозаическом правдоподобии, которое соблюдается в романе или повести. Сказке нет дела до того, что она даже и не похожа на правду, — что она исполнена противоречий в своих подробностях, не сообразна с обыденною жизнью того века и той страны, в которой помещает свое действие — у ней нет заботы ни о чем, кроме поэтической истинности, истинности основных мотивов ее капризного рассказа; всем остальным она пренебрегает».

⁸ В рукописи первоначальный вариант названия города «Вейсенбург» зачеркнут и исправлен на «Wessen».

⁹ Первоначально было записано «героев», затем исправлено на «героинь и героев». Н.Г. Чернышевский во всех посвящениях подчеркивал, что роман предназначается не только читателям, но и читательницам, а окончательный вариант посвящения его романа «В.М.Ч.» означает «всякой моей читательнице», указывая тем самым, что женщинам так же важно быть образованными и начитанными, как и мужчинам.

¹⁰ На полях вставка: «на такое предположение».

¹¹ Первоначально было написано: «произведение или собрание произведений».

¹² В этом месте на полях вставка: «своею подписью».

¹³ Зачеркнуто «к этим повестям и отрывкам» и исправлено: «к ним».

¹⁴ Первоначально было написано: «обязанность».

¹⁵ «Не считаю нужным» исправлено на «не считаю удобным».

¹⁶ См.: Руденко Ю.К. Чернышевский-романист и литературные традиции. Л., 1989; Тамарченко Г.Е. Чернышевский-романист. Л., 1976; Тамарченко Г.Е. Романы Н.Г. Чернышевского. Саратов, 1954.

**Н.Г. Чернышевский об энциклопедизме в журнале
Н.А. Полевого «Московский телеграф»**

О. Я. Гусакова

Желание добиться максимального воздействия на общество в деле распространения новых идей и малочисленность, недостаточная подготовленность части аудитории к восприятию этих идей обусловили постоянное внимание Чернышевского-журналиста в 50—60-е годы XIX века к целому комплексу проблем, связанных с историей и современным развитием печати¹. Как в настоящем, так и в прошлом важнейшим для него был вопрос о действенности печати, о взаимосвязи печати и общественного сознания.

Во второй половине 50-х годов были сделаны новые открытия в области экономики, естественных наук; материалистически обоснованные законы общественного развития сменили отвлеченные теории 30-х годов. В этих условиях возрастала роль энциклопедического журнала, журналиста-просветителя. «В настоящее время, — писал Чернышевский, — обществу нужно заботиться о том, чтобы короче познакомиться с наукою в ее современном положении»². «Одна из главных задач журналиста есть распространение положительных знаний между своими читателями, ознакомление публики с фактами науки. В нашей литературе, где еще так мало дельных книг, да и те находятся в руках самой ничтожной по числу части публики, исполнять эту обязанность журналистам еще необходимее, нежели в других литературах»² (с. 45).

Тип журнала, способного стать посредником между ученым-энциклопедистом и обществом, сложился не сразу. Существенным этапом на пути его становления для Чернышевского стали учено-литературные энциклопедические журналы 30-х годов. В этот период просвещение в России, отмечал журналист, находилось на таком уровне, что «кучка истинных подвижников науки могла способствовать отечественному прогрессу главным образом устными разговорами и тому подобными до-гуттенберговскими средствами»² (с. 354). Поэтому центром и сосредоточением всей русской культуры становились университетская кафедра и

журнал, а первой задачей передовой журналистики было «расширение круга действий просвещения и формирование круга читателей»³.

К числу подвижников просвещения, «предводителей в литературном и умственном движении» первой трети XIX века наряду с журналистами-профессорами М.Т. Каченовским, М.Г. Павловым, В.М. Перевощиковым, И.А. Двигубским, М.П. Погодиным, Н.И. Надеждиным, Т.Н. Грановским Н. Чернышевский относил издателя и редактора «Московского телеграфа» Н.А. Полевого.

Деятельность Полевого в журнале в большой степени соответствовала тому пониманию смысла деятельности русских просветителей 30-х годов, о котором Чернышевский говорит в «Очерках гоголевского периода русской литературы»: они должны были пробудить общество «от слишком долгого навыка ко сну»² (с. 351), указать ему путь деятельности, стать для него «авторитетом добра и истины»² (с. 353).

Первые разыскания Чернышевского в области истории журналистики относятся к 1853—1854 год. Нам понятно, что уже и тогда Чернышевский не мог пройти мимо того факта, что Н. Полевой одним из первых почувствовал назревающую в русском обществе потребность в просвещении. Ведь с самого начала «Московский телеграф» был журналом, в котором, как в «зеркале», отражался «весь мир — нравственный, политический и физический» (Н. Полевой)⁴. Программа «Телеграфа» была чрезвычайно обширной: статьи по истории и археологии, географии, статистике, эстетике, «новейшие произведения известных русских и иностранных писателей *во всех родах прозы*», стихотворения, исключая «стихи нескромные и посредственные», «известия о всех книжках, в России выходящих», просто известия, иностранные и отечественные, исключая политические, анекдоты, «жизнеописания славных и замечательных современников» и т. д.

С 1832 года в качестве приложения к журналу Полевого начал выходить альманах «Новый живописец общества и литературы», по сути дела являющийся сборником сатирических фельетонов на дух и нравы современного общества. «Новый живописец» отнюдь не ограничивался намеками, насмешками над бытом и нравами, но и пытался критиковать «изъяны» социально-политиче-

ского порядка. Характер альманаха, продолжающего традиции новиковских сатирических журналов, не мог не импонировать Чернышевскому.

Размах журнала был непривычен для современников Полевого. Об этом, например, говорит ироничный отзыв А. Бестужева, тоже издателя альманаха: «В Москве явился двухнедельный журнал „Телеграф“, изд. г-ном Полевым. Он заключает в себе все, извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или бантиков на новомодных башмачках»⁵. Полевой не спорил: «Телеграф» действительно «пытался говорить обо всем, от общественных событий до мод и анекдотов»⁶. Этим стремлением к универсальности, как уже было не раз отмечено⁷, Полевой выражал важную черту времени. Кончалась эпоха «альманахов и журналов, похожих на сборники разных статей» (В.Г. Белинский), собранных из случайных материалов, рассчитанных на сравнительно узкий круг «своих» читателей. Начиналось время энциклопедических журналов, ориентировавшихся на более широкую аудиторию, на «публику», стремившихся учесть ее разнообразные интересы и в то же время — выдержать единое направление, позицию.

Характеризуя состояние общества на рубеже 20-х—30-х годов XIX века, Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» отмечает, что публика хотела «иметь в журнале не только журнал, т. е. орган известного мнения, но и ученый сборник», а Н. Полевой был одним из тех, кто «имел средства удовлетворять этой потребности»² (с. 45), так как начитанностью и обширностью своих познаний он, с точки зрения Чернышевского, уступал лишь Н. Надеждину. К тому же Полевой всегда четко заявлял о своей просветительской позиции⁸, и его целеустремленность, осознанность деятельности играли не последнюю роль для Н. Чернышевского. Неукоснительное следование однажды выбранному направлению («...идти вперед, к лучшему, возбуждать деятельность в умах и будить их от этой пошлой растительной бездейственности, которая составляет величайший недостаток большей части русских») ⁹ сделало «Московский телеграф», по словам Чернышевского, органом печати «сильно действовавшим в пользу просвещения».

Анализ выступлений Н. Полевого в качестве издателя и журналиста на страницах «Телеграфа» показывает, что Чернышевский, несомненно, находил с ним много общего прежде всего во взглядах на общественное значение печати вообще и на ее особое значение в России¹⁰, где «умственная жизнь началась еще так недавно», в частности.

Н. Полевой не раз отмечал, что в России, куда так медленно проникает все «новое о событиях в науках», роль журнала как посредника между знаниями и обществом «неизмеримо» возрастает: «...И у нас журналы, как в других образованных странах, стали занимать важное место и не только в плане словесности, но и во мнении общественном; и у нас не только литераторы, но и художники, и ремесленники, и многих других отделов люди, короче, все подвергающиеся гласности в обществе дорожат мнением журналистов. Даже само правительство удостаивает своим вниманием суждения некоторых периодических изданий русских»¹¹. Особенно остро вопрос об общественном значении журналов и роли журналиста ставился Полевым в статье 1831 года «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские». «Журналист, — писал он, — должен мыслить, изучаться, существовать единственно в том убеждении, что его обязанность — споспешествовать общему ходу человечества... Назначение высокое: быть органом современных успехов и споспешествовать благу своего отечества!»¹².

Понимание общественной значимости собственного журнала помогало Полевому «с безответным спокойствием глядеть на литературные неурядицы — ничтожные придирки, часто оправленные ложью и даже клеветой». «Запальчивые выходки», брань со стороны собратьев по журнальной литературе он объяснял (иногда справедливо) не только желанием противников досадить издателю «Телеграфа», но и надеждой «уронить» журнал, постоянно пользующийся вниманием публики.

Огромная популярность «Московского телеграфа» у публики была явлением закономерным. Полевой смотрел на журнал как на орган для публики и отражающий прежде всего мнения публики¹³. Опыт историка научил Полевого видеть причину неудачи всякого события, всякого предприятия в их несообразности

со временем и обстоятельствами. Неудача в литературе была для него также неоспоримым доказательством «несоответственности» писателя с публикой («Журналист живет на твердой земле и если не умеет заставить читать своего издания, то должен удалиться с избранного им поприща или публика сама уволит его с невыгодным для него аттестатом»)¹⁴.

«Телеграф» был обращен в первую очередь к читателям *нового поколения*. На его страницах публика часто уподоблялась юноше, подающему великие надежды, «уже чувствующему, уже рассуждающему, жадному к приобретению познаний, но еще увлекаемому своим возрастом»¹⁵. При этом Полевой никогда не ставил себя выше публики и предостерегал других литературных промышленников «не делать никаких спекуляций на счет ее ума». «Никакой гений в мире, — писал он, — не может сказать, что он выше всей массы своих сограждан. Народ всегда умнее одного лица. В этом убеждает нас история и все частные явления нравственного мира»¹⁶.

В 1831 году в статьях и библиографических заметках Полевой неоднократно противопоставлял свой «Телеграф» как журнал для публики «Литературной газете» Дельвига, издававшейся, по его словам, для *некоторого числа писателей* („Газета издается не для публики!“ — говорят нам. И неучтиво, и несправедливо»). Причину скорого падения газеты журналист также видел в отсутствии у нее редакции «исправной, соображаемой с потребностями читателей»¹⁷.

Как об органе печати, не проникающем в массу публики, о «Литературной газете» говорит в «Очерках» и Чернышевский. Там же он указывает на «незначительность влияния на публику» «Современника» 1836—1846 годы, ставшую, по его мнению, одной из причин «малоизвестности» органа пушкинского направления критики («Критик, который хочет говорить только о том, о чем интересно говорить для него самого, который хочет сохранить в своей деятельности столько же гордого спокойствия и достоинства, сколько сохраняет поэт или ученый, такой критик пишет для немногих. Пушкин и его литературные друзья знали это; действуя на поприще критики, они хотели подчиняться условиям, несовместимым с их понятиями о собственном достоинстве; они

знали, что чрез это отказываются от средств достичь господства над массою публики, — да они и не стремились к такому господству: они поставили себе целью довольствоваться спокойным сочувствием немногих читателей, которых считали избранными»¹⁸. Н. Полевой, напротив, предстает у Чернышевского как журналист, понимающий потребности публики.

Тщательное изучение состояния литературы и общества 10—20-х годах XIX века не оставили у Чернышевского сомнения в том, что читающая публика была крайне малочисленна, следовательно, сфера влияния журналистики в России была ограничена. «Русская литература, — писал он в библиографической заметке первого номера «Современника» за 1855 год, — могла бы носить имя, которое Жуковский избрал заглавием одному из собраний своих стихотворений: «Für wenige»* (Чернышевский Н.А. Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 2. С. 610). «Ощутительное влияние литературы на общество, — считает Чернышевский, началось только с „Московского телеграфа“ <...> До этого времени происходили приготовления читателя, формирование „массы публики с некоторою любовью к чтению“ (там же, с. 611).

В «Очерках» Чернышевский еще раз констатировал: «„Телеграф“ ... до самого конца своего существования пользовался предпочтительно любовью публики»² (там же, с. 126). Вместо ответа на вопрос, какова же была эта публика, Чернышевский предпочел процитировать слова Белинского: «...Публика: это масса людей развитых, сильно сочувствующих литературе, которая выражает их твердые убеждения. У нас нет еще и такой публики, но есть уже начало ее в немногочисленных образованных людях, которые рассеяны по России; теперь они еще заслоняются массою людей неразвитых, но скоро их голос обретет уважение в толпе, число их увеличится»² (с. 250).

Вера Н. Полевого в громадную преобразующую силу передовой журналистики была чрезвычайно близка Чернышевскому, и все же в своей оценке деятельности знаменитого журналиста он старается быть предельно объективным. С одной стороны, Чернышевский подчеркивает, что Н. Полевой и его журнал развива-

* «Для немногих» — сборник переводных стихотворений.

лись в русле современных общественно-философских идей. С другой, — отмечая, что во главе «Московского телеграфа» стоял человек широких и разносторонних взглядов, не замалчивает и того обстоятельства, что обширность познаний в журнале не всегда соединялась с их современным научным уровнем. Речь прежде всего идет об уровне философских знаний, неудовлетворительность которого не могла не сказаться отрицательно на разработке в «Телеграфе» эстетических вопросов. «Полевой, — писал Чернышевский, — не знал и не мог понять немецкой философии»² (с. 159). «Он был последователем Кузена, которого считал разрешителем всех премудростей и величайшим философом в мире. На самом деле философия Кузена была составлена из довольно произвольного смещения научных понятий, заимствованных отчасти у Канта, еще более у Шеллинга, отчасти у других немецких философов, с некоторыми обрывками из Декарта, из Локка и других мыслителей, и весь этот разнородный набор был вдобавок переделан и приглажен так, чтобы не смущать никакою смелую мыслью предрассудков французской публики»² (с. 23—24). Однако Чернышевский не торопится обвинять Полевого в невежестве. Соглашаясь с тем, что «эта кашлица, называвшаяся „эклектической философией“, не могла иметь большого научного достоинства», он все же находит ее полезной, так как она «легко переваривалась людьми, еще не готовыми к принятию строгих и резких систем немецкой философии», и тем самым подготавливала их «к переходу от прежней закоснелости и иезуитского обскурантизма к более здравым воззрениям».

Все сказанное Чернышевским в ряде статей, рецензий 1853—1855 годов и в «Очерках гоголевского периода русской литературы» по поводу направления деятельности Н. Полевого в «Московском телеграфе» делает обязательными по крайней мере следующие выводы. Энциклопедизм оказался самым полезным содержанием деятельности Н. Полевого в 1825—1834 годах. Стремясь сделать доступными, интересными и для неподготовленного читателя материалы, связанные с жизненными потребностями русского общества, Н. Полевой ответил на запросы времени.

В 30-е годы сначала «Московский телеграф» Н.А. Полевого, а затем «Телескоп» Н.И. Надеждина приняли на себя заботу о раз-

витии общества. Именно через них осуществляется преемственность поколений русских журналов и русской публики 30-х и 40—60-х годов. После них взгляд на журнал как на «орган кровообращения мыслей, составляющего основные условия народного просвещения» окончательно утвердился в русском обществе.

Примечания

¹ См. об этом: Н. Г. Чернышевский и журналистика / Под ред. В.И. Есина. М., 1971. Там же см. подробно об энциклопедизме в науке и журналистике (по статьям Н.Г. Чернышевского 50-х годов). С. 121—134. Раздел написан Н.И. Новолоцкой.

² *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 3. С. 351. Далее цитируется по этому изданию в тексте статьи (с указанием номера тома и страницы).

³ Перед самим Чернышевским стояла задача подготовка *нового, серьезного читателя*.

⁴ «Московский телеграф». 1825. № 1. С. 7.

⁵ *Бестужев А.А.* Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов // Литературно-критические работы декабристов. М., 1978. С. 78.

⁶ *Полевой Н.А., Полевой Кс.А.* Литературная критика: Статьи и рецензии 1825—1842 / Сост. подгот. текста, вступ. ст., коммент. В. Березиной, И. Сухих. Л., 1990. С. 5. Далее цитируется по этому изданию.

⁷ См., напр., работы В.Г. Березиной и Вл. Орлова по истории русской журналистики второй четверти XIX века.

⁸ «Журналист должен уведомлять о новых явлениях, представляющих новые завоевания в области наук. Его внимание еще более на свои, отечественные события в науках и литературе». (*Полевой Н.А., Полевой Кс.А.* Литературная критика. С. 58). Сходство с Чернышевским во взглядах на обязанности журналиста очевидно.

⁹ Там же. С. 59.

¹⁰ Об особой роли журналов в России писал и В.Г. Белинский: «Для нашего общества журнал — все, нигде в мире не имеет он такого важного и великого значения, как у нас <...> Теперь у нас великую пользу сможет приносить для настоящего и еще больше, для будущего, кафедра, но журнал большую» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953—1959. Т. XI. С. 566).

¹¹ *Полевой Н.А., Полевой Кс.А.* Литературная критика. С. 58—60. Вместе с тем Полевой понимал, что в России влияние печати на общество еще не столь велико, как во Франции, Англии, Соединенных Штатах, где они «даже составляют отдел силы государственной» («мы еще молоды для этого»).

¹² Там же. С. 59.

¹³ В работах современных исследователей (В. Есина, В. Прозорова, О. Миловановой и др.) убедительно показано, что понятие «читающая публика» — важная социально-эстетическая категория В.Г. Белинского и Н.Г. Чернышевского. С исследованием этой категории у Полевого дело обстоит сложнее. Между тем вопрос о взаимной связи читателя с прессой не был периферийным уже и для Н.А. Полевого.

¹⁴ *Полевой Н.А., Полевой Кс.А.* Литературная критика. С. 60.

¹⁵ Там же. С. 57. Полевой постоянно указывает на изменения, происходящие в публике в 1825—1830 годах: «Публика наша ищет в газетах и журналах уже не только развлечения, которое дают ей и карты и собаки, и фигляры и зайцы, и фокусники и городские слухи, и проч., и проч. Она ищет в них уже не одной пустоты занимательной, но занятия полезного и вместе приятного» (там же, с. 56—57).

¹⁶ Там же. С. 59.

¹⁷ Там же. С. 64.

¹⁸ Чернышевский Н.А. Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 3. С. 133. Чернышевский ограничивается указанием «этого поприща, потому что и его было бы достаточно для объяснения незначительности влияния «Современника» на публику, если бы даже не было других причин, еще более важных...». Другими причинами для Чернышевского, как известно, были цензурные ограничения, от которых особенно пострадал Пушкин как издатель «Современника», общие политические условия монархического режима.

К вопросу о роли Дневника в жизни и творчестве Н.Г.Чернышевского

З.И. Рустамова
(Азербайджан)

Н.А.Алексеев, один из исследователей творчества Чернышевского, редактор всех давних советских изданий его дневников, сочувственно цитирует слова о том, что «по своей искренности и непосредственности Дневник должен быть признан одним из замечательнейших человеческих документов... Его можно поставить наравне с «Исповедью» Руссо... В Дневнике Чернышевского мы читаем его исповедь в записях, веденных изо дня в день, без всякой литературной отделки; тем правдивее выглядят они, тем ценнее в психологическом отношении»¹. Сравнение преувеличенное, но общая характеристика этого «человеческого документа» вполне объективна.

Начало ведения Дневника датируется маем 1848 года, когда произошло событие, оставившее в душе Чернышевского неизгладимый след, а именно, женитьба его друга Лободовского, под сильным влиянием которого он находился в период своей учебы в университете. Тогда Чернышевский был удивлен причиной женитьбы своего наставника, который не был влюблен и не идеализировал свою невесту. Он женился на ней не в благодарность за ее страстную любовь и не ради спасения ее «из подвала». Девушка была проста, и Лободовский испытывал за нее стыд перед родителями. Он даже не надеялся на счастье, но сам хотел «образовать» и сделать счастливой суженую. Чернышевский отметил в Дневнике, что Лободовский женится, не принося себя в жертву, но и небескорыстно — своим присутствием жена должна была бы постоянно напоминать ему о необходимости трудиться. Поразившие его тогда отношения Лободовского с будущей женой будут переосмыслены и лягут в основу отношений Чернышевского к Ольге Васильевой, невесте, с тем отличием, что он женится, поставив перед собой совершенно определенную цель — освобождение Ольги от тяготившей ее семьи.

Получивший воспитание в домашних условиях и почти не имевший опыта общения, он задумывается над тем, почему так тянет-

ся к своему знакомому, почему ему интересно именно с Лободовским, высказывания которого часто опережают ещё зарождающиеся в нём мысли. Постепенно и вполне реально он начинает ощущать родство душ, и духовность со временем станет для Чернышевского важнейшим фактором оценки личности человека.

Юноша считает для себя серьезной, но решаемой проблему общения, и особенно с представительницами прекрасной половины человечества. Он понимает, что ему следует больше быть в женском обществе, потому что «чем более знать будешь людей, тем лучше будет выбор будущей спутницы жизни». Заботясь о душе и желая «принести, сколько можно, в супружество душу и тело девственными...»², он вновь приходит к выводу, что духовность должна стать фундаментом добропорядочных отношений между супругами. И именно такие отношения он хочет видеть, но не находит в семье друга.

Тревожное и неведомое влечение к жене друга, Надежде Егоровне, зародившееся в душе Чернышевского, начинает его сильно беспокоить. Попав в новые для него жизненные обстоятельства, он пытается изучить их и дать объяснение незнакомым ему доселе чувствам. Молодой человек доволен собой и гордится умением сдерживать эмоции и не показывать тех переживаний, которых, по его мнению, не следует показывать и которые могут просто навредить близким. В романе «Что делать?» аналогичным образом поведет себя доктор Кирсанов, почувствовав влечение к Вере Павловне Лопуховой.

Частое посещение дома Лободовских явилось неосознанной попыткой застенчивого и нерешительного Чернышевского к самоутверждению. Болезненно восприняв признание друга в том, что тот совершенно охладел к своей жене, он решает помочь ему найти выход из этого положения и послать письмо о влюбленности в его жену друга семье с надеждой, что от этого «может быть, возбудится ревность и возбудит любовь...»² (с. 51). Однако письмо не было отправлено. «Любви через ревность не возбудить»² (с. 56), — запишет он в Дневнике и откажется от этой затеи. Что касается самого Чернышевского, то он будет всю жизнь стремиться сознательно заглушать в себе чувство ревности: и в период ухаживания за невестой, когда для этого будет много ре-

альных поводов, и после женитьбы. Впоследствии он полностью исключит ее из взаимоотношений «новых людей».

Пока же юноша с интересом прислушивается к словам и обращает внимание на то, какие проблемы волнуют Лободовского. Его размышления по поводу того, что «быть... деликатну с ограниченными людьми, совестливу... не годилось бы — они не понимают, что это снисхождение к ним, и обходятся с тобою запанибрата, ставя тебя ниже себя...»² (с. 43), подводят Чернышевского к извечной проблеме, связанной с необходимостью выбора определенной формы поведения и манеры разговора, соответствующие данной ситуации. Н.В. Гоголь тонко подметил в поэме «Мертвые души»: «Француз или немец... почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком и с мелким табачным торгашом... У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот... словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки»³. Лободовский сомневается, Гоголь иронизирует, а Чернышевскому предстоит решить для себя эту проблему. Он пока очень болезненно ощущает малейшее ущемление своих прав: «Я весьма обидчив в том, что считаю обидою»² (с. 120). Как видно, в восприятии происходящего еще преобладают субъективное начало и эмоциональность, на преодоление которых он уже нацелен, так как сознает ошибочность такой реакции.

Каждая новая встреча с Лободовскими все больше и больше убеждает его в том, что Надежда Егоровна «весьма умна и с характером и нежным сердцем»² (с. 39), что она существо «высшей природы, в котором есть это естественное благородство и такт, а то говорят все и прилично и хорошо, да некстати... делают что-либо для вас, и не хотят это показать, а между тем делают так, что выказывается это вам... она делает так, что только после рассудишь, что это было сделано для вас, а сразу не заметишь»² (с. 45). Эти «тонкие деликатности», по словам Чернышевского, он замечает и в себе, и в Лободовском: «...Если что делаешь для другого, то не показывать вида»² (с. 52), чтобы не делать его обязанным. После долгих размышлений он приходит к выводу, что не следует считать ко-

го-то обязанным себе и соответственно не ожидать ни от кого благодарности, а строить отношения и вести себя сообразно нравственным нормам, на формирование которых и следует обратить особое внимание² (с. 68). Благое дело, совершенное по доброй воле, исключает всякое ожидание благодарности. Быть обязанным и благодарным или нет, человек должен решить для себя сам, исходя из собственных нравственных критериев, но никак не из-за страха плохого мнения о нем окружающих.

У Чернышевского было особое отношение к окружающим его людям. Он редко допускал кого-то в свой мир и сближался не с каждым желающим войти с ним в контакт: «...Как скоро я узнавал, что положение человека, к которому я чувствовал расположение, тяжело, моя привязанность к нему тотчас усиливалась»² (с. 431). Так, романтически настроенный юноша Чернышевский в одну из тяжелых минут жизни друга и наставника Лободовского готов ради него на все: «...жизнь, кажется, отдал бы для его счастья...»² (с. 46). Он считает своим долгом помогать во всем его семье: делится своим достатком, спокойствием, временем. Эта жертвенность ляжет в основу его отношений с будущей женой, а позже — в основу взаимоотношений героев романа «Что делать?». В Дневник он запишет свое понимание жертвы и тех условий, при которых безоговорочно готов на нее: «...Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений... свободы, равенства, братства, уничтожения нищеты и порока, если б только был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду... даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть... если только буду в этом убежден»² (с. 194). Однако сложность проблемы в данной ситуации состоит не в том, что человек решается на жертву, будучи уверенным в достижении желаемого, а в том, что он должен пойти на нее, будучи не вполне уверенным в результатах. Герои произведений Чернышевского придут к иному осмыслению жертвенности и будут действовать соответственно своим принципам.

Жертва — это не насилие, а согласие с собой и убежденность в необходимости совершения данного поступка, на который человек идет осмысленно и по доброй воле. Происходит процесс превращения акта жертвы в волевой акт. Потому-то Лопухов и говорит: «Жертва — сапоги всмятку. Как приятно, так и посту-

паешь». Заметим, что понятие жертвенности трансформируется и по теории «разумного эгоизма» будет выглядеть, как поступок «ради себя», но соответствовать понятию «ради других».

Вместе с тем он замечает, что люди почти всегда оценивают поступки других, исходя из своих помыслов: «...Тщеславие и пристрастие, по которому осуждается в другом то, что уважается в себе, и злобные пересуды... признак людей ограниченных и пошлых... они всему радуются и печалются и ничему глубоко»² (с. 44). Если тщеславие и пристрастие, продолжает Чернышевский, — признак людей ограниченных и пошлых, то следует сблизиться с теми, чьи оценки беспристрастны и объективны, и, кроме того, если тщеславие допустимо в разумной степени, пока не вредит человеку, то пристрастие губительно в любом проявлении. В решении возникающих проблемных ситуаций выборное и ограничивающее начало всегда должно быть за разумом. Поддаваться чувствам всегда легко, но безответственно. Принять приоритет разума — сложнее, но это гарантия объективности и стабильности. Чернышевский выберет последнее и будет стремиться сделать принципы рационализма основными в жизни.

В заключение хотелось бы отметить, что Дневник сыграл очень важную роль в формировании мировоззрения Чернышевского. Здесь содержатся не только интересные факты его биографии, но и свидетельство того, как проходил процесс самопознания, самоконтроля и самовоспитания. Читатель получает возможность проследить развитие как личности самого философа, критика и писателя, так и тех сюжетов и конфликтов, которые найдут свое место в его художественном творчестве. Отражение в Дневнике происходящего с ним и, главное, раздумья по этому поводу показывают путь к реализации еще складывающихся и уже устоявшихся жизненных принципов и нравственных ценностей, которые органически войдут в его концепцию человека.

Примечания

¹ Руденко Ю.К. К вопросу о юношеских дневниках Н.Г. Чернышевского как литературном произведении // Русская литература 1968. №4. С. 107.

² Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т.1. С. 211. В тексте даны ссылки на это издание и том с указанием страницы.

³ Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1986. Т. 5. С. 45.

Одним из ценнейших биографических источников, связанных с пребыванием Чернышевского в астраханской ссылке, являются мемуары современников. Основные тексты известны, они давно опубликованы и прочно вошли в научный обиход — воспоминания Н.В. Рейнгардта, Г.А. Ларина, Н.Ф. Хованского, М.П. Краснова, К.М. Фёдорова¹. Однако за пределами находящихся в руках исследователей томов осталось немало свидетельств, без которых изучение темы «Н.Г. Чернышевский в Астрахани» представляется неполным, обедненным².

Так, в основной арсенал мемуаров о Чернышевском не вошли воспоминания Н.Ф. Скорикова, впервые опубликованные в 1905 году и с той поры не перепечатывавшиеся. Из письма к нам составителя сборника 1982 года проф. А.А. Демченко выясняется, что текст этих воспоминаний в ту пору был подготовлен для включения в издание, однако по разным причинам, в том числе и по идеологическим соображениям, он был отставлен рецензентами издания, поскольку революционность облика писателя в изображениях мемуариста оказывалась затушеванной³. Примерно такой же была аргументация П.А. Бугаенко, автора вступительной статьи к соответствующему разделу в издании 1959 года. «Особо следует остановиться, — читаем мы здесь, — на не включенных в сборник известных воспоминаниях Н.Ф. Скорикова «Н.Г. Чернышевский в Астрахани». Эти воспоминания имеют явно выраженный полемический смысл и направлены против утверждения В.Г. Короленко о том, что Чернышевский возвратился из Вилюйска тем же революционером в области мысли, каким он был и прежде. Молодому астраханскому учителю Н.Ф. Скорикову (кстати, он ошибочно считает временем своего знакомства с Чернышевским осень 1889 года, т.е. время, когда последний уже жил в Саратове) показалось, что теперь-де Чернышевский является своего рода «постепеновцем».

К этому ошибочному выводу мемуарист приходит на том шатком основании, что Чернышевский не поддержал пылкие и, как

им казалось, революционные речи самого Скорикова и приведенного им с собою приятеля Н<азарова>. Было бы наивным ожидать, что Н.Г. Чернышевский выскажет свои истинные взгляды двум случайным посетителям, из которых один вовсе не был ему знаком. «„Я не могу согласиться со взглядом Н.Г. на нелегальный образ действий“, — заявил этот „господин Н<азаров>“». Скориков правильно замечает, что обычная манера Чернышевского «никогда сразу не высказываться, а больше отшучиваться», и здесь же, противореча своему утверждению, приводит пространные речи самого Чернышевского, весь строй и содержание которых позволяет отнести их скорее к самому Скорикову, чем к его собеседнику»⁴. Авторитетный исследователь астраханских лет жизни Чернышевского полагал: «П.А. Бугаенко не без оснований опровергает некоторые личные суждения и предположения мемуариста»⁵. Подобное недоверие к мемуаристу коренилось в давней аннотации, составленной Н.М. Чернышевской вполне с духом того времени: «В части воспоминаний о Чернышевском, касающейся высказываний писателя по историко-философским и общественным вопросам, сообщает совершенно не достоверные сведения, свидетельствующие о полном непонимании Чернышевского и обывательском подходе к нему»⁶. Позднее после бесед с самим Н.Ф. Скориковым Н.М. Чернышевская, несколько смягчая общую характеристику его воспоминаний, все же продолжала считать ошибочной содержащуюся в них оценку общественной позиции писателя⁷. Исследователь творчества Чернышевского 80-х годов XIX века А.Ф. Мартынов придерживался тех же установок⁸. Попытку пересмотреть столь категорические суждения относительно «политических» страниц воспоминаний Н.Ф. Скорикова предприняла С.В. Свердлина, которая в словах мемуариста увидела свидетельство «скептического отношения» Чернышевского «к революционной восприимчивости народа в 80-е годы»⁹. Активное использование наблюдений астраханского знакомого Чернышевского характерно для научно-биографического труда о писателе¹⁰.

Действительно, сообщенные Н.Ф. Скориковым сведения в большинстве своем представляют несомненную биографическую ценность. Николай Фомич Скориков (1866—1940) — астраханский

учитель, в начале 90-х годов — инспектор народного училища, член губернского статистического комитета, гласный городской думы. Его воспоминания о Чернышевском написаны в 1895 году и были отосланы в «Исторический вестник» и «Русскую мысль», но ему ответили, как свидетельствовал сам Н.Ф. Скориков, что «при современном положении печати никакие очерки, воспоминания и т. п. о личности Чернышевского не могут быть печатаемы»¹¹. Мемуары впервые опубликованы в 1905 году¹². Некоторые дополнения к ним были сделаны Н.Ф. Скориковым в 1931 году в беседе с Н.М. Чернышевской¹³.

Разговоры с Чернышевским столь ясно и прочно закрепились в памяти мемуариста, что сомневаться в их недостоверности нет оснований. Степень близости Чернышевского к молодому собеседнику передает оставленная тому на память сделанная экспромтом следующая запись на полулисте почтовой бумаги:

«Просвещенные люди какого-нибудь народа, имеющего просвещенных людей, видят — масса их народа имеет дурные привычки, вредящие ей; они желают добра своему народу, чувствуют себя обязанными действовать на пользу ему и находят, что важнейшая причина неудовлетворительности его настоящего положения состоит в дурных привычках его массы. Они чувствуют себя обязанными действовать для устранения этой главной причины его страданий.

Спрашивается теперь: какой характер должна иметь та их деятельность на пользу народа, которая, по их справедливому мнению, составляет их патриотическую обязанность?

Масса их народа имеет дурные привычки. Для его блага надобно, чтобы дурные привычки заменились хорошими. Почему же она до сих пор держится своих дурных привычек, почему не заменились они у нее хорошими? Она или не знает хорошего, или не имеет возможности усвоить его себе; чаще всего эти препятствия существуют вместе. Стало быть, просвещенные люди, желающие блага своему народу, должны знакомить его с хорошим и заботиться о доставлении ему средств приобрести это хорошее»¹⁴. В свое время составители полного собрания сочинений Н.Г. Чернышевского (1939—1953) не включили этот текст в издание ввиду «нереволюционности» высказывания автора «Что де-

дать?». «Слова писателя были обращены к молодому приверженцу радикальных действий, не скрывавшему своих крайних взглядов. Стороннику беспорядков среди студентов, вынужденных-де прибегать к подпольной пропаганде, пришлось услышать следующее мнение: в своих увлечениях «молодежь руководится, конечно, благородными порывами... Молодежь всегда была отзывчивой к общественным вопросам... К сожалению, увлечения эти часто переходят границы... Проявлять подобные протесты — безумство... И прискорбно, конечно, что в этих безумных порывах молодежь всегда забывает то дело, ради которого она идет в университет... История показывает, что общества с тайным, в большинстве с преступным, образом действий никогда не достигали положительных целей... Все, что делается в темноте, либо пошло, либо пусто... Если вы днем, при свете, в состоянии как следует вспахать, положим, 50 десятин земли, то что вы вспашете ночью, в темноте?.. Перепортили только землю... Серьезные, умные люди в тайных обществах не состоят... Тайные кружки и общества — это пустые бессодержательные скопища недоучек, способных лишь тормозить ход государственной жизни. Члены этих кружков не хотят знать, что, вредя правительству, они вместе с тем вредят и государству... История, повторяю, показывает, что цивилизация движется не тайными обществами, — нет! — ими возбуждались только местные восстания и бунты, не приводящие ни к каким положительным результатам». А.Я. Назаров, «ярый революционер по взглядам», которого однажды Н.Ф. Скориков привел с собой, но не присутствовал при их разговоре, сказал, что не может согласиться «со взглядами Н.Г. на нелегальный образ действий». В опубликованной Н.Ф. Скориковым записке Чернышевского писатель настойчиво развивал мысль о необходимости заниматься молодежи не революционно пропагандой среди народа, а делом просвещения, которое в конечном счёте приводит к глубинным, революционным по сути социальным преобразованиям. Чернышевский резко осуждал террористические и подобные им авантюристические формы революционной борьбы. Таким писатель-демократ был в шестидесятые годы¹⁵, таким он оставался и через двадцать лет.

Интерес представляют также воспоминания, восстанавливаю-

щие некоторые подробности частной жизни Чернышевского в Астрахани. Эти публикации затерялись в газетах юбилейного 1928 года, когда отмечалось столетие со дня рождения писателя. Ввиду небольшого объема текстов находим возможным их полное воспроизведение.

Автор одного из них — Антонина Александровна Чернышевская-Лебедева, дочь Александра Гавриловича Чернышевского, некогда усыновленного Гаврилой Ивановичем Чернышевским и потому доводившаяся Н.Г. Чернышевскому племянницей. А.Г. Чернышевский учительствовал в г. Вольске Саратовской губернии, где и умер 48 лет от роду в 1876 году.

Шесть месяцев под одной кровлей с Николаем Гавриловичем

В мае месяце 1886 года, когда я кончила саратовскую Маринскую гимназию, в Саратов приехала Ольга Сократовна из г. Астрахани. Она пригласила меня поехать с ней в Астрахань. Я согласилась с удовольствием, мне хотелось познакомиться с Николаем Гавриловичем.

Отношение Николая Гавриловича ко мне было прекрасное. Когда его секретарь Костенька¹⁶ (как звали они его) уехал в отпуск, Николай Гаврилович предложил мне поработать с ним. В то время он переводил историю Вебера (как сейчас помню, переводил историю Рима), и я под его диктовку писала по два—три часа в день.

Он диктовал, лежа на кушетке или расхаживая по кабинету. Подойдет, бывало, ко мне, погладит по голове и скажет: «Устала, Таничка?» (*здесь и далее орфография автора*)

— Нисколько, — отвечаю ему.

И опять продолжаем. После диктовки мы обычно отправлялись с ним гулять. Николай Гаврилович в своем неизменном халате, и за пазухой у него любимый кот — Мурлышка. В одну из таких прогулок я замешкалась в квартире и слышу, кричит меня Николай Гаврилович: «Таничка, Таничка! Мурлышка удрал на крышу, пойдемте, достанем его». Я бегом пустилась, залезла на лестницу, которую держал Николай Гаврилович, и достала его котенка. Как-то раз, сидя за обедом, он и говорит мне: «Таничка, пришейте кармашек к фартучку, когда Голубчик (так он звал О.С.)

даст нам мясо, вы кусочек и спрячьте для коташки», и смеется при этом. Вообще надо сказать, что был он человек добрый: казалось, не только человека, букашки не обидит..

Н.Г. не любил, чтобы входили в его кабинет, и никто не допускался туда убирать, пока была я там. Я знала, где, что и как у него лежит, и никогда не перекладывала ни книг, ни бумаг, ни вещей.

Он очень любил меня, любил слушать мою болтовню, сам рассказывал и тоже смеялся, но редко и даже очень мало я слышала о жизни его в ссылке, да я и не пыталась спрашивать, он не любил вспоминать прошлое...

С последним пароходом в октябре месяце мне пришлось уехать в г. Саратов. Когда переехал Николай Гаврилович на свою родину, в Саратов, я опять часто бывала у них. Николай Гаврилович уже чувствовал себя плохо, хотя и продолжал работать. Помню, я прибежала утром, когда ему совсем было плохо, и услышала ужасный хрип на всю квартиру. О.С. была взволнована, были врачи, суетились... Сестра моя, Мар. Ал. Чернышевская, сбегала за подушкой с кислородом, но все было напрасно, — дорогого Николая Гавриловича не стало... Что тогда пришлось переживать, описать не могу, отчета не отдавала себе, так было тяжело... Помню, когда мы шли за гробом Николая Гавриловича и процессия остановилась около первой мужской гимназии, я взглянула в лицо и мне стало жалко этого человека-мученика!.. Такая была тишина кругом, а у меня сердце так билось, так и хотелось крикнуть: «Как много этот человек страдал и сколько он перенес!..

*Антонина Александровна Чернышевская-Лебедева*¹⁷.

Автор следующих воспоминаний — Константин Александрович Чернышевский, родной брат А.А. Чернышевской-Лебедевой.

Час с Николаем Гавриловичем

По окончании вольской прогимназии, в 1879 году, я поступил в первую саратовскую гимназию и жил первый год в Саратове у жены Николая Гавриловича — Ольги Сократовны.

С каким удовольствием слушал я, когда Ольга Сократовна читала письма Николая Гавриловича, получаемые из места его ссыл-

ки. Помимо их глубокой внутренней содержательности, его письма дышали всегда теплым чувством ко всем близким.

Летом в 1886 году, уже после возвращения Н.Г. Чернышевского из ссылки, в первые мои студенческие годы во время каникул мне представился случай поехать на пароходе по Волге, от Вольска — моего родного города — до Астрахани, где Николаю Гавриловичу было разрешено жить после возвращения из ссылки. Помню, с каким невыразимым чувством не то трепета, не то благоговения я входил в дом, где жил Николай Гаврилович. Меня встретила Ольга Сократовна, которую я не видел несколько лет перед этим свиданием.

— Ты знаешь, я никого к нему не пускаю, — заявила она мне со свойственной ей решительностью, — всякие разговоры его очень утомляют и отвлекают от работы, а врачи строго запретили ему утомляться... Ну, тебя, конечно, к нему проведу, но с условием — и я тебя об этом предупреждаю — долго у него не засиживайся.

С большим волнением переступил я порог комнаты великого мыслителя, перенесшего так много страданий... Ко мне навстречу поднялся среднего роста человек, с проседью, с небольшой бородкой, в очках; одет он был в летний халат. Комната была заставлена полками с книгами, на столе лежали книги и рукописи. В то время он работал над переводом «Всеобщей истории» Вебера.

Я услышал мягкий приветливый голос:

— Здравствуйте!.. Рад с вами познакомиться. Я хорошо знал вашего отца — Александра Гавриловича, его очень уважал, жаль что он так рано умер...

Затем Николай Гаврилович поинтересовался, на каком я факультете и, узнав, что на медицинском, перевел разговор о необходимости серьезной подготовки ввиду громадной моральной ответственности врача.

Давно была эта встреча, многое из нее уже ушло из памяти, многое стерло время... Беседа наша длилась всего час. О чем только не говорил этот великий человек! Но больше всего меня поразили его обширные знания, его изумительная осведомленность в вопросах анатомии, химии, физиологии и т. д.

Предупрежденный о его болезни и слыша, как за дверью многозначительно начала покашливать Ольга Сократовна, я поднялся и стал прощаться... Простились мы с ним очень тепло. На следующий день я уехал на том же пароходе из Астрахани, очарованный этим кратковременным свиданием... К моему глубокому сожалению, это мое первое свидание с Николаем Гавриловичем оказалось и последним. Час с Чернышевским глубоко врезался в мою память и оставил свой след, и если отдельные детали и стерлись, то в целом это наполнило и мою дальнейшую общественную деятельность, и мою работу, и мое духовное Я необычайным содержанием и памятью об этом большом человеке.

После его переезда из Астрахани в Саратов, где он жил так мало — всего четыре месяца, — попасть мне туда, к сожалению, не удалось.

Николай Гаврилович в Саратове вскоре умер. Когда в Казанском университете, где я учился в то время, было получено известие о смерти Николая Гавриловича Чернышевского, студенчество послало по телеграфу семье Чернышевского глубокое соболезнование, в день похорон его — был возложен венок от казанского студенчества.

*К.А. Чернышевский*¹⁸

Приведем еще один текст, отличающийся от остальных тем, что дан в пересказе журналиста и потому несколько теряет в достоверности. Тем не менее сообщенные здесь факты дополняют картину пребывания Чернышевского в городе на Каспии и могут служить в известной мере полезным биографическим источником.

Н.Г. Чернышевский в Астрахани

Несмотря на свирепую цензуру, тщательную перлюстрацию писем ссыльных революционеров и вожakov оппозиционной царскому правительству интеллигенции, слухи, что в Астрахань везут в ссылку из Сибири автора знаменитого романа «Что делать?», властителя дум учащейся молодежи Николая Гавриловича Чернышевского, глубоко взволновали общественные круги города. К моменту приезда ссыльного писателя в либеральных кругах интеллигенции только и говорили о Чернышевском.

И как только он был «водворен» жандармами в приготовленную квартиру, сейчас же к нему началось усиленное паломничество.

В беседе с нами современница Чернышевского, жена ссыльного каракозовца Павла Маркеловича Никольского — Елизавета Ивановна Никольская, сообщила о нескольких своих встречах с Н.Г. Чернышевским, который часто посещал городскую общественную библиотеку и подолгу просматривал иностранные журналы и отдельные иллюстрации.

«В это время (1889) я работала в городской библиотеке в качестве помощника библиотекаря, и на мне лежала обязанность составлять библиотечный каталог, следить за выходом новых книг и читать о них рецензии в журналах „Вестник Европы“, „Русская мысль“ и других.

Однажды в мою комнату вошел среднего роста, худощавый, лет 55 посетитель; волосы он носил длинные, они были слегка вьющиеся, каштановые без проседи, в маленькой бородке и усах проглядывала седина, глаза голубые, живые, лучистые. Я сейчас же узнала в незнакомце Н.Г. Чернышевского. Он присел к столу, где была разложена иностранная печать, и заинтересовался английскими гравюрами.

В следующее свое посещение библиотеки он познакомился со мной и стал вести со мной беседы о литературе. Держал он себя очень просто, и, слушая его интересные рассказы из истории литературы, я забывала, что передо мною сидит знаменитый писатель, и считала, что разговариваю с хорошим своим знакомым.

Как-то Николай Гаврилович шутливо спросил меня:

— А не боитесь ли вы, что за разговор со мной вас заберут в участок? Слежка за мной отчаянная.

В одно из своих посещений Н.Г. Чернышевским библиотеки я задала ему давно интересовавший меня вопрос:

— Как вам жилось в ссылке?

— Я жил там не хуже каждого сельского учителя, жил одиноко, без семьи, жена осталась в Петербурге и была занята образованием сыновей. Один из них поэт, вроде Фета, печатал свои стихотворения в журнале „Русское богатство“ 1880—1881 годах. за подписью А.Ч.».

Н.Г. Чернышевский очень тепло отзывался о Добролюбове, Некрасове, Тургеневе и Салтыкове-Щедрине. Холодком веяло от его характеристики Л.Н. Толстого. «По моему мнению, — сказал однажды Чернышевский, — граф Лев Николаевич Толстой в высшей степени много думающий о себе человек. Вокруг его имени поднята шумиха. Стоит Л.Н. написать какой-нибудь пустяк, как читающая публика приходит в восторг, а напиши то же самое кто-нибудь другой, а не Лев Толстой, то на это никто не обратил бы внимания».

В астраханской ссылке Чернышевский усиленно занимался переводами, читал он книги: французские, немецкие, английские, латинские, греческие, но говорить на этих языках не мог. Когда в Астрахань из Лондона приехал корреспондент крупной английской газеты, чтобы увидеть Николая Гавриловича и взять интервью, то ему приходилось объясняться с Чернышевским письменно¹⁹.

Главной работой Чернышевского в Астрахани был перевод с немецкого многотомного сочинения Вебера «Всемирная история». Мой знакомый, который был у Н.Г. переписчиком, рассказывал:

«Занимался Чернышевский иногда по 18 часов. в сутки. Перевод делал так: возьмет сочинение Вебера и начинает мне быстро диктовать по-русски, ни разу не заглядывая в словарь».

К Чернышевскому часто приезжали знакомые, товарищи из других городов. Помню А.Н. Пыпина, Короленко.

Астраханская интеллигенция осаждала Чернышевского, к большому неудовольствию его жены Ольги Сократовны, которая жаловалась, что посетители отвлекают Николая Гавриловича от работы и лишают его необходимого отдыха.

Мне приходилось тайком снабжать Н.Г. Чернышевского газетами, которые он брал читать домой. Ссылным газет давать не разрешалось, а мое начальство — библиотекарь — строго следило, чтобы газеты не уносили из библиотеки. Но я заранее их прятала среди разложенных журналов, а затем передавала Николаю Гавриловичу.

После усиленных хлопот Чернышевскому разрешили переехать на родину в Саратов.

Г. Зо²⁰

Примечания

¹ Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. / Под общ. ред. Ю.Г. Оксмана. Саратов: Сарат. кн. изд-во, 1958—1959. Т.2. С. 267—292; Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников/ Сост. Е.И. Покусаев, А.А. Демченко. М.: Худож. литер., 1982. С. 380—397, 445—448.

² См.: *Попов В.И.* Астраханский период жизни Н.Г. Чернышевского в мемуарных свидетельствах // Вопросы биографии Н.Г. Чернышевского и восприятия его личности в России и за рубежом/ Отв. ред. Н.С. Травушкин. Волгоград, 1979. С. 70—77.

³ Письмо А.А. Демченко к автору настоящей статьи от 12 февраля 2003 года.

⁴ *Бугаенко П.А.* Н.Г. Чернышевский в годы каторги и ссылки. 1864—1888 // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1959. Т.2. С. 17—18.

⁵ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. М., 1978. С. 287.

⁶ *Чернышевская-Быстрова Н.М.* Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: Библиографический указатель // Литературные беседы. Саратов. 1930. Вып. 2. С. 217.

⁷ *Чернышевская Н.М.* Встречи с Н.Ф. Скориковым // Методические рекомендации к спецкурсу «Литературное краеведение»/ Под ред. проф. Н.С. Травушкина. Астрахань, 1971. Вып. 9. С. 38—45.

⁸ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы: Политические воззрения и научная деятельность/ Под ред. проф. Н.С. Травушкина. Саратов, 1983.

⁹ *Свердлина С.В.* Воспоминания Н.Ф. Скорикова о Н.Г. Чернышевском // Методические рекомендации к спецкурсу «Литературное краеведение». Астрахань, 1971. Вып. 9. С. 56.

¹⁰ *Демченко А.А.* Н.Г. Чернышевский: Научная биография: В 4 т. Саратов, 1978—1994. Т.4. С. 229—231.

¹¹ *Скориков Н.Ф.* По поводу воспоминаний о Н.Г. Чернышевском // Исторический вестник. 1905. № 7. С. 132.

¹² *Скориков Н.Ф.* Н.Г. Чернышевский в Астрахани // Исторический вестник. 1905. № 5. С. 476—495.

¹³ *Чернышевская Н.М.* Встречи с Н.Ф. Скориковым // Методические рекомендации к спецкурсу «Литературное краеведение». Астрахань, 1971. Вып. 9. С. 38—45.

¹⁴ Исторический вестник. 1905. № 5. С. 494—495.

¹⁵ См.: *Демченко А.А.* Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Т. 3. Саратов, 1992; *Антонов В.Ф.* Н.Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М., 2000.

¹⁶ Константин Михайлович Фёдоров (1866—1947), автор книги воспоминаний «Н.Г. Чернышевский» (СПб., 1905).

¹⁷ Поволжская правда. 1928. 27 ноября. № 143.

¹⁸ Поволжская правда. 1928. 25 ноября. № 141.

¹⁹ Об этом посещении см.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 168—174.

²⁰ Коммунист (Астрахань). 1928. 24 июля. № 170.

Судьбы ныне забытого и малоизвестного литератора 60-х годов XIX века Ивана Андреевича Баталина (1844—1918) и Н.Г. Чернышевского в некотором смысле схожи. Оба родились в провинции в семьях священнослужителей, получили равноценное образование. Оба были разночинцами, но в то же время представителями разных идейных направлений: И.А. Баталин — консервативного, Н.Г. Чернышевский — демократического. Это свидетельствует о том, что далеко не все разночинцы избирали для себя путь, который предпочел Н.Г. Чернышевский.

И.А. Баталин родился в селе Путугино Мосальского уезда Калужской губернии в семье священника. Первоначальное образование получил в духовном училище, позже поступил в духовную семинарию. В 1864 году отправился в Петербург, где стал студентом Медико-хирургической академии, откуда был уволен по собственному желанию в 1867 году, продолжал обучение на юридическом факультете Петербургского университета. Во время нечестовского процесса в 1871 году выдавал себя за агента тайной полиции. Эта же репутация сохранялась за ним и в дальнейшем¹. По другим сведениям, он не только создавал видимость, но и действительно служил в сыскальной полиции². В письме к А.С. Суворину от 22 апреля 1888 года Н.С. Лесков прямо указывал на то, что И.А. Баталин являлся «шпионом III отделения...»³.

И.А. Баталин эпизодически выступал как театральный и литературный критик, позднее — и как беллетрист, его перу принадлежат очерк «На очереди» и роман «Разрушители». Но основным занятием Ивана Андреевича была журналистика. С 1866 года он начал вести в «Петербургской газете» рубрику «Ежедневная беседа» под псевдонимом Оса⁴. Проработав десять лет в этом издании, И.А. Баталин стал его редактором и оставался на этом посту до 1881 года. В конце 70-х годов он основал собственную газету «Минута»⁵. Газета у публики успеха не имела, но в литературных сферах ею интересовались, так как «Минута» публиковала материалы о разных литературных и журнальных деятелях. За-

нимая пост редактора этого издания с перерывами до 1890 года, И.А. Баталин работал над ежедневным разделом «Минутная беседа», где освещал внутреннее положение в стране, осуждая деятельность революционеров. Он называл себя сторонником И.С. Аксакова и писал, что имеет «слабость и смелость любить отечество более, чем человека вообще...»⁶. Одни считали И.А. Баталина консерватором, другие человеком демократических убеждений. «Действительно, И.А. Баталин последовательно отстаивал в своих критических выступлениях идеалы литературного шестидесятиничества»⁷, — писал В.И. Аксельрод. Статья И.А. Баталина «Тупые стрелы» подтверждает эти слова. Она была напечатана 9 июля 1911 года в «Петербургской газете» и посвящена деятелям Литературного фонда, в который, как известно, входил и Н.Г. Чернышевский.

Публикуемое впервые письмо И.А. Баталина⁸ представляет определенный интерес для изучения идейных направлений в русской журналистике второй половины XIX века. В нем присутствуют сведения о Чернышевском и его влиянии на общество, что позволяет конкретизировать степень и глубину воздействия Николая Гавриловича не только на своих сторонников, но и на людей, входивших «в кружок... идейных противников «Современника».

*Село Кудрино Калуж<ской> г <убернии>
14/VII 1911 <года>*

Милостивый Государь
Михаил Николаевич.

На полученное сегодня от Вас из Петербурга почтенное письмо спешу дать Вам ответ незамедлительно.

Не меньше Вас я был удивлен, когда прочитал в моей статье, будто бы Ваш покойный отец снимался в одной группе с каким-то «Краковским».

Такого литератора я никогда не знал и не знаю, да едва ли он когда-либо и существовал.

Вместо «Краковского» надо читать «Краевского». Опечатка несколько странная, хотя мой почерк, как видите, четкий. В статье моей я имел в виду группу учредителей литературного фонда, не-

давно помещенную, по случаю его юбилея, во многих изданиях⁹. Там Н.Г. Чернышевский, как Вам конечно известно, снят вместе с [И.С.] Тургеневым, [И.А.] Гончаровым, [Д.В.] Григоровичем, [Е.П.] Ковалевским¹⁰ и [П.В.] Анненковым¹¹.

Кажется и там же [А.В.] Дружинин и [А.Ф.] Писемский¹² (на даче под рукой у меня этой группы нет).

На [А.А] Краевского и [А.Ф.] Писемского я налегнул, потому что в ту эпоху их цвет был совсем иной, чем руководителей «Современника».

Но я хотел отметить и ту именно корректность, которой отличался вождь «Современника» даже в отношении «антиподов».

Надо Вам сказать, что мне от роду уже 67 лет. И если мне лично не пришлось встретить в Петербурге Н<иколая> Г<авриловича>, и так как я приехал в П<етербург> для поступления в Мед<ико> Хир<ургическую> Академию лишь в 1864 г<оду>, то наше студенчество жило и дышало в атмосфере разрознившейся перед этим грозы.

Интересом к Н<иколаю> Г<авриловичу> Ч<ернышевскому> и [Н.А.] Добролюбову я наэлектризован был еще и ранее, и так как будучи сам сыном священника, естественно я вместе с<о> всеми семинаристами, а также и молодыми тогдашними преподавателями чувствовал в этих лицах какой-то центр притяжения для юных симпатий.

Потом в студенческой среде эта притягательная сила усугубилась.

Наконец, вступив на журнальное поприще еще в 60-х годах, я попал сразу в кружок именно идейных противников «Современника», в так называемый «милюковский» (Ал<ександр> Петр<ович>)¹³ кружок¹⁴, где собирались: Ап. [Н.] Майков, Ф. [М.] Достоевский, Вс. [В.] Крестовский¹⁵, [Н. С] Лесков, [Ф.К.] Богушевич¹⁶, Гр.[П.] Данилевский¹⁷, Ф. [Н.] Берг¹⁸ и др<угие>.

Но, будучи ежедневным собеседником А.П. Милюкова, близкого приятеля М.И. Михайлова и [Н.В.] Шелгунова, у которых он переснял квартиру на Офицерской (д. № 18), я часто слышал рассказы о Н.Г. Чернышевском именно как о человеке сдержанном и умевшем относиться к личности идейного противника с вниманием и уважением, если то был противник честный.

Сохранился в моей памяти рассказ об одном... где сошлись писатели разных направлений и где именно Н.Г. <Чернышевский> проявил эту черту.

Вот что я и вспомнил вскользь в моей статейке «Тупые стрелы», где фамилию А.А. Краевского перекрестили в несуществующего Краковского.

Надеюсь, что ответ этот удовлетворяет Ваше вполне естественное любопытство.

И за сим прошу принять уверение в моем глубочайшем уважении.

И.А. Баталин

P.S. В моих воспоминаниях, если Вас это интересует, сохранился нигде не опубликованный (вероятно, он умрет со мной) инцидент, в котором лично Н<иколай> Г<аврилович> Ч<ернышевский> хотя и не участвовал, но имя его... связано с этим происшествием.

Если Вы помните приговор по делу [Д. В.] Каракозова¹⁹, то там говорится о саратовском студенте [Н.П.] Страндене²⁰, осужденном за «преступный» умысел освободить Чернышевского (кажется, так!)²¹, а впоследствии судился и пострадал за такое же деяние [И.Н.] Мышкин.

Но нигде в исторических журналах я не встречал рассказа об организации, которая возникла еще раньше, именно весной 1865 года, в Жиздринском уезде Калужской губ<ернии> для цели освобождения Вашего отца²².

Тогда я был студентом 1-го курса, 20 лет от роду, и от политических деяний стоял далеко и из этого далека... многое, что понял лишь впоследствии.

Могу сказать одно, что идея освобождения обаятельного писателя-публициста зрела в умах людей с весьма солидным общественным положением и еще более солидными средствами.

А так как лица, участвовавшие в затее организации (по крайней мере, некоторые) здравствуют доныне, то без их разрешения опубликовать этого исторического материала я не решался и не решусь. Покойный Л. [Е.] Оболенский²³ лучше меня мог бы эту историю что рассказать (так написано И.А. Баталиным. — *Е.М.*), но и он ей не воспользовался.

Между тем она осветила бы, если же биография Вашего отца достаточно выяснена множеством материалов, но все же бросила бы лишний луч света на отношения лучшей провинциальной молодежи к несправедливому и жестокому осуждению любимца общества.

И<ван> Б<аталин>

Мой адрес:

Ст<анция> Кудринская, Калуж<ской> губ<ернии> Моск<овско> — Киев<ско> — Вор<онежской> ж<елезной> д<ороги> село Кудрино.

С 1-го Сентября: Петербург, Редакция «Пет<ербургской> Газеты».

Примечания

¹ Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. В 4 т. М., 1889. Т.1. С.173

² Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых: В 6 т. Т. 2. Вып. 22—30. СПб., 1891. С. 220.

³ Лесков Н.С. Собр. соч. В 11 т. Т. 11. М., 1958. С. 384.

⁴ «Петербургская газета» — ежедневная газета, принадлежавшая к так называемой «малой прессе». Основана в 1867 году И.А. Арсеньевым. С 1879 по 1893 год редакторами «Петербургской газеты» были И.А. Баталин, П.А. Монтеверде, А.К. Гермониус. С 1859 года к «Петербургской газете» бесплатно прилагается журнал «Наше время». В числе сотрудников газеты вниманием публики пользовались Н.С. Лесков, А.А. Плещеев, В.С. Баскин.

⁵ «Минута» — газета из разряда «мелкой прессы» издавалась в Санкт-Петербурге. В 1890 году переименована в «Русскую жизнь».

⁶ Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь: В 4 т. М., 1889. Т.1. С. 173.

⁷ Аксельрод В.И. Это не Бунин // Русская литература. 1974. № 3. С. 220.

⁸ Письмо И.А. Баталина адресовано М.Н. Чернышевскому и хранится в коллекции его писем ГМУЧ О.Ф. № 7347/3846.

⁹ Речь идет о 50-летнем юбилее Литературного фонда, который был образован 8 ноября 1859 года по инициативе А.В. Дружинина. Его полное название «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Деятельность Литературного фонда, начавшуюся с назначения пенсии семье В.Г. Белинского, осуществлял выборный комитет, работавший безвозмездно; отчеты его публиковались в печати (см.: «Биржевые ведомости», 30 декабря 1914 года; «Речь», 28 декабря 1914 года; «Русские ведомости», 28 декабря 1914 года). В разные годы в комитете участвовали многие крупные писатели, большую роль в его деятельности сыграли В.Г. Короленко, Н.Ф. Анненский. Литературный фонд просуществовал до 1918 года.

¹⁰ Ковалевский Егор Петрович (1811—1868) — известный путешественник, писатель, участник обороны Севастополя. В 1861 году в чине генерал-лейтенанта был назначен сенатором и членом совета министерства иностранных дел. С 1856

по 1862 год являлся помощником председателя императорского географического общества. Ковалевский — один из основателей Литературного фонда и до самой смерти его бессменный председатель. Напечатал в журналах под псевдонимом Нил Безмянный и Е. Горев ряд произведений: «Фанариот», «Петербург днем и ночью», «Мариоша», «Век прожить — не поле перейти».

¹¹ На фотографии 1859 года изображены следующие члены первого комитета Литературного фонда: А.В. Никитенко, А.А. Краевский, Е.П. Ковалевский, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.Д. Галахов, С.С. Дудышкин, Е.И. Ламанский, А.П. Заболоцкий, Десятовский, П.В. Анненков, Н.Г. Чернышевский, А.В. Дружинин. И.А. Гончаров и Д.В. Григорович на этой фотографии не присутствуют, поскольку они не входили в первый комитет Литературного фонда. В. Короленко писал, что лишь «впоследствии в комитете или фонде участвовали Ф.М. Достоевский, А.Ф. Писемский, И.А. Гончаров...» (см.: «Русское богатство». 1909. № 11. С. 167—168).

¹² Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881) — писатель. На фотографии первого комитета Литературного фонда он не изображен, поскольку не являлся его членом.

¹³ Милюков Александр Петрович (1817—1897) — историк литературы. В 1847 году издал книгу «Очерки русской поэзии», которая принесла ему известность. Работал в критическом отделе «Библиотеки для чтения», в 1860 году стал редактором и одним из ведущих авторов журнала «Светоч». В 1862 году вместе с Всев. Костомаровым издал «Историю литературы древнего и нового мира». А.П. Милюков был знаком с Н.Г. Чернышевским по кружку И.И. Введенского (см.: Милюков А.П. Вечера у И.И. Введенского // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Саратов, 1958. Т.1. С. 106—108). Он привлекался по делу М.В. Петрашевского как приятель многих русских фурьеристов, но от суда был освобожден.

¹⁴ С 1860 года у А.П. Милюкова по вторникам собирались литераторы. Кроме перечисленных И.А. Баталиным у него бывали Н.Н. Страхов, Е.Н. Опочинин, В.П. Авенариус, Д.Д. Минаев, А.А. Радонежский. Присутствовавшие на «вторниках» занимались тем, что «усердно читали французов, политические и социальные вопросы были у них на первом плане и поглощали чисто художественные интересы» (цит. по кн.: Шестидесятые годы. М.-Л., 1940. С. 239). «Горячие речи о малых вещах», говорил Ф.М. Достоевский о собраниях у А.П. Милюкова.

¹⁵ Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895) — писатель. Родился в дворянской семье. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где познакомился с Д.И. Писаревым, который помог ему устроиться в «Русское слово». В 1882 году В.В. Крестовский стал главным редактором офицозного «Варшавского дневника». Автор романа «Петербургские трущобы».

¹⁶ Богушевич Франциск Казимирович (1840—1900) — белорусский поэт. Родился в семье обедневшего дворянина. В 1861 году окончил гимназию и поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет, откуда был исключен за участие в студенческих «беспорядках». Формирование общественных и литературных взглядов Ф.К. Богушевича происходило под влиянием идей Н.Г. Чернышевского и Н.А. Некрасова. Ф.К. Богушевича принято считать одним из основателей реалистического направления.

¹⁷ Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель. С 1869 по 1890 год был редактором газеты «Правительственный вестник». Литературная известность пришла к нему после публикаций в журнале «Время» романов «Беглые в Новороссии» и «Воля» под псевдонимом А. Скавронского.

¹⁸ Берг Федор Николаевич (1839—1909) — поэт, прозаик, переводчик, журналист. Публиковался под псевдонимом Боев. Из дворянской семьи обрусевших немцев, сын капитана в отставке. С 11 лет воспитывался в Воронежском кадетском корпусе, где увлекался историей и словесностью. Впервые выступает в печати в 1859 году с лирическим стихотворением «Утро» и переводом стихотворения Г. Гейне «Ночь... Дорога незнакома». С 1860 года по рекомендации А.Н. Плещеева публикуется в журналах «Современник», «Эпоха», «Время». В 1861 году подвергся аресту и заключению в Петропавловскую крепость по подозрению в сочувствии студенческим волнениям, а также по «костомаровскому делу». С 1874 года фактический, а затем и официальный редактор — издатель газеты «Русский мир». В «Милоковском кружке» к нему относились как к одному из «тогдашних охранителей, всегда чем-нибудь возмущавшихся». (см.: *Опочинин Е.* Беседы с Достоевским // Звенья. М.-Л., 1936. Т.6. С. 472). Ф.Н. Берг являлся членом «Союза русского народа» и других монархических организаций.

¹⁹ Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866) — дворянин саратовского происхождения. В 1835 году вступил в революционный кружок, руководимый его двоюродным братом Н.А. Иштутиным. 4 апреля 1866 года совершил покушение на Александра II, за что был приговорен Верховным Уголовным Судом к смертной казни через повешение. Приговор привели в исполнении 3 сентября 1861 года на Смоленском поле в Петербурге. После покушения Д.В. Каракозова последовал разгром иштутинского кружка и была закрыта редакция журнала «Современник».

²⁰ Странден Николай Петрович (1843—18(?)) — деятель революционного движения, проходил по делу Д.В. Каракозова как его «ближайший сообщник».

²¹ Н.П. Странден действительно принимал участие в разработке и осуществлении плана освобождения Н.Г. Чернышевского. Но обвинялся он в том, что знал о намерениях Д.В. Каракозова и не помешал ему, а также в причастности к тайной революционной организации «Ад». (Подробнее об этом см.: Покушение Каракозова: В 2 т. Т. 1. М., 1928. С. 116—130).

²² Эта организация упоминается в протоколах допросов людей, проходивших по делу Д.В. Каракозова. (см.: Покушение Каракозова: В 2 т. Т. 2. М.-Л., 1930. С.130).

²³ Оболенский Леонид Егорович (1845—18(?)) — философ, публицист, критик. Поселившись в 1878 году в Санкт-Петербурге, начинает издавать журнал «Свет», переименованный в 1881 году в «Мысль». В 1883 году Л.Е. Оболенский приобрел в собственность «Русское богатство» и занимался его изданием до 1891 года, одновременно редактируя ряд сочинений по философии: Фулье, Кирхман, Герфдинг. Л.Е. Оболенский со своей семьей (женой Е.К. Оболенской и ее отцом Маликовым) принимал участие в попытке освобождения Н.Г. Чернышевского, являлся участником революционной организации И.А. Ишутина — И.А. Худякова (см.: *Троицкий Н.А.* Восемь попыток освобождения Н.Г. Чернышевского // Вопросы истории. 1978. № 7. С. 127—128).

О. Он
(Япония)

Вы верите в спиритизм? Вы верите в возможность общения с духами мертвых людей? Если говорить о спиритизме (т.е. о веровании в возможность необычайных проявлениях духов в материальном мире) вообще, то его возникновение относится к глубокой древности. И даже у нас в Японии существуют аналогичные верования. Например, «Итако» — обычно старая, слепая женщина — профессиональный медиум, которая «владеет» способностью общаться с мертвыми. Каждый год тысячи туристов посещают гору Итако, чтобы побеседовать с покойными родственниками. А еще есть «Коккури-сан», который в семейном кругу помогает общаться с духами. Это дух лисы, который, когда его вызывают, указывает буквы на столе. Раньше Коккури-сан была популярной игрой у японских детей. Но потом ее запретили в школе, потому что иногда дети впадали в состоянии опасного транса.

Но вернемся к основному вопросу. Спиритизм как таковой возникает в XIX веке и получает широкую популярность в Америке и Европе после того, как сестры Фокс в 1848 году в Нью-Йорке заявили, что они могут разговаривать с духами. Вскоре один за другим начинают появляться медиумы. Спиритизм быстро был перенесен из Америки в Европу, включая Россию, и распространился при дворе Александра II. Хорошо известно, что Александр II увлекался спиритизмом. Об этом, например, свидетельствует дневник Анны Тютчевой, старшей дочери поэта Ф.И. Тютчева¹.

В 1853 году Анна Тютчева была назначена фрейлиной цесаревны Марии Александровны, жены будущего царя, и с тех пор в течение 13 лет, она как воспитательница царских детей была очень близка семье Александра II. Ее дневник наполнен сообщениями об интересных событиях, которые живо отражают атмосферу придворного общества. Среди них больше всего нас интересует появление английского спирита Даниэла Юма при дворе русского императора.

Имя Юма (Daniel Dunglas Home: несмотря на то, что его имя пишется «Home», произносится «Hume»). Отсюда ошибка Герцена и редактора его собрания сочинений) довольно известно среди любителей спиритизма. Юм родился в 1833 году в Шотландии. С детства он проявил особую сверхъестественную способность: мог общаться с духами, слушая стук стола. Когда он спрашивал у духов на спиритическом сеансе, духи отвечали на его вопросы стуками — один стук означал «да», три стука — «нет» и т.д. Впоследствии Юм объездил Америку, Голландию, Францию и приехал в Россию. Когда Юм прибыл в Россию, он был уже известным медиумом и мог не только слышать, но и читать указанные духами буквы, вращая стол².

Впервые в дневнике Анны Тютчевой фамилия «Юм» появилась в записи от 10 мая 1858 года: «Приезд Юма-столовращателя». По словам Анны, состоялся сеанс в Большом дворце в присутствии двенадцати лиц, включая императора Александра II, императрицы, императрицы-матери, великого князя Константина, наследного принца Вюртембергского, графа Шувалова, графа Адлерберга, Алексея Толстого, Алексея Бобринского, Александра Долгорукой и А. Тютчевой. «Колдун» сидел между императрицей и великим князем Константином. Появившиеся «духи» производили стуки в различных углах комнаты, отвечали на вопросы стуками и против Анны «навсегда сохранили зуб», выгнали ее в соседнюю комнату. Отсюда она слышала, как «стол поднялся на высоту полуаршина над полом». Анна «не сомневалась в том, что сами черти игриво забавляются»³. «Между тем Юм и его духи имели такой огромный успех, что сеанс был повторен на другой день у великого князя Константина в Стрельне; кроме того, состоялось еще много сеансов, которыми страстно увлекся государь»⁴.

После того как Александр II вернулся из путешествия в Москву, которое он совершил вместе с некоторыми из указанных выше лиц, Юм тоже возвратился в Петербург «со своими вертящимися столами и стучащими духами» 2 ноября⁵. Опять состоялось несколько сеансов. Одни верили в сверхъестественное явление, другие — нет. Возник спор. Привидения и магнетизм (т.е. гипноз) стали любимыми темами разговора в кругу императрицы⁶.

А сама Анна теперь не так увлекалась Юмом и его духами, как раньше. Она стала думать, что «иметь с ними дело — грех, а еще более — безумие, потому что они хотят отвлечь нас от Бога»⁷.

Несмотря на такое убеждение, ей было очень трудно преодолеть любопытство и не посещать сеансы Юма, которые продолжались у императора. Там «духи» стучали, и некоторые присутствующие чувствовали их прикосновения. Хотя Анна не отрицала явлений таинственных прикосновений и стуков, она уже видела в них «странную смесь глупости и чего-то сверхъестественного», и отдельные «скептики» уже объясняли их «магнетической силой» т.е. гипнозом⁸. Некоторые начали сомневаться. Так, на одном бале, 9 ноября речь зашла об этом, и объяснялось это явление «магнетическим действием, но не действием духов»⁹. Повидимому, сам Юм заметил такую атмосферу сомнений и недоверия и написал графу Бобринскому, что «потерял свою способность» и что «до нового года он не в состоянии будет давать сеансов»¹⁰.

Наступил новый год. 4 января 1859 года император пригласил А. Тютчеву на сеанс Юма, который состоялся в комнатах, находящихся против комнат императора. Несмотря на то что императрица уже не одобряла сеансов Юма и не хотела присутствовать на них, увлечение у императора, кажется, сохранялось. На сеансе А. Тютчева видела, как стол поднимался над землей и как аккордеон «невидимой рукой» играл церковные напевы, и т.д. Но все-таки она заметила, что «черт» «пользуется своим искусством только для того, чтобы говорить общие места и делать плоские замечания, никогда не говорит о грядущем, ни о мире духов, ни о будущей жизни» и т.д. Она «ничего не слышала чего-нибудь, заслуживающего внимания, в откровениях этих духов»¹¹.

Как мы видели, при дворе отношение к спиритизму было разным. А общественность к этому явлению относилась тоже по-разному. Например, Н.Г. Чернышевский дал более резкую оценку, чем «скептики», и попытался логически отрицать сверхъестественные способности Юма.

В статье «Антропологический принцип в философии» (1860) он утверждает, что «г. Юм, наделавший у нас в Петербурге такого шума года два тому назад своими фокусами, — действительно

только фокусник, а не может в самом деле знать будущего, знать тайн, которых ему не сказывали, читать книг и бумаг, которые не находятся у него перед глазами»¹². Потому что «если он мог знать будущее, он был бы сделан дипломатическим советником при каком-нибудь дворе и рассказал бы министерству этого двора все, что произойдет в данных случаях»¹³. Говоря о Юме, Чернышевский еще раз повторяет, «если бы он мог читать книги, не находящиеся у него под глазами, тогда правительство и ученые общества не стали бы посылать ученых на Восток отыскивать древние рукописи, а обратились бы с просьбой к нему, и он из Парижа прочел бы и продиктовал бы им какого-нибудь неизвестного нам теперь древнего греческого писателя». Но «этого нет, г. Юм и его собратья по искусству не открыли ровно ничего ни дипломатам, ни ученым», хотя «это было бы для них и несравненно выгоднее и несравненно почетнее фокусничества». Отсюда Чернышевский делает вывод, что «они не имеют той способности, которую приписывают им легионеры»¹⁴.

Несмотря на то, что Н.Г. Чернышевский, таким образом, серьезно подходит к плутовству Юма, для А.И. Герцена, имеющего опыт увлечения мистицизмом, появление Юма в придворном обществе, по-видимому, служило только предметом насмешки. Например, в письме И.С. Тургеневу от 24 мая 1860 года Герцен шуточно пишет: «Меня спрашивала о тебе Юмша»¹⁵. Под именем «Юмша» он имеет в виду свояченицу графа Г.А. Кушелева-Безбородко, на которой был женат Юм¹⁶.

К сожалению, Герцен был лишен непосредственной информации о Юме. В короткой статье в «Колоколе» от 1 октября 1865 года А.И. Герцен спрашивает у читателей: «Правда ли, что у нас в Петербурге спиритизм цветет, что сам государь беседует с Юмом, который его растрогал раз до слез?»¹⁷

В 1867 года Герцен в статье «Августейшие путешественники» так же упоминает о Юме и смеется над этой страстью императора¹⁸. В следующем году еще раз в статье Герцена мы встречаем шуточное определение «юмопатия» так он называет увлечения людей, которые верят в Юма¹⁹.

Кстати, интерес Герцена к Юму продолжался недолго. В письме Герцена Н.П. Огареву от 7 мая 1868 года мы встречаем очень

короткое и последнее упоминание по поводу Юма: «О Юме читал»²⁰. Комментатор собрания сочинений Герцена считает, что здесь речь идет о процессе Юма. Об этом процессе писалось в «Голосе». Дело в том, что в 1868 году в Англии во время сеансов Юм внушил одной женщине, что он является ее сыном, и обобрал ее²¹.

Еще до этого события началось трудное время для Юма. Конкуренция между медиумами стала более серьезной. Спиритизм в Европе вышел на новый этап. Даже в 1871 году некоторым удавалось вызвать духов и из них материализовать человеческие фигуры. Юму пришлось не только разговаривать с духами при помощи стуков и вращающегося стола, невидимой рукой звонить в колокольчик, играть на аккордеоне, но и удлинять свою руку, хватать горящий уголь и летать по воздуху. Но, как известно, чем масштабнее фокусы, тем очевиднее их механизм. Проведение сеансов стало более рискованным для медиумов. В 1871 году Юм вторично вступил в брак, его женой стала Julie de Goumeline из семьи Аксакова. Богатство Аксаковых, хотя не все, но уже оказалось в его распоряжении. Отпала необходимость рисковать при проведении сеансов. Поэтому в том же году он объявил, что прекращает свою деятельность как медиум и перестает проводить сеансы²².

Независимо от отставки Юма интерес к спиритизму со стороны общества сохранился и даже возрос. Некоторые пытались объективно обосновать природу спиритизма, а другие рассматривали его как плутовство. Уже в 1870 году в Англии физик William Crookes начал ряд экспериментов по изучению сеансов Юма и опубликовал свои выводы об их подлинности²³. А в России Д.И. Менделеев обратился к физическому обществу при С.-Петербургском университете с предложением образовать комиссию для исследования спиритических явлений и потом опубликовал в газете «Голос» статью, в которой оценил спиритизм как суеверие.

Здесь важно не разоблачение Юма, а разъяснение социологических причин популярности спиритизма и определение для него соответствующего места в контексте истории.

Сегодня мы привыкли считать, что вторая половина XIX века — время позитивизма, время рационализма. Исходя из этого,

эксперименты Менделеева можно считать выражением духа времени. Ученый смело попытался объяснить сверхъестественные явления с помощью естественных наук. Но при этом нужно отметить, что большинство интересующихся спиритизмом людей воспринимали его по-другому. Они не относились к нему с позиции научной объективности. Так что же — они просто случайно начали интересоваться новым явлением, поверили, обманулись?

Наверное, ответ на этот вопрос должен быть — «нет». Потому что спиритизм не распространялся бы так широко без традиции мистицизма 40-х годов. Спиритизм является вместе с мистицизмом одним из вариантов иррационализма. Без понимания спиритизма в контексте традиции русского иррационализма невозможно понять значение распространения спиритизма в русском обществе во второй половине XIX века. Надо его исследовать в контексте традиции русского иррационализма. К сожалению, пока очень мало серьезной литературы посвящено спиритизму, который имеет большое значение в исторической философии. Изучение это только начинается. Но необходимо подчеркнуть важность этой проблемы. Ведь, к примеру, можно отметить влияние спиритизма на формирование мировоззрения В.С. Соловьева²⁴. Однако тщательный анализ этого влияния — уже тема другого исследования.

Примечания

¹ Тютчева А. Воспоминания. М., 2000. Текст печатается по двухтомному изданию: Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1928—29.

² См.: Trevor H. Hall. The ENIGMA of DANIEL HOME, 1984. New York: Prometheus Books

³ Тютчева А. Указ. соч. С. 284.

⁴ Там же. С. 286.

⁵ Вместе с Александром II были: граф Шувалов, граф Адлерберг, Принц Вюртембергский и А. Тютчева (там же, с. 309).

⁶ Там же. С. 309

⁷ Там же. С. 310.

⁸ Там же. С. 311.

⁹ Там же. С. 314

¹⁰ Там же. С. 314.

¹¹ Там же. С. 321—323.

¹² Чернышевский Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1974. Т. 4. С. 224.

¹³ Там же. С. 224—225.

¹⁴ Там же. С. 225.

¹⁵ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1974. Т. 27. С. 52.

¹⁶ Там же. С. 599.

¹⁷ Там же. Том 28. М., 19 С. 432.

¹⁸ Там же. Том 19. М., 19 С. 281.

¹⁹ Там же. Т 19. М., 19 С. 451.

²⁰ Там же. Т 29. М., 19 С. 334.

²¹ Там же. С. 698.

²² См.: *Gordon Stein*. The SORCERER of KINGS. New York: Prometheus Books, 1993. P. 74.

²³ Notes of an Enquiry into the Phenomena Called Spiritual // Quarterly Journal of Science, January 1874.

²⁴ В августе 1875 года Соловьев подошел к выводу по поводу спиритизма, что они «шарлатаны с одной стороны, слепые верующие — с другой» (письмо к кн. Д.Н. Цертелову от 22 августа 1875 года // В.С. Соловьев. Собр. соч.: В 3т. СПб., 1970, Т 2. С. 228.

Некрасов в письмах Евгении Николаевны Пыпиной о Чернышевском

Б.В. Мельгунов

Письма Е.Н. Пыпиной к родным Н.Д. и А.Е. Пыпиным из Петербурга в Саратов, содержащие ценные сведения о Н.Г. Чернышевском в пору его заключения в Алексеевском равелине, дошли до нас не в полном объеме. Первая часть этих писем со дня ареста Чернышевского 7 июля до начала октября 1862 года, конспиративно посылавшаяся вместе с письмами студента В.И. Лунина к матери, очевидно, утрачена¹. Сохранившиеся письма, которые охватывают период с октября 1862 до начала июня 1864 года, опубликованы Н.М. Чернышевской² фрагментами в той их части, которая непосредственно относится к процессу над Чернышевским и связям узника с семьей и родными (первая публикация) и к истории книжного магазина Н.А. Серно-Соловьевича и издания газеты «Очерки» (вторая публикация). В текстах обеих публикаций содержатся ценные сведения о Некрасове — редакторе «Современника» и об участии его в заботах о материальном положении Н.Г. Чернышевского и его семьи, до сих пор практически не учитываемые в некрасоведческих исследованиях. Знакомство с подлинниками писем Е.Н. Пыпиной к родным, хранящимися ныне в Российском государственном архиве литературы и искусства³, позволяет обнаружить некоторые дополнительные материалы о Некрасове, не попавшие в указанные публикации Н.М. Чернышевской. В настоящей работе я попытаюсь с максимальной полнотой воспроизвести отражение деятельности Некрасова в письмах Е.Н. Пыпиной.

Евгения Николаевна Пыпина (1835—1909), боготворившая своего двоюродного брата Н.Г. Чернышевского [их матери были родными сестрами и жили семьями в одном доме в Саратове (ныне Дом-музей)], с юных лет формировалась под влиянием идей Чернышевского и присылавшегося в Саратов журнала «Современник». С приездом в Петербург с родной сестрой Полиной в 1860 году «Евгеньичка», как называл ее Чернышевский, познакомилась с основными сотрудниками «Современника» и прониклась

глубоким уважением к ним⁴. Петербургская квартира Пыпиных была на одной площадке с квартирой М.А. Антоновича. Естественно, что любимым поэтом Евгении Николаевны был Некрасов. Одна из сестер (Евгения или Полина) впоследствии рассказывала саратовскому краеведу Ф.В. Духовникову: «Помню, что в первый раз я узнала „Парадный подъезд“ от Николая Гавриловича, который с большим чувством продекламировал его нам с сестрой во время переезда поздним уже вечером в Саратов из Пристанного, где мы были вместе с ним у В.Д. Чеснокова. Николай Гаврилович очень взволновал нас этим стихотворением, и я до сих пор не могу забыть всей яркости полученного впечатления. „Парадный подъезд“ был только что написан»⁵.

Лето 1862 года Некрасов, оставив дела по выпуску очередных номеров «Современника» Чернышевскому, проводил в только что приобретенной им Карабихе. Узнав о правительственном решении приостановить выпуск журнала на восемь месяцев из письма Чернышевского от 19 июня, поэт вопреки совету своего соредактора⁶ в начале 20-х чисел июня вернулся в Петербург. По данным негласного наблюдения III отделения в эти дни до ареста Чернышевского (7 июля 1862 года) Некрасов восемь раз посетил Николая Гавриловича⁷. В начале августа Некрасов уехал в Карабиху.

«Вскоре после этого, еще до возвращения Некрасова в Петербург, — вспоминает М.А. Антонович, — до нас, второстепенных сотрудников „Современника“, дошли неприятные вести или слухи, исходившие, по-видимому, из самых достоверных источников. По этим слухам Некрасов в бытность свою проездом в Москве уверял своих московских приятелей, что, хотя ему и жаль Чернышевского, но он очень рад, что хоть таким неприятным путем избавился от него и от того ярма, в котором держал его Чернышевский, самовольно и самоуправно распоряжавшийся в журнале. Этот слух сообщил мне Г.З. Елисеев и при этом высказал уверенность, что Некрасов, если даже и будет продолжать издание „Современника“, то в ином направлении и уж ни в каком случае не пригласит в журнал никого из бывших своих сотрудников. Поэтому он предложил мне принять участие в редактировании

вместе с ним новой газеты „Очерки“, которую решился издавать Очкин, бывший арендатор „С-Петербургских ведомостей“».

Сейчас нет нужды доказывать, что «слух», о котором вспоминает Антонович, был явной клеветой врагов редактора «Современника». Однако и история с «Очерками» излагается Антоновичем неточно. Евгения Николаевна Пыпина, принимавшая участие в организации переговоров о составе редакции этой газеты, оставила нам свидетельство о самой ранней стадии этих переговоров (письмо к родным от 9 октября 1862 года): «Некр<асов> вчера приехал и тут же в 9 часов утра прислал за Ант<оновичем>. Тот сейчас же пришел к нам. „Хоть вы, — говорит, — и не можете дать мне совета, а все-таки иду спрашивать, что мне делать“. Он накануне был у одного господина Очкина, который предлагает ему сотрудничество по газете „Очерки“, которую будет редактировать Елисейев, писавший внутр<еннее> обзор<ение> в „Соврем<еннике>“. Вероятнейшим образом надо было ждать от Некр<асова> различных предложений, и вот он не знал, как ему быть с этим. Вы знаете, что дела иметь с Некр<асовым> они не желают. Ант<онович> не вдруг оправился, но вечером опять получает настоятельнейший зов. Видно было по записке уже несколько встревоженное состояние духа. А между тем Ант<онович> потому и не шел, что хотел напустить на Некр<асова> одного господина, который должен был объяснить все причины неудовольствия на Некрасова этих господ. На другой день присылает Некр<асов> за Сережей (С.Н. Пыпиным. — *Б.М.*) Оказалось, что Ант<онович> не дал ему никакого положительного ответа на предложения по изданию «Совр<еменника>» и насказал много кой-чего. Некр<асов>, конечно, оправдывался от всех обвинений, говоря, что у него мало друзей и много врагов, которые вот и повредили ему, и что если откажется Ант<онович>, то он не будет издавать «Совр<еменник>». Чем они кончат, бог знает, но Ант<онович> затрудняется один принять это дело даже мимо всех этих дрызг» (*Чернышевская Н.*, с. 388).

В этом же письме сообщается о возвращении денег, изъятых при аресте Чернышевского, и желании Николая Гавриловича передать свой дом в Саратове в собственность его жены (*подлинник, л. 25*).

Письма Евгении Николаевны оказываются единственным источником сведений о недошедшей до нас переписке Чернышевского из крепости с Некрасовым и хлопотах поэта об улучшении материального положения узника и его семьи. Привожу фрагмент ее письма от 16 октября 1862 года, опубликованный Н.М. Чернышевской с небольшими купюрами, которые восстанавливаю мною в угловых скобках:

«Недавно Некр<асов> получил от Н<иколи> письмо, в котором тот просит его разузнать, посылались ли его жене деньги? Судя по ее письмам, он думает, что до 23 сентября по крайней мере она не получила ничего. Некрасов сейчас же явился узнать об этом, и ему сказали, что отослано было 1000 р. Он отписал это Н<иколе> и говорил, что если нужно, то он пошлет еще. <Эта мадам не знает и не подозревает, кажется, что Некр<асову> тут не нужно бы мешать.> (подлинник, л. 28 об.) Он считает на них долгу тысяч 14, хоть и говорит, что, конечно, он упоминает об этом долге совсем не с тем, чтобы считать его за ними...» (Чернышевская-Быстрова, с. 301).

Заботы Некрасова не ограничивались вопросом о деньгах. Судя по письму Пыпиной от 23 октября 1862 года, он встречался с управляющим III отделением полковником А.Л. Потаповым с целью максимально улучшить условия содержания Чернышевского в крепости и сообщил о результатах этой встречи его петербургским родственникам.

О Н.Г. Чернышевском, сообщает в этом письме Евгения Николаевна, «только и имеем сведений, что содержится в чистой, светлой, сухой комнате (это говорил Потапов Некрасову), и ему не нужно ничего, т.е. из домашних вещей» (Чернышевская-Быстрова, с. 301).

24 октября 1862 года Некрасов представил в С.-Петербургский цензурный комитет для разрешения к печати объявление о возобновлении издания «Современника» «по истечении осьми месяцев остановки»⁹. Текст объявления содержал дерзкое заявление редакции о возвращении «к делу» «с решительностью и полной надеждой сохранить в журналистике положение самостоятельное и независимое»¹⁰. Сложная цензурная история этого объявления, разрешенного к печати в совершенно обезличенном виде лишь 7

ноября 1862 года, изложена в моих комментариях к названным текстам (объявление и прошение) в академическом издании сочинений Некрасова. В своем письме к родным, которое Н.М. Чернышевская датирует «около 1 ноября», Евгения Николаевна обнаруживает замечательную осведомленность в движении этого дела и внутриредакционных проблемах: «Дело „Современника“ в таком положении: так как на „Очерки“ уже подана какая-то бумага, вроде доноса, вследствие того, что редактируют Елисеев и Ант<онович> (имена довольно страшные некоторым господам), то Нек<расов> просил Сашу (А.Н. Пыпина. — Б.М.) дать свое имя в противовес к имени Ант<оновича> для «Соврем<енника>», чтобы таким образом ввести несколько примиряющий элемент и не показаться страшным. Его объявление об издании цензурный комитет (в урезанном виде, хотя там ничего особенного не было) представил Головнину, но тот не решился своей властью разрешать его, и оно пошло дальше в Совет министров, кажется» (*Чернышевская-Быстрова, с. 389*).

Сообщая в следующем письме от 5 ноября 1862 года (день, когда С.-Петербургский цензурный комитет представил министру А.В. Головнину текст объявления, урезанный до нескольких слов, по выражению Евгении Николаевны) о благоприятном влиянии имени А.И. Пыпина в объявленном составе редакции на цензурное ведомство, Пыпина заключает: «Что такое будет этот «Соврем<енник>» — трудно сказать» (*Чернышевская-Быстрова, с. 390*).

Другая часть этого письма, касающаяся материальной помощи семье Николая Гавриловича, попала в первую публикацию Н.М. Чернышевской. Размеры этой помощи не удовлетворяли Ольгу Сократовну, и она не скрывала свое недовольство от супруга, заражая его чувством обиды. Посредником Некрасова в сношениях с семьей Чернышевского в Саратове был Сергей Николаевич Пыпин, тоже необъективно информировавший жену Николая Гавриловича, И, кажется, только Евгения Николаевна, активно участвующая в этих переговорах, оказывается способной смотреть на вещи прямо. В названном письме она сообщает:

«Я вам писала уже, что денег, принадлежащих Н<ико-лаю> Г<авриловичу>, в редакции нет, и если О<льга> С<ократовна>

будет теперь получать отсюда деньги, то это собственные деньги Некрасова — Некрасов просил Сережу написать ей об этом, и, может быть, с его слов писал Сережа, только я не совсем осталась довольна его письмом. Он говорит, что дела редакции теперь в большом расстройстве, денег там нет и что поэтому на получение денег оттуда рассчитывать нельзя, что Некрасов будет высылать ей ежемесячно 150 рублей с<еребром> из своих денег.

Мне досадно показалось то, что Сережа не сказал ей, что на них в редакции только долг. Она сама писала Н<иколаю> Г<авриловичу>, что Некрасов такой человек, что она не желала бы, чтобы Н<иколай> Г<аврилович> имел с ним дело. Как бы она отзывалась о нем теперь? Стороной, но совершенно от верных людей мы слышали, что Ант<онович> не иначе согласился принять на свои руки „Современник“, как с условием, чтобы долг на Н<иколае> Г<авриловиче> более не считался, а кроме того, было бы назначено из редакции постоянное содержание семейству или самому Н<иколе>, покуда не изменятся обстоятельства. Конечно, редакция от этого не в большом убытке, и справедливость тут не страдает» (*Чернышевская-Быстрова, с. 302*).

Сообщая в следующем письме от 18 ноября 1862 года о просьбе Чернышевского занять у кого-нибудь из журналистов денег для лечения больной супруги, остающейся в Саратове, Евгения Николаевна пишет:

«К Некрасову Николая не советует или даже запрещает обращаться за деньгами, так как он им очень недоволен. Видно, что он не соглашается с расчетом Некрасова по „Современнику“, о котором, впрочем, едва ли знает что-нибудь верное».(*Чернышевская-Быстрова, с. 303*).

Е.Н. Пыпина постоянно и подробно информирует родных о работе Чернышевского над «повестью» «Что делать?». Четвертого февраля 1863 года она сообщает: «Повесть его теперь получили часть. Мне не удалось прочесть все присланное, потому что она скоро попала к Некрасову, и мы на днях получили ее в корректуре» (*Чернышевская-Быстрова, с. 304*).

Пыпина, очевидно, не знала, что Некрасов, получивший 3 февраля рукопись романа «Что делать?» у А.Н. Пыпина, обронил ее на пути к своему дому. Пятого—седьмого февраля в «Ведомостях

С.-Петербургской городской полиции» печатались объявления «Потеря рукописи», и в эти же дни она была счастливо найдена¹¹.

Газета «Очерки», издававшаяся с начала 1863 года под редакцией Г.З. Елисеева и М.А. Антоновича, с самого начала рассматривалась его руководителями как оперативный орган некрасовского «Современника»¹². Напуганный отчетливо выраженным оппозиционным направлением своей газеты, ее издатель А.Н. Очкин в начале апреля 1863 года неожиданно для редакции прекратил издание «Очерков». Е.Н. Пыпина, ежедневно встречающаяся с Антоновичем и его женой, информирует об этом событии своих родных в письме приблизительно от 9 апреля: «Вчера оба они с горем рассказывали, что «Очерки» кончаются. Очкин, издатель, не желает продолжать издание и передает своих подписчиков «Современному» слову». Как это все он сделает, еще неизвестно, но только все очень жалеют о падении этой газеты...» (*Чернышевская Н.*, с. 392).

Возобновление «Современника» в феврале 1863 года и публикация романа Чернышевского на некоторое время улучшили материальное положение его семьи, и Ольга Сократовна решила вернуться в Петербург. В письме к Е.Н. и А.Н. Пыпиным от 4 сентября 1863 года Николай Гаврилович вновь обращается к Некрасову: «В запасе для нас остается уже маловато денег. Покажи это мое письмо Некрасову, Сашенька. Я очень серьезно прошу, чтобы сколько б ей (О.С. Чернышевской. — Б.М.) не вздумалось брать денег вперед, выдавать *немедленно* прямо через тебя, Сашенька, мимо Ипполита Панаева (заведующего конторой „Современника“. — Б.М.). В долгу по этому счету (как сотрудник, оставляя до времени прежние счета по редакторству в стороне) я не останусь, хотя бы в эти два-три месяца. Олинке было выдано *вперед* тысячи три, она, конечно, потребует несравненно меньше»¹³.

О выполнении Некрасовым просьбы Чернышевского свидетельствует, в частности, его приписка к письму А.Н. Пыпина И.А. Панаеву от 20 ноября 1863 года, содержащему просьбу выдать под расписку «несколько денег» для Ольги Сократовны А.В. Захарьину, едущему в Нижний Новгород через Саратов: «Г-же Чернышевской

в течен<ие> последнего месяца дано мною 200 р<ублей>, да я тебя просил дать Захарьину 200, засчитав 80 за „Современник“. Если и этого мало, то можно еще прибавить рублей 75-ть»¹⁴.

Судя по неопубликованной части письма Е.Н. Пыпиной к родным от 16 сентября 1863 года, она была причастна к распространению «Очерков» и ликвидации дел по этой газете. Подписчики этого издания были переданы Очкиным газетам «Современное слово» и «С.-Петербургские ведомости». Из содержания этого же письма видно, что к делам по ликвидации «Очерков» имел какое-то отношение и Некрасов. Привожу этот фрагмент письма: «Мне очень досадно, что не было у меня раньше адреса Ник<олая> Алекс<еевича> (с середины мая до 20-х чисел сентября 1863 года Некрасов был в Карабихе. — *Б.М.*). Тогда шла передача части подписчиков „Совр<еменному> слову“ и „Петерб<ургским> вед<омостям>“, и я надеялась через редактора „Современника“ включить в передачу и своего подписчика...» (*подлинник, л. 103 об.*)

Последнее упоминание имени Некрасова в письмах Евгении Николаевны к родным встречается в письме от 14 февраля 1864 года. Процесс над Чернышевским шел к концу, и весь город замер в ожидании приговора. Вот часть этого письма, не вошедшая в публикации Н.М. Чернышевской: «Мы живем очень тихо и уединенно, но люди, жившие всегда в обществе, видевшие постоянно много народу, все говорят, что бог знает какое время идет странное. Никто не собирается друг у друга, как-то меньше веселятся и вообще попрятались по углам. Саша (*А.Н. Пыпин. — Б.М.*) недавно сказал, что даже Некрасов еще ни разу не дал им ни одного вкусного и веселого обеда, которыми, бывало, частенько угощал» (*подлинник, л. 128*).

Четвертого мая 1864 года Чернышевскому был объявлен приговор. Гражданская казнь состоялась 19 мая, но Некрасов за несколько дней до нее уехал в Карабиху.

Письма Евгении Николаевны Пыпиной к родным — уникальный документ эпохи 60-х годов XIX столетия. Их фрагментарные («проблемные») публикации в разных изданиях, не дающие полного представления о богатом содержании этих писем, сейчас представляются недостаточными. Убежден, что отдельное полное

научное издание писем Пыпиной будет способствовать более глубокому и объективному изучению той славной эпохи.

Примечания

¹ См.: Пыпина Е.Н. Беседы о прошлом // Н.Г.Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1958. Т.1. С. 101.

² 1) *Чернышевская-Быстрова Н.* Чернышевский в Алексеевском равелине (Переписка Е.Н. Пыпиной с родными. 1862—1864гг.) // Н.Г.Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928. С. 299—305. Далее ссылки на эту публикацию в тексте даны сокращенно: *Чернышевская-Быстрова* с указанием страниц.

2) *Чернышевская Н.* Неопубликованная переписка С.Н. и Е.Н. Пыпиных // Литературное наследство. М., 1936. Т. 25—26. С. 381—397. Далее ссылки на эту публикацию в тексте даны сокращенно: *Чернышевская Н.* с указанием страниц.

³ РГАЛИ. Ф.385. Оп. 1. № 107. Далее ссылки в тексте даны сокращенно: *подлинник*, с архивными номерами листов (л.) этих писем.

⁴ Подробная справка о Е.Н. Пыпиной дана во вступительной статье Н.М. Чернышевской к первой из названных публикаций писем (см. примеч. 2).

⁵ Н.Г.Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 80. Этот эпизод относится, очевидно, к августу 1858 года, когда Чернышевский приезжал в Саратов.

⁶ *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 14. С. 453—455.

⁷ Красный архив. М., 1926. № 14. С. 87.

⁸ Н.А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С.170.

⁹ *Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. XIII. Кн. 2. С. 158.

¹⁰ Там же. Т. XIII. Кн. 1. С. 304.

¹¹ Там же. С. 177, 454.

¹² Подробно см.: *Якушин Н.И.* Газета «Очерки» — орган революционной демократии // Русская литература. 1969. № 1. С. 151—164.

¹³ *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 14. С. 487. Замечу, кстати, что баланс «Современника» по 1864 году был сведен с дефицитом около 30 000 рублей, а долги Чернышевского, списанные Некрасовым в конце этого года, составляли более 14 000 рублей. (*Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. СПб., 2000. Т.XV. Кн. 1. С. 224.

¹⁴ *Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. СПб., 2000. Т.XV. Кн. 1. С. 13.

История личных и творческих отношений этих двух современников, служивших русской литературе и обществу в течение многих десятилетий, противоречива и многоаспектна. К теме «Некрасов — Писемский» исследователи обращались в связи с критическими оценками творчества их общего учителя — Н.В. Гоголя. В первую очередь привлекалась программная статья Писемского «Сочинения Н.В. Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Часть вторая»¹, отзыв на которую немедленно дал Некрасов². Проблема эта специально исследовалась Н.Н. Мостовской³, В.А. Мысляковым⁴, А.М. Крупышевым⁵. С выходом Академического собрания сочинений Некрасова концепция абсолютной верности всех критических положений некрасовской рецензии была справедливо подвергнута сомнению: «Некрасов в известной мере упростил смысл суждений Писемского о Гоголе, авторе второго тома «Мертвых душ»⁶. Тема отношения Писемского и Некрасова к Гоголю должна быть рассмотрена в обновленном историко-литературном контексте.

Обратимся к другим, ранее не отмеченным аспектам взаимоотношений названных литераторов. Они земляки, уроженцы севернорусских губерний, Некрасов — Ярославской, Писемский — Костромской. Некрасов хорошо знал эти места. «...Приметы создают убеждение, что Некрасов поселил своих героев в места костромские, — заметил А.Ф. Тарасов о пространстве поэмы «Кому на Руси жить хорошо»⁷. Так, первоначально деятельность Савелия развертывалась не в Корежине, а в «Ветлужине». «Ветлужина», в новом дополненном издании черновых материалов к поэме занимает значительное место: «лоза ветлужская», «спина ветлужская», и даже «ветлужские комарики» упоминаются беспрепятственно² (с. 5, 426, 428, 429, 430 и далее). В уездном городке Ветлуге некоторое время жила семья Писемских, и там прошли ранние годы Алексея Феофилактовича.

Севернорусское происхождение естественно обратило внимание

обоих писателей к крестьянину-питерщику, традиционно уходящему в город. «В 1900 году 69 процентов столичного населения составлял пришлый люд — как и сто лет назад. Главным образом, это были крестьяне и мещане из Тверской, Ярославской, Новгородской и Петербургской губерний»⁸. Некрасов в 1844 году в очерке «Черты из характеристики петербургского народонаселения» уделяет значительное место сметливому мужику, явившемуся в Питер на заработки. Спустя несколько лет в балладе «Секрет» Некрасов возвращается к этой теме накопленного крестьянином богатства и, хоть обиняками, говорит о темных его истоках. «Секрет» относили к 1846 году. Эту дату указал сам поэт⁹. Авторы комментариев к новому полному собранию сочинений также обращают внимание на это обстоятельство: «Возможно, Некрасов поставил в публикации „С<екрета>“ фиктивную дату „1846“, чтобы цензура не искала в тексте злободневных намеков на „лица“. А может быть этой датой поэт хотел указать, что замысел „С<екрета>“ возник у него давно»¹⁰. Рассмотрим гипотезу. В начале 50-х годов появился ряд произведений из народной жизни, в частности, «Питерщик». Таково название одного из первых рассказов Писемского, получившего высокую оценку Некрасова. Он и «Плотничья артель», входившие в цикл «Очерков из крестьянского быта», появились в печати соответственно в 1852 и 1855 годах. Некрасову было важно заявить творческую самостоятельность, преемственность своего, а не чужого замысла.

К чему стремится привлечь мысль читателя Некрасов? Восхищение талантами и мастеровитостью русского человека, изображение тяжелой доли работника не только в деревне, но и в городе. В плане бытовом — страдания обижаемой в отсутствие мужа жены и радость семьи при ожидаемом на зиму возвращении кормильца.

Для Писемского уход мужика из глухой деревни на промысел в столичный город ради возможного повышения благосостояния значил гораздо больше. В независимом, умеющем наживать честным трудом копейку, но при этом не по-купчески бездушном крестьянине писатель склонен был видеть идеал мужицкогословия. Не закрывая глаза на темные стороны и искушения богатством, он верил в возможность их преодоления. Залогом ему

казалось умение мужика нерасчетливо, размашисто чувствовать; отсюда центральная в сюжете трогательная любовь к «барышне» питерщика Клементия. Но в «питерщиках» — благо и надежда для России в целом. Нашу мысль подтверждают финальные строки рассказа Писемского: «Порадовавшись успеху питерщика, я вместе с тем в лице его порадовался и вообще за русского человека»¹ (т. 2, с. 243). Такое отношение к питерщику Писемский сохранил на всю жизнь.

Может быть, поэтому сметливому и оборотистому, но при этом честному и благообразному крестьянину в поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов присвоил имя Ермил. Таково было известное литературное прозвище Алексея Феофилактовича¹¹. Хотел ли Некрасов отметить в своем сознании близость характера Ермила народным типам Писемского? В таком случае и местонахождение мельницы, которую торговал у купца Алтынникова Ермил Гирин — на реке Унже — получает объяснение. Писемский, вероятно, часто рассказывал знакомым о своем предке, причисленном к лику святых, — «мощи его почивут в Макарьевском на реке Унже монастыре»¹².

Сближают в большом историко-литературном масштабе Писемского и Некрасова общие корни — гоголевская натуральная школа и сороковые годы. Обращаясь к Писемскому, еще Ап. Григорьев указывал на общность его «тюфяка» с тургеневским «лишним человеком» (Лаврецкий и Бешметев)¹³. Позднее Д.И. Писарев сравнивал Шамилова («Богатый жених») с Рудиным, отмечая «общий характер типа»¹⁴. Ту же проблематику продолжают «Взбаламученное море» и исследуемый нами роман «Люди сороковых годов» (1869).

В романе упомянуты — так или иначе — все видные фигуры времени: Герцен, Огарев, петрашевцы. Но вот портрета Некрасова мы в романе не увидим, имени не услышим; однако скрытая связь, а чаще полемика буквально пронизывает ткань произведения. В главе «Провинциальные толкователи о литературе» (действие относится к концу 40-х годов XIX века) уездному стихоплету Кергелю, восхищающемуся творениями Бенедиктова, товарищи отвечают почти прямой цитатой из рецензии Некрасова: «Нынче уж мода на патриотизм-то, брат, прошла...»¹ (т. 5,

с. 94). Покинутый «эмансипированной» супругою, один из персонажей, уже в шестидесятые годы, возлагает ответственность на современную литературу: «Прежде <...> она была женщина совсем хорошая; а тут, как петербургские поэты стали воспевать <...> публичных женщин, она и сбилась с панталыку»¹ (т. 5, с. 457). Всего вероятнее, простодушный герой имеет в виду стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья...»

Внутренние идейные соприкосновения романа с творчеством Некрасова предстают более значительными. Рассмотрим стихотворение Некрасова «Человек сороковых годов». При внешней сатиричности формы содержание стихотворения глубоко серьезно. Сопоставление этих двух текстов — разных по жанру и объему — позволяет сравнить отношение двух писателей к человеку сороковых годов. Обращает на себя внимание факт — время создания стихотворения (по новейшим изысканиям) — 1867 год¹⁵. Работа Писемского над романом «Люди сороковых годов» начнется в это же время (опубликован в 1869 году). Один и тот же предмет размышлений и поисков, единая духовная среда. Или же прямая полемика? Чтобы ответить на вопрос, необходимы дополнительные материалы.

Как историческую заслугу своих героев Писемский провозглашает «возмущение крепостным правом», сочувствие и помощь «гонимым литераторам», борьбу с самодурами-губернаторами и даже «даровитое предпринимательство». Но ни один из его персонажей не гибнет, находит в себе силы устоять. Некрасовскому объяснению (в «Медвежьей охоте», откуда в процессе работы выделилось стихотворение «Человек сороковых годов»)² (т. 3, с. 18):

Не предали они — они устали
Свой крест нести.
Покинул их бог гнева и печали
На полпути² (т. 3, с. 18) —

Писемский противопоставляет свою трактовку в форме притчи о царе Соломоне. Соломон, будучи покинут Господом в аду, был вынужден «поклониться сатане», но «в сердце своем» носил образ Божий и был прощен¹ (т. 5, с. 346).

Если Некрасов считал, что «тогда, в 1840-е годы, нашлись два-три человека, „вынесшие“ на своих плечах все поколение»² (т. 3,

с. 394): позиция Писемского восходит к художественному кредо. П.В. Анненков отмечал его интерес к рядовому, ничем не выделяющемуся из общей массы человеку: «В лице Писемского читающая масса <...> нашла себе летописца...»¹⁶. И в своей концепции русской истории Писемский отводит важное место «простому человеку» как главной опоре, без которой невозможны никакие преобразования. Он считал всех хотя бы пассивно разделявших светлые идеалы своей эпохи («Я не продам за деньги мненья...»), достойными носить имя людей сороковых годов в самом высоком смысле этого слова.

Шли годы. Все разногласия исчезли перед лицом смерти, которая позволила Писемскому ощутить потерю если не близкого человека, то человека одного с ним поколения — Некрасова. Становится очевидным, что отношения обоих писателей были не только более человечески глубокими, но и более сложными, чем представлялось ранее. Исследования в этом направлении должны быть продолжены.

Примечания

¹ Писемский А.Ф. Сочинения Н.В. Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Часть вторая // А.Ф. Писемский. Собр. соч.: В 9 т. / Под ред. А.П. Могилянского. М., 1959. Т. 9. Все ссылки даются по этому изданию, с указанием в тексте тома и страницы.

² Некрасов Н.А. Заметки о журналах за октябрь 1855 года // Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981. Все ссылки, кроме особо оговоренных, даются по этому изданию, с указанием в тексте тома и страницы.

³ Мостовская Н.Н. Гоголь в восприятии Некрасова // Некрасовский сборник. Л., 1983. Вып. VIII. С. 34—35.

⁴ Мысляков В.А. Писемский и революционно-демократическая критика // Н.Г. Чернышевский. Статьи. Исследования. Материалы / Под ред. проф. Е.И. Покусаева. Саратов, 1971. Вып. 6.

⁵ Крупышев А.М. Своеобразие Некрасова-критика // Некрасовский сборник. СПб., 1998. Т. XI—XII. С. 81—82.

⁶ Комментарии М.М. Гина и Н.Н. Мостовской // Н.А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981—1984. Т. 11(2). С. 373.

⁷ Тарасов А.Ф. Некрасов в Карабихе. Ярославль, 1982. С. 146.

⁸ См.: Век модерна. Былой Петербург. СПб., 2001. С. 137.

⁹ Комментарии К. Чуковского // Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1948-52. Т. 1. С. 570—571.

¹⁰ Комментарии В.Э. Вацуру и А.М. Гаркави // Н.А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981—1984. Т. 1. С. 629.

¹¹ См.: Тургенев и круг «Современника». М.-Л., 1930. С. 206 и далее.

¹² *Писемский А.Ф.* Автобиография // *А.Ф. Писемский. Полн. собр. соч.: В 8 т.* М., 1910. Т. 1. С.1.

¹³ *Григорьев А.* Литературная критика. М., 1967. С. 422—441.

¹⁴ *Писарев Д.И.* Сочинения: В 4 т. М., 1955. Т. 4. С. 160—273.

¹⁵ Комментарии М.М. Гина и Н.Н. Мостовской // *Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981—1984. Т. 3. С.27.*

¹⁶ *Анненков П.В.* Писемский как художник и простой человек // *П.В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 495.*

Ю.А. Пинчук
(Украина)

Имена историка, писателя, участника национально-освободительного движения Николая Ивановича Костомарова (1817—1885) и писателя, мыслителя, участника революционно-демократического движения Николая Гавриловича Чернышевского (1825—1889) стоят в ряду авангардных деятелей украинской и российской культур. Оба они как Николаи, находясь под особым покровительством великого христианского святителя Николая Чудотворца, были призваны защищать бедных и обездоленных. Этому и посвятили свою жизнь и многогранную деятельность, демонстрируя, однако, различия в выборе путей, средств и методов социального переустройства общества, в вопросах творчества. Также разнились их взгляды относительно исторических традиций, национальных идей и мессианского сознания украинцев и русских.

Николай Костомаров родился в слободе Юрасовка Воронежской губернии, представлявшей собой глубинку Слободского края с преобладающим украинским населением, в семье дворянина, поклонника европейских писателей XVIII века, особенно Вольтера. Воспитывался в духе свободолюбия, в условиях взаимодействия двух культур, русской и украинской, получил гимназическое и университетское образование, сформировавшее его как украинофила. При этом экстремизм в любых обличьях всегда претил ему. Он в общественно-политической деятельности придерживался христианских идеалов справедливости, свободы и равенства.

Николай Чернышевский родился в Саратове, можно сказать, в российской глубинке, в семье священника. Воспитывался в духе веры, получил семинарское и университетское образование в традициях русофильства. Но всегда стремился довести свои деяния до крайних пределов. Он как революционер-демократ проповедовал учение, отрицающее божество и святость всяких властей.

Принадлежность Костомарова и Чернышевского к двум различным сферам интеллектуальной жизни того времени во многом предопределила их полярность в воззрениях и убеждениях по отношению к миру и месту человека в нем, а также в представлении о сущности бытия и других понятий. Нельзя назвать близкими и их позиции в диалоге украинской и русской культур. Вместе с тем мировоззренческая неадекватность этих личностей не изменила уготованного им судьбой и осуществленного властью одинаково жестокого наказания за приверженность гуманистическим идеалам. И Костомаров в 1847 году, и Чернышевский в 1862 году за свой прежде всего республиканизм были арестованы и по указанию самодержцев заключены в Петропавловскую крепость. Им, к сожалению, не помогло в противостоянии с беззаконием заступничество их небесного патрона.

Костомаров познакомился с Чернышевским в 1851 году в Саратове, где как кирилло-мефодиевец с 1848 года находился в ссылке. Там они вместе, до переезда в 1853 году Чернышевского в Санкт-Петербург, участвовали в организации просветительских вечеров для учителей и учащихся гимназии, на которых кроме разъяснения научных проблем, касались политических вопросов. Как видно из эпистолярных материалов Костомарова, во времена саратовской ссылки он живо интересовался революционными событиями в Европе, очень хотел систематически изучить перевороты 1848 года. В связи с обострением социальных и национальных отношений в Российской империи Костомаров как политик-практик, идеолог Кирилло-мефодиевского братства продолжал пропагандировать идею славянской федерации, основанной на республиканских началах и равноправии народов. Высшая цель, критерий исторической оценки для него как ученого и политолога, по мнению ряда современных ученых, — христианская религия, славянофильство, мессианский национализм и народничество.

С конца 50-х годов XIX века Костомаров и Чернышевский постоянно общались в Санкт-Петербурге, в частности в редакции «Современника», на «вторниках» у Костомарова, в университете, в котором Костомаров с 1859 года преподавал русскую историю. До весны 1862 года они находились в дружеских отноше-

ниях, после чего между ними наступило охлаждение на почве нарастания мировоззренческих разногласий в подходах к злободневным вопросам современников. При этом оба оставались всю жизнь толерантными к мыслям и верованиям друг друга.

Чернышевский по достоинству оценил ученость, ум и труды Костомарова. «Должно желать, — писал он, — чтобы молодые люди, готовящиеся разрабатывать русскую историю, внимательно изучали мнения Костомарова». По оценке Чернышевского, работы Костомарова имеют очень высокое научное значение. В отзыве на его монографию «Богдан Хмельницкий» он отметил наличие в ней таких черт, как объективность, широта взглядов, обилие источников, многие из которых были в первый раз открыты автором; в своем предисловии к русскому переводу «Всеобщей истории Г. Вебера» указал, что немецкие ученые считают Костомарова самым замечательным из современных историков России, подчеркнув, что это их мнение справедливо.

Так же и Костомаров, хоть и видел в Чернышевском ярого безбожника, материалиста и противника всякой власти, был к нему как к оригинальному человеку по-товарищески расположен. Даже после размолвки назвал Чернышевского собратом по профессии, искал средства к облегчению его участи в ссылке, полагая, что он пострадал главным образом за социалистическое направление своих статей.

Большое внимание уделил Костомаров Чернышевскому в мемуарах. В автобиографии он писал, что судьба поставила его с ним в самые близкие дружественные отношения, несмотря на то, что в своих убеждениях он не только с ним не сходиллся, но был в постоянных противоречиях и спорах. На взгляд Костомарова, Чернышевский был даровитый, привлекал к себе скромностью, разнообразными познаниями и чрезвычайным остроумием. Но учение, которое он проповедовал, Костомаров не воспринимал, полагая, что Чернышевский развил до крайних пределов положение французского мыслителя Пьера Прудона о собственности как зле, хотя сознавался, что идеал нового общественного строя на коммунистических началах еще не созрел в умах, а достичь его можно только разрушительными переворотами. По оценке Костомарова, Чернышевский на Руси был Моисеем — пророком

наших социалистов, истинно желал человечеству добра и если в своих теориях заблуждался, то поступал искренно.

Костомаров затронул также ряд других вопросов, высказал свое мнение по поводу диссертации и некоторых иных сочинений Чернышевского. Так, по его мнению, роман «Что делать?» как художественное произведение был ниже критики, но по тем идеям, которые в нем проводились, пришелся донельзя по сердцу молодому либеральному поколению.

Выдающийся украинский историк и государственный деятель Михаил Грушевский пришел к выводу, что Костомаров фактически был и остался товарищем Чернышевского по оружию в борьбе со «старым режимом» России. С этим нельзя не согласиться, но необходимо учитывать существенные различия между ними в выборе средств и целей борьбы. Чернышевский, указывая болезненные стороны общественного быта, проникся мыслью, что в России общество требует радикального возрождения, без постепенности и разъяснения подробностей, с отвержением Бога и духовного мира и, если потребует, с безжалостным истреблением противников. По мнению Костомарова, призыв к преобразованию общества путем кровавой революции являлся самой черной и возмутительной стороной течения общественной мысли России 60-х годов XIX века, получившего название нигилизм. Нигилисты, считал он, произвели поколение безумных фанатиков, отваживающихся проводить свои убеждения кинжалами и пистолетами.

Костомаров был противником экстремизма и сторонником христианских идеалов, которые нашли яркое отражение в написанной им «Книге бытия украинского народа», являющейся программным документом Кирилло-мефодиевского братства. В ней широко представлены исторические картины из прошлого России и Украины, проанализированы тенденции развития украинского народа и его государственности на основе идеи национальной самобытности, но не исключительности, что свидетельствует об общечеловеческом понимании автором исторического процесса, уважительном отношении к опыту других культур и народов.

Идею национального освобождения и развития Костомаров как общественный деятель соединял с социальным переворотом

и переустройством, но — на принципах справедливости и любви. Этих же принципов преимущественно придерживался, характеризуя Чернышевского. Так, в мемуарах второй половины 70-х годов XIX века он писал: «Надобно сказать, что никто в России не имел такого огромного влияния в области революционных идей на молодежь, как Чернышевский, и, несмотря на изменения, каким подвергалось революционное направление в умах русской молодежи, Чернышевский для всех революционеров наших остался каким-то патриархом, и даже в нынешней подпольной литературе усвоено за ним имя мученика Николая».

Такое же влияние, но не в области революционной идей, а как историк имел на молодежь и всю читающую публику Российской империи Костомаров, за которым закрепилось имя летописца Николая.

Общественно-политическая, научная и литературная деятельность Костомарова была высоко оценена его современниками и принесла ему огромную популярность еще при жизни. Многие научные учреждения признали заслуги Костомарова, избрав его в свой состав: С.-Петербургская Академия наук, Юго-славянская Академия, Сербское ученое друштво, С.-Петербургский, Киевский, Харьковский университеты, Виленская археографическая комиссия, Общество истории и древностей российских при Московском университете, Общество Нестора-летописца при Киевском университете и др. В 1873 году состоялось чествование в связи с его тридцатипятилетней литературной деятельностью, в котором принимали участие А. Бекетов, Н. Ге, П. Кулиш, О. Миллер, Д. Мордовцев, С. Опатович, В. Прохоров, М. Семевский и другие известные люди. Сам же Костомаров полагал, что «название великого должно давать только тому, что способствует благосостоянию человеческого рода, его умственному развитию и нравственному достоинству». Этому требованию вполне соответствует творческое наследие Костомарова, на сочинениях и идеалах которого воспитывались поколения украинской и русской интеллигенции, а популярными произведениями увлекалась вся читающая публика.

Ярким проявлением почитания памяти Костомарова стали его похороны 11 апреля 1885 года в С.-Петербурге. Прощальная процессия двигалась с 12 до 17 часов, при большом стечении наро-

да, от университетской церкви, где отпевали покойного, до Волкова кладбища, на котором он был захоронен близ «Литературных мостков». В похоронах участвовали делегации из ряда регионов Российской империи и зарубежья, включая Сибирь и Галицию, из Казани, Киева, Полтавы, Одессы, Харькова. Были венки от молодежи и крестьян Украины, от студентов и учебных заведений, от редакций газет и журналов. У гроба произнесли речи друзья, коллеги и почитатели Костомарова — Л.Д. Мордовцев, О.Ф. Миллер и другие. 7 апреля 1889 года на его могиле был открыт памятник (мастер К. Сетинсон), представляющий собой гранитный крест на постаменте с надписью: «Николай Иванович Костомаров. 1817—1885. Историк, писатель».

Одним из значительных событий стало издание Литературным фондом 21-томного Собрания сочинений Н.И. Костомарова (СПб., 1903—1906 годы) — наиболее полного и единственного до середины 90-х годов XIX века. Впоследствии были напечатаны под редакцией академика М.С. Грушевского «Науово-публіцистичні і полемічні писання Костомарова» (К., 1928) и «Етнографічні писання Костомарова» (К., 1930), а также 17 томов произведений Н.И. Костомарова в серии «Актуальная история России» (М., 1994—1997). Литературное наследие Костомарова в наиболее обобщенном виде впервые увидело свет в издании «Твори в двох томах» (К., 1967 и К., 1990). До этого оно публиковалось частично, как и его многочисленные монографии и исследования, в разные годы и во множестве разнообразных изданий, таких, например, как сборник «Украинские поэты-романтики 20-40-х годов XIX века» (К., 1968) или книга «Николай Костомаров. Повести» (К., 1987). В 25-летие смерти Костомарова в Воронеже была организована выставка и издан каталог «В память Н.И. Костомарова. 1885—1910». (Воронеж, 1910). На выставке были представлены портреты Костомарова, фотографические снимки, материалы для биографии Костомарова, вещи и автографы, сочинения Костомарова и литература о нем, в частности, фотографический снимок с картины И. Репина (Н.И. Костомаров на смертном одре), английская гравюра с портрета Костомарова работы художника Н. Ге и другие.

Костомаровские выставки и чтения, связанные с его юбилеями и очередные, проводились неоднократно (например, Воро-

нежские костомаровские чтения), учреждались премии его имени. В экспозициях многих музеев представлены сочинения Костомарова (Киевский музей Тараса Шевченко и Музей истории книги, Острогожский краеведческий музей), его именем названы улицы в Москве, Львове и других городах. В 1967 году отмечался 150-летний юбилей со дня рождения Костомарова, который проходил под эгидой ЮНЕСКО. Тогда были опубликованы некоторые его произведения и работы о нем, проведены конференции. Широкие мероприятия в память Костомарова состоялись в 1992 году, в 175-летние со дня его рождения. На Украине они осуществлялись под патронатом Кабинета министров. Прошло торжественное заседание Отделения истории, философии и права Академии наук Украины, была выпущена почтовая марка, напечатанная глубокой печатью (с портретом Костомарова и изображением символических орудий его труда — гусяного пера на фоне листа бумаги). Вышли в свет монографии «Бунт Стеньки Разина», «Мазепа», «Мазепенцы», другие исторические произведения Костомарова и его «Автобиография», публиковались статьи, брошюры и книги о нем, в их числе первая научная биография «Микола Іванович Костомаров» (К., 1992, автор Ю.А. Пинчук). Ему были посвящены радио- и телевизионные передачи, костомаровские чтения и конференции. Одна из наиболее представительных конференций была проведена в мае 1992 года в Ровно, где Костомаров в 1844—1945 годах преподавал историю в гимназии. По итогам этой конференции опубликованы фундаментальные материалы «Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації» (Рівне, 1992), а на здании бывшей гимназии была установлена мемориальная доска.

175-летний юбилей Костомарова отмечался также в Российской Федерации, особенно широко в Воронежском крае, на родине ученого. Были проведены международные конференции и круглые столы в Воронеже и Острогожске, состоялись выступления участников конференции по областному радио и телевидению, в областной и районной печати. На здании бывшей гимназии в Воронеже, которую в 1833 году окончил Костомаров, установили в его честь мемориальную доску. На Воронежских научных чтениях прозвучало сообщение, по-новому осветившее

жизнь и деятельность Костомарова в период Саратовской ссылки в связи с найденными неопубликованными письмами Костомарова, адресованными Г.С. Саблукову. Ранее о близком знакомстве Костомарова и Саблукова исследований не проводилось, поэтому можно считать, что в глубинное костомароведение введено новое имя. Сохранившаяся корреспонденция, по мнению историка-музееведа С.В. Беспаловой, обнаружившей и проанализировавшей письма, свидетельствует о том, что ссыльный Костомаров «не был изгоем» среди саратовской общественности. Напротив, он имел на нее положительное влияние. Имя Саблукова, возможно, связано с некоторыми научными интересами Костомарова, в частности с его публикацией «Рассказ Ибн-Фошлана, арабского писателя X века, о руссах, виденных им на берегах Волги» («Саратовские губернские ведомости», 1854, № 9—10), а так же с желанием поступить на кафедру Казанского университета, куда его рекомендовал Г.С. Саблуков бывший в то время профессором Казанской Духовной Академии. В письме Саблукову от 2 июля 1849 года Костомаров касался темы Ибн-Фошлана, а в другом, от 30 марта 1850 года, писал: «Как Вам известна литература болгарская и турецкая, то не припомните ли: существуют ли какие-нибудь источники, которые могли бы касаться истории гетмана Богдана Хмельницкого, который, как Вам было известно, был в тесном побратимстве с Ислам-Гиреем» (см. сб. «Николай Иванович Костомаров и его творческое наследие». Воронеж, 1992).

В 1997 году проводились юбилейные мероприятия, посвященные Костомарову по случаю его 180-летия со дня его рождения. Они отличались разнообразием, включая презентации по поводу присвоения имени Н.И. Костомарова учреждениям культуры, как это было, например, в киевской Центральной районной библиотеке имени Н.И. Костомарова. Была издана «Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817—1885)», посвященная 185-летию со дня его рождения (К., 2001, руководитель авторского коллектива Ю.А. Пинчук).

А.Н. Пыпин-славист
(Значение трудов А.Н. Пыпина для сербов)

Р.В. Булатова

С середины 30-х годов XIX века в России наблюдается общий интерес к славистике. Это был период первых российских ученых-славистов: А.Х. Востокова, О.М. Бодянского, В.И. Григоровича, Ф.И. Буслаева и др., внесших свой вклад в изучение славянства. Следующее поколение русских славистов представлено именами — И.И. Срезневский, А.А. Потебня, Ф.Е. Корш, Р.Ф. Бранд и др. Труды этих ученых составили основной славистический багаж Александра Николаевича Пыпина. Он начал заинтересованно заниматься славистикой в 60-е годы, и интерес к ней стал для А.Н. Пыпина непреходящим. В 1889 году в «Вестнике Европы» Пыпин публикует два обобщающих исследования: «Обзор русских изучений славянства»¹ и «Русское славяноведение в XIX столетии»². В «Обзоре» Пыпин показывает, насколько российское общество знакомо с зарубежными славянами. По авторскому замыслу «Обзор» являлся историческим обоснованием антиславянофильской позиции. Он отличался широкой постановкой проблемы и ее прогрессивной трактовкой. Во втором исследовании Пыпин прослеживает путь российской славяноведческой науки в современном ему периоде, когда в рамках университетов, научных обществ, периодических изданий, архивах и проч. успешно изучаются насущные проблемы славистики. Пыпин не обходит вниманием ни одно имя, давая характеристику каждому ученому и его вкладу в науку. Рассуждая о сегодняшнем дне, Пыпин с горечью говорит об отсутствии «какой-либо реальной программы нашего политического отношения к славянскому вопросу», упрекая общество в равнодушии к проблемам славян.

Славистические труды Пыпина показали, что он, несомненно, явился одним из значительных славистов своего времени, «создателем первой по времени и по глубине постановки общей концепции истории отечественной славистики»³. Такую оценку получил вклад Пыпина в российскую славистику в труде, изданном Институтом славяноведения Российской Академии наук в 1988 году.

Во второй половине XIX века публика получает возможность познакомиться с историей литературы и с культурной, исторической, этнографической историей своих зарубежных соплеменников — южных и западных славян. Это знакомство состоялось благодаря двум значительным изданиям, автором которых были Александр Николаевич Пыпин (по южным славянам) и Владимир Данилович Спасович (по славянам западным): «Обзор истории славянских литератур» (1865) и двухтомная «История славянских литератур» (1879, 1881)⁴. В этих трудах впервые были описаны и глубоко проанализированы культурно-исторические процессы, происходившие почти одновременно в славянских странах, открывшие новый период — период национального возрождения славянских народов.

В данной статье я ограничусь рассмотрением значения трудов А.Н. Пыпина о сербах и их влиянии на деятелей сербской культуры через факты литературы, публицистики и через личные контакты.

Обзор сербской литературы дан Пыпиным в контексте всех славянских литератур, что способствовало выявлению ее характерных особенностей — достоинств и пробелов. Сделано это в русле единой концепции, единой философии, так называемой культурно-исторической школы, этого узлового направления академического литературоведения середины XIX столетия, крупнейшим представителем которого в России являлся Александр Николаевич Пыпин. Недаром это направление именовалось в России «пыпинианством»⁵.

Понимание Пыпиным задач истории литературы отличалось большой широтой и новизной, стремлением видеть в литературных явлениях закономерные следствия общеисторических тенденций. В литературе, считает Пыпин, прежде всего отражены общественная жизнь и психология народа.

Имевшиеся к тому времени публикации о культурно-исторической проблематике зарубежных славян, в том числе славянофильской ориентации, не могли соответствовать требованиям науки. Так глубоко, заинтересованно, с присущим Пыпину знанием фактического материала и с применением прогрессивной методологии, никто до Пыпина к проблемам славянства не подходил.

Славистический багаж А.Н. Пыпина начал складываться еще в годы студенчества, когда Н.Г. Чернышевский, слушавший лекции И.И. Срезневского, первым познакомил брата со славянами — их историей и литературой. Сам Пыпин студентом всего два—три месяца слушал в Казани (1849—1850) лекции Григоровича и в Петрограде — лекции Срезневского. Благодаря последнему его студентам уже были знакомы имена Дубровского, Шафарика, Копитара, Коллара, Челаковского, Вука Караджича и других деятелей славянской культуры. Эти контакты с первыми поколениями русских исследователей-славистов имели большое значение для рождения у Пыпина интереса к истории, этнографии и литературе славян.

Интерес к славянам закономерно совпал с процессом национального возрождения в славянских странах. В частности, Сербия переживала тогда национальный подъем, сопровождавшийся восстанием против поработителей-турок и началом освобождения от 400-летнего османского владычества.

В «Обзоре славянских литератур» А.Н. Пыпин изложил историю сербской, хорватской и словенской литератур с древнейших времен до эпохи национального возрождения включительно. Своим трудом Пыпин хотел дополнить русское издание Шерра «Общая история литературы», где славянские литературы были представлены крайне скудно.

Пыпин в своем анализе исходил из концепции, называемой панславизмом. Это национальный, а не какой другой принцип, подчеркивал Пыпин⁶, касающийся не только вопроса об объединении, но область его рассмотрения обширнее. Пыпин подробно обсуждает проблемы, которых этот принцип касается, показывая заблуждения славянофилов, ища пути единения славян не в ущерб их национальному чувству. В более ранней работе 1864 года Пыпин показал, что славянские народы, вполне сформировавшиеся, со своими индивидуальными особенностями, достойны по своей истории уважения и собственного пути развития⁷.

В отношении сербов Пыпин высказался в небольшой статье — отклике на Герцеговинское восстание 1876 года. С каким уважением и деликатностью Пыпин говорит о сербах: «Народ, показавший в своей истории столько силы, имеет несомненное будущее»⁸.

Вышедший в 1865 году «Обзор славянских литератур», где глава вторая посвящена сербам, был принят в Сербии как большое событие. Ничего подобного до сих пор сербы не имели. Под именем сербов Пыпин подразумевает сербов центральных областей, а также далматинцев, хорватов, славонцев и даже хорутан, по современной терминологии словенцев, язык которых отличается от перечисленных выше групп. Описание истории литератур дано Пыпиным по рубрикам, соответствующим принятому им географическому делению.

Первым, весьма позитивным, откликом на «Обзор» была публикация в газете «Петербургские ведомости» сербского студента Петербургского университета Живоина Жуевича, впоследствии выдающегося сербского дамократа-публициста⁹.

В белградском литературном журнале «Вила» известный сербский литературовед Стоян Новакович оперативно перепечатал из пыпинского «Обзора» большой и, пожалуй, наиболее интересный для сербов своей новизной и высокой степенью информативностью раздел «Дубровник и Далмация». А в своей «Истории сербской литературы», изданной двумя годами позже в качестве школьного пособия, он же признал, что ему очень помог новейший труд русского автора.

Новакович обратился к Пыпину за согласием о переводе его части «Обзора» на сербский язык. Новакович уже сделал перевод упоминавшейся «Общей истории литературы» Шерра на сербский и намеревался его пополнить переводом Пыпина. А.Н. Пыпин с готовностью поддержал предложение Новаковича о переводе, обговорив условия, которые сводились к тому, что Александр Николаевич отказывается от какого-либо материального вознаграждения за это издание, а лишь озабочен внесением исправлений и дополнений, и желал бы иметь 10 экземпляров перевода. Пыпин выразил также намерение написать послесловие, где собирался разъяснить содержание книги. К сожалению, «Обзор» Новаковичем так и не был переведен. Профессор Новосадского университета Сандич также изъявил желание перевести на сербский язык пыпинскую часть «Обзора», однако и на сей замысел не был осуществлен. Но переписка Пыпина и Новаковича продолжалась, и тем самым появилась живая научная связь

Пыпина с сербской литературой, не прерывавшаяся долгие годы. Зная, что Пыпин начал работать над «Историей славянских литератур», Новакович посылает ему «Сборник сербских народных загадок».

При жизни А.Н. Пыпина на сербско-хорватский язык было переведено пять его трудов и опубликовано о нем 27 статей в различных сербских журналах и газетах. Достойным свидетельством высокого признания трудов Пыпина стало его избрание членом-корреспондентом Сербского научного общества в 1869 году.

Несомненной заслугой Пыпина явилась его точная расстановка акцентов при рассмотрении литературного материала, выделение и интерпретация особо ценных и судьбоносных явлений и личностей в культурном процессе Сербии.

Прежде всего речь идет о двух представителях сербского возрождения — Доситее Обрадовиче и Вуке Стефановиче Караджиче. Оба, как называл их Пыпин, «полународные люди», вышедшие из самых недр народной массы, взялись за решение задачи «раскрыть и возвысить именно народную стихию, заставить литературу заговорить подлинным языком самого народа»¹⁰. Их объединяла еще одна важная особенность: оба представителя искали и находили опору в европейском просвещении того времени.

Д. Обрадович (1739—1811), родом из австрийского Баната, чисто народный человек и по происхождению, и по недостатку образованности, полумонах, священник, учитель, странствующий от Сербии и Триеста до Малой Азии, нашел в себе силы не удовлетвориться тем содержанием жизни, в каком пребывал его народ. Решил стряхнуть с себя монашеское и народное невежество. Набравшись впечатлений, раздумывая о жизни и судьбе своего народа, он начал писать книги, доступные всякому грамотному человеку, взывал в них к здравому смыслу, нравственности, человеческому достоинству, веротерпимости и любви к просвещению. «Сербский народ обязан Обрадовичу тем, что последний указал ему средство преодолеть... прежний застарелый национальный образ мыслей и вступить на дорогу новых понятий»¹¹. Книги Обрадовича написаны языком, понятным сербам. Народу был чужд церковно-славянский язык, принятый в то время в качестве литературного. Простодушный христианский моралист

и искренний патриот, Обрадович первым понял и показал на деле, как и что следовало писать для сербского народа. Пыпин подчеркивал, что Доситей Обрадович действительно стоит во главе всех последующих писателей, выносив в себе все ступени развития, какие нужно было пройти народу. Цель для своего народа Обрадович видел в том, чтобы сравняться с просвещенными народами Европы. Обрадович, по заключению Пыпина, «не произвел решительной реформы, но его влияние сказывалось долго».

Деятельность Вука Караджича (1787—1864), который был родом из Тршича (на границе Сербии и Боснии), после подавления первого сербского восстания в 1813 году перешел с остатками армии Кара-Георгия в Австрию, была для сербов поистине судьбоносной. Образование Вука заключалось в умении читать и писать. Он считал, что книги должны существовать для народа и поэтому их надо писать на языке народа. Вук истово собирал сербский фольклор по Сему, Славонии, Хорватии, Далмации, Черногории — песни, сказки, пословицы. В 1814 году он опубликовал первое собрание песен в двух частях, доведя их впоследствии до четырех томов. В том же году вышла грамматика, составленная Вуком, а в 1818 году в Вене — большой сербско-немецко-латинский словарь. Издание своего словаря Вук предварил словами, которые по сути дела раскрывают значение всей его деятельности: «Вот уже около тысячи лет сербы имеют свои буквы, но до сегодняшнего дня ни в одной книге нет их настоящего языка».

А.Н. Пыпин, давая высокую оценку реформы Вука в отношении языка, сравнивал ее с тем, что произошло в России в период от Карамзина до Гоголя. Смысл этой реформы в возвышении народных языков на степень литературных, она устраняла разрыв между речью и церковно-славянской книжностью. Но главное — эта реформа способствовала становлению и укреплению сербской нации.

Пыпин оценил деятельность Обрадовича и Вука как великую заслугу перед сербским народом, подчеркивая, что для самих сербов труды Вука были настоящей энциклопедией этнографических сведений о своем народе. Более того, Пыпин считал Вука «первым начинателем подобных разысканий» «в целой европейской науке»¹².

Оценка Пыпиным деятельности Вука не согласовывалась с мнением славянофилов И. Аксакова, О. Миллера, П. Кулаковско-го¹³ и др., повторявших избитые доводы о гнилости западной культуры, которой якобы заражена сербская литература, и о том, что «поспешность» реформы Вука разрывает церковно-книжные связи сербов и русских. В самом княжестве Сербии первое время запрещали распространение книг Вука. На этом фоне решительный голос Пыпина в защиту Вука оказал неоценимую помощь в реалистической оценке культурных событий Сербии, ставших стимулом роста и обогащения литературы.

Особым вниманием и восторженной оценкой Пыпина был отмечен фольклорный материал, с которым Вук познакомил своего и европейского читателя¹⁴. «Из всех славянских народов, можно сказать, из всех народов европейских, — писал Пыпин, — сербы представляют наиболее свежее и обширное развитие народной поэзии», единственный в Европе пример живого народного эпоса. Причины этого явления Пыпин видит в особенных качествах, характере и истории народа-автора. Этот народ Пыпин определяет как воинствующий и пастуший. Сербский эпос, по словам Пыпина, отличает равномерность его присутствия по всей стране (но больше — в горных районах), веселость (в песнях, отражающих семейную жизнь), объективность и пластичность, эффект глубокого трагического пафоса (в героических песнях). Пыпин говорит, что в сербском эпосе «действительно оживают перед нами времена гомеровской поэзии со свойствами ее творчества и народности. Герой сербского эпоса — Марко Кралевич — это национальный Геракл. Сербские ничего, однако, не заимствовали от Византии и от латинского Запада. Их эпос самобытен. Особо отмечает Пыпин роль монастырей, утешителей народа, являвшихся щитом христианства, стражем народа. Турки были толерантны к сербским монастырям, что способствовало тому их статусу, который очертил Пыпин.

Вслед за Прейсом А.Н. Пыпин подчеркивает, что песни и старина живут только там, где тверды традиции патриархального быта. Именно работы П.И. Прейса и Терезы Робинсон (псевдоним — Телфи) о сербском фольклоре были близки Пыпину¹⁵.

В то время, как в Сербии «Обзор славянских литератур» Пы-

пина и Спасовича был принят весьма положительно, в России Орест Миллер с удивительной оперативностью разразился брошюрой в 83 страницы (см. прим. 11), в которой с позиции славянофильства и недоброжелательного толкования «противоречий» в тексте Пыпина пытался перечеркнуть концепцию автора по поводу так называемого народного начала. Очень интересна отповедь Пыпина на эту книжонку Миллера. В ней проявился настоящий бойцовский характер Пыпина, давшего оппоненту достойный отпор. В конце этой рецензии Пыпин раскрывает цель и задачи своего труда: «Книга моя назначалась не для специалистов, которым представляется изучать дело в самых источниках, но для большинства — а это большинство в славянских вопросах прежде всего наталкивается в нашей литературе на мнение славянофилов, которые способны сбивать с толку людей мало подготовленных». На самом деле труд Пыпина, написанный стилем, доступным для любого читателя, представлял собой серьезное исследование, которое являлось подспорьем для последующих ученых-литературоведов.

В 1877—1879 годах сербы перевели и издали роман И.С. Тургенева «Новь», впервые опубликованный в «Вестнике Европы». Как член редколлегии журнала Пыпин счел своим долгом откликнуться на это событие, тем более что переводчиком и автором предисловия был Пера Тодорович, ближайший соратник теперь уже покойного Светозара Марковича, с которым был близок Пыпин¹⁶. Приветствуя перевод романа Тургенева «как опыт и начало серьезного ознакомления сербских читателей с настоящей действительностью русской жизни и литературы», Пыпин, однако, не удержался от полемики с Тодоровичем, поклонником взглядов Писарева. С позиции либерального демократа, чуравшегося любых крайностей, Пыпин не одобряет выводов автора предисловия о революционной ситуации в России, его рассуждения о социализме, считая их поспешными и неглубокими. Далее Пыпин говорил о насущных задачах, стоящих перед сербским обществом — это политическое освобождение и объединение. Вместе с тем в этой публикации Пыпин размышляет о реалистических тенденциях в сербской литературе на фоне новых течений в других славянских литературах.

Нельзя обойти молчанием реакцию Пыпина на одно значительное явление в культурной жизни Сербии. Им было замечено и положительно оценено объединение молодых сербских писателей, оформившееся в 1866 году в городе Нови Сад и получившее название «Омладина». В программе этого объединения была борьба за просвещение, национальное объединение и т. п. — идеи, продолжавшие дело Вука. Цель «Омладины» можно определить словом «пансербизм», т. е. объединение разрозненного сербского племени на территориях Сербии, Черногории, Австрии, Турции. Сербьы восприняли пыпинскую оценку «Омладины», прозвучавшую в статье «Панславизм...» и в «Истории славянских литератур», с большим удовлетворением, как моральную поддержку.

Когда в городе Нови Сад осенью 1876 года вышел первый номер журнала «Стража», А.Н. Пыпин откликнулся на это событие, отметив его роль в духовной жизни сербов, антибюрократическую направленность журнала, активность молодого поколения сербского общества, его интерес к русской литературе, в частности к таким писателям, как Тургенев, Салтыков-Щедрин, Добролюбов, Чернышевский и др.¹⁷ Сравнивая это поколение интеллектуалов с «Омладиной», Пыпин подчеркивал его более смелую социальную ориентацию. Такая эволюция в общественном сознании сербской молодежи, — отмечает Пыпин, — предопределена временем, диктующим более пристальное и объемное изучение жизни. Однако Пыпин опять-таки вступает в полемику с журналом по вопросу о социализме и материализме, призывая сербских коллег больше внимания уделять нуждам образования и политическим проблемам.

Одним из сербских корреспондентов А.Н. Пыпина был известный белградский писатель Милан Миличевич, автор книг «Княжество Сербия» (географическо-этнографическое описание страны) и «Жизнь и деяния великих людей». Свою последнюю книгу он послал Пыпину в качестве «малого дара» за его исследование «Панславизм в прошлом и настоящем». Кроме того, Миличевич собирался сделать перевод этого исследования, чтобы «обрадовать весь сербский народ», — так не без патетики писал Миличевич. Его письмо заканчивается словами о нетерпеливом ожидании «Истории славянских литератур».

В 1879—1881 годах вышло второе, расширенное (до двух томов), переработанное издание «Обзора», которое называлось «История славянских литератур». Изложение материала здесь доведено до 70-х годов XIX века. Схема подачи литературных фактов сохранена прежняя. Раздел о сербах хорватах и словенцах (глава вторая «Югославяне». С. 138—303) расширен с 78 страниц в «Очерке» до 165 страниц. Стоян Новакович, одним из первых получивший от Пыпина экземпляр 1-го тома (с южнославянскими литературами) в начале 1879 года, откликнулся на него рецензией в журнале «Српска зора». В марте 1881 года в журнале «Побратимство» вышла еще одна рецензия, приветствовавшая труд Пыпина.

До 1882 года «История славянских литератур» А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича была переведена на немецкий, французский и чешский языки¹⁸ и получила много рецензий. В России наряду с положительными отзывами «История» получила критику за «западничество» от славянофилов, в том числе от В. Ламанского, М. Мордовцева, А. Будиловича. Парадокс в том, что именно Пыпин был выбран его оппонентами в качестве мишени, хотя Спасович вполне разделял концепцию соавтора. Однако, пожалуй, самое неожиданное обвинение в «отсутствии патриотизма» Пыпин получил от уже покойного Григоровича, лекции которого опубликовал его ученик¹⁹.

На этом фоне благожелательный и даже восторженный прием «Истории славянских литератур» сербской общественностью был для Александра Николаевича несомненной моральной и творческой поддержкой. Он вынашивал планы расширенного переиздания «Истории», предполагая привлечь Петра Ровинского к написанию раздела о черногорской литературе.

Наш современник, профессор Новосадского университета Витомир Вулетич, посвятивший Александру Николаевичу Пыпину немало книг, статей, докладов прежде всего в контексте русско-сербских культурных связей, является поистине пыпиноведом XX века в Югославии. Благодаря исследованиям Вулетича сербская гуманитарная наука обогатилась многими новыми фактами, раскрывающими как личность Пыпина-слависта, так и его огромное влияние на развитие литературных и культурно-политических процессов в братской Югославии в XIX веке.

Профессор Вулетич подчеркивал в своих трудах, что Пыпин относится с исключительным уважением и полной толерантностью к духовной жизни каждого славянского народа, являясь решительным противником ассимиляции одного народа другим и сторонником идеала индивидуальности. В своих публикациях о сербской литературе Пыпин выражает потребность европеизации сербской культуры, необходимость просветительства. И далее отмечает, что лучшую историю славянских литератур написали не славянофилы, но их изначальный противник, человек, являвшийся учеником Чернышевского и проводником европейских передовых мыслей.

Примечания

¹ Пыпин А.Н. Обзор русских изучений славянства // Вестник Европы. 1889. Т. II. № 4. С. 584—625.

² Пыпин А.Н. Русское славяноведение в XIX столетии // Вестник Европы. 1889. Т. V. № 7. С. 238—274; № 8. С. 683—728; № 7. С. 257—304.

³ Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 291.

⁴ Пыпин А.Н., Спасович В.Д. Обзор истории славянских литератур. СПб., 1865. С. 536; Они же. История славянских литератур. Т. 1—2. СПб., 1879—1881. С. 1120.

⁵ Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 109.

⁶ Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем // Вестник Европы. СПб., 1878. Т. V. № 9. С. 312—353; № 10. С. 726—766.

⁷ Пыпин А.Н. Вопрос о национальности и панславизм // Современник. 1864. Т. С и С1, II.

⁸ Пыпин А.Н. Несколько слов по поводу южнославянского вопроса // Вестник Европы. СПб., 1876. Т. V. С. 876—998.

⁹ Карасев В.Г. Сербский демократ Живоин Жуевич. Публицистическая деятельность в России в 60-х годах XIX века. М., 1974. С. 334.

¹⁰ Пыпин А.Н. Панславизм... С. 330.

¹¹ Пыпин А.Н. Несколько слов о «народных началах» и о «цивилизации» (В ответ на книжку Ореста Миллера «Славянский вопрос в науке и жизни. По поводу «Обзора истории славянских литератур» А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича. С. 83) // Современник. 1865. Т. CVIII. СПб., 1865. С. 156.

¹² Пыпин А.Н. Панславизм... С. 330.

¹³ В.П. Гудкову удалось установить авторство Пыпина в неподписанной рецензии на книгу П.А. Кулаковского «Вук Караджич. Его деятельность и значение в сербской литературе» (М., 1882) в Вестнике Европы, 1882, №4. Пыпин решительно отрицал мнение Кулаковского о «слишком поспешной реформе» Вука (см.: Гудков В.П. Славистика. Сербистика: Сб. статей. М., 1994. С. 110—113).

¹⁴ Кроме особого раздела в «Обзоре славянских литератур» (7. Народная поэзия сербов. С. 163—169), Пыпин еще раз специально обращается к этой теме (см.: Пыпин А.Н. Первые слухи о сербской народной поэзии // Вестник Европы. СПб. Т. VI. 1876. С. 688—742).

¹⁵ *Прейс П.И.* Об эпической поэзии сербов // Годичный акт в Императорском С.-Петербургском университете. СПб., 1845. Telvi. Historical view of the slavic language. New York, 1850. Пыпин сделал перевод этой книги на русский язык. Рукопись перевода хранится в ИРЛИ РО. Ф. № 250. Ед. хр. № 329.

¹⁶ Новина. Роман И.С. Тургенева. Перевод с русского Пера Тодоровича. Св. 1 и 2. Нови Сад. 1878. Пыпин А.Н. Сербский перевод тургеневской «Нови» // Вестник Европы. СПб., 1877. Т. VI. № 12.; Он же. Начатки литературной солидарности // Вестник Европы. СПб., 1878. Т. IV. № 8. С. 826.

¹⁷ *Пыпин А.Н.* Литературное обозрение // Вестник Европы. СПб., 1879. Т. I. № 2. С. 775.

¹⁸ В 1883—1884 годы Лейпцигское издательство Брокгауза выпустило немецкий перевод «Истории» в трех томах (переводчик — серболужичанин Ян Богвер Пех), и именно это издание стало тем источником, из которого впоследствии западноевропейская наука и читающая публика черпала материал о славянских литературах.

¹⁹ Обзор славянских литератур. Лекции В.Ив. Григоровича, прочитанные слушателям IV курса Новороссийского университета в 1868/69 acad. году. Записанные слушателем его А. Смирновым. Воронеж, 1880. С. 6.

Н.Г. Чернышевский и А.Н. Пыпин об общественном сознании и перспективах России (60-е годы)

А.С. Озерянский

До настоящего времени авторы публикаций, касающихся духовной, идейной и научной близости Н.Г. Чернышевского и А.Н. Пыпина¹, не сравнивали их историко-методологические концепции. В период, когда все более утверждается точка зрения о том, что полная и объективная оценка вклада ученого в науку возможна в большей степени при характеристике его теоретических воззрений, а не общественно-политических взглядов и классовой принадлежности, такой анализ приобретает особую значимость.

Рассмотрим данную проблему посредством соотнесения суждений Н.Г. Чернышевского и А.Н. Пыпина относительно методологических принципов Генриха-Томаса Бокля². Исторические воззрения Н.Г. Чернышевского, а также его оценки теорий английского историка освещались в научной литературе³, подобные же вопросы, касающиеся А.Н. Пыпина, менее изучены⁴. Поэтому исторические взгляды автора «Что делать?» излагаются в сжатом виде с отсылкой к опубликованным исследованиям, а разбор пыпинских исторических концепций и его высказываний относительно Бокля будет сделано более подробно.

В течение 1861 года Н.Г. Чернышевским были написаны обстоятельные замечания на полях английского издания книги Бокля⁵. Разделяя основополагающие взгляды Бокля, например, о важнейшей роли просвещения, научного прогресса в жизни общества, редактор «Современника» полемизировал с ним по основным положениям его социолого-исторической концепции, таким как вопросы позитивизма, реформизма (в частности, на примере Франции), эволюционной теории развития общества и выяснении значимости экономического фактора в историческом процессе. Н.Г. Чернышевский соглашался с Боклем в том, что мораль не может оказывать решающее влияние на общий ход жизни, но, в отличие от последнего, рассматривал нравственность как силу не самостоятельную, а зависимую от политики господ-

ствующих классов на ранних этапах общественного развития. Таким образом, он допускал опосредованное влияние морали на ход истории человечества⁶.

Н.Г. Чернышевский и А.Н. Пыпин были сторонниками главного методологического принципа того времени, заключающегося в признании закономерности эволюционного, или «органического», развития во всех сферах жизни. Но в конце 50-х годов XIX века Н.Г. Чернышевский стал считать, что наступает период «перерыва постепенности», и полагал, что общественный подъем перерастет в радикальные изменения жизни России. Обосновывая вероятность развития событий по такому сценарию, Н.Г. Чернышевский обращался к урокам прошлого. Он утверждал, что в истории человечества прогресс всегда протекал тяжело, медленно, был сопряжен с рядом жертв. Но в то же время поступательное движение совершалось неуклонно — и в этом Н.Г. Чернышевский видел один из главных факторов правомерности предлагаемых им путей решения самых насущных проблем российской действительности. По сути дела радикальное изменение мира, отмечал он, совершалось не наперекор эволюционному процессу, но ради его быстрого углубления и ускорения⁷.

А.Н. Пыпин, будучи молодым профессором Петербургского университета, в курсе лекций 1860—1861 годов по средневековой французской и провансальской литературе⁸ (дольше не опубликованном) изложил некоторые взгляды на историю, получившие дальнейшее выражение в его зрелых сочинениях. В лекционном курсе наибольшую значимость и интерес представляет пыпинская характеристика прогресса как всеобъемлющего показателя положительных результатов исторического развития⁹.

Подробный разбор данного историко-методологического определения, приводимый ниже, обусловлен тем, что А.Н. Пыпин нигде более по этому вопросу так подробно не высказывался, а понятие «прогресс» в силу особой значимости и поныне находится в поле зрения современных исследователей¹⁰. Эта мысль прогресса, отмечал А.Н. Пыпин, и есть интерес и руководящая нить всякого исторического изучения¹¹. Для него неприемлемы представления, отрицающие прогрессивное развитие общества, отвергал он и суждения об истории человечества как о повторе-

нии старых ошибок, старой борьбы и старых напрасных стремлений отыскать истину¹². «Не противоречат ли такому понятию о прогрессе, — спрашивал лектор своих слушателей, — те картины гибнущих цивилизаций, которые представляет нам история в нашествии варваров, падении государств, с которыми уничтожаются образование и развитие отдельного народа? По-видимому, так; но в этих случаях, если не были попытки цивилизации, то следы ее оставались, переходя в наследие к другим народам, и снова возрождались в другой, более совершенной форме: Египет и Греция, Греция и Рим, Рим и новая Европа»¹³. «Те же варвары, — продолжал он в курсе лекций, — которые разрушали старую цивилизацию, — принимали ее наследие и развивали его дальше <...> И для них наступит очередь, когда явятся новые племена, не участвовавшие в труде цивилизации, и воспользуются ее результатами, чтобы снова ввести в нее свой личный элемент, — <славяне>»¹⁴. Для позднего А.Н. Пыпина прогрессивное развитие общества также «безгранично во времени и пространстве»¹⁵. В этом ученый был убежден, несмотря на существующие и известные ему в прошлом и настоящем реалии политических и социальных потрясений.

Разбор пыпинского определения прогресса позволяет утверждать, что уже в 60-е годы XIX века А.Н. Пыпин делает важное наблюдение методологически-концептуального характера, которое впоследствии он сформулировал следующим образом: «Каждое новое историческое явление (событие) подготавливается в недрах старого задолго, проявляясь лишь малозаметными признаками, которые только после известного промежутка созревания являются деятельной исторической силой: в конце одного периода уже готовятся факты периода дальнейшего, и в этом последнем с другой стороны продолжают оживать факты предыдущего»¹⁶.

А.Н. Пыпин утверждал, что существуют как материальные, так и духовные предпосылки возможного созревания в недрах старого общества новых явлений. «Великие исторические события, — писал он, — сопровождаются своими предчувствиями. Как сами события имеют основу в совершающихся изменениях, так эти предчувствия складываются нередко заранее — как бы ни были неблагоприятны условия данной минуты — поэтическими меч-

тами, теоретическими надеждами, особым направлением научных изысканий. Трудно предоставить условия менее благоприятные для каких-либо запросов литературы в смысле освобождения крестьян, чем были условия николаевского времени, — и, однако, в литературу приходит несомненная струя освободительного народолюбия»¹⁷.

Согласно точке зрения А.Н. Пыпина, непрерывность и преемственность сосуществуют во всех сферах жизни таким образом, что те или иные исторические явления и эпохи не имеют «резких границ». Однако для А.Н. Пыпина не была свойственна безоговорочная идеализация исторического процесса, его теория эволюционного развития предусматривала и признание того факта, что в этом процессе спокойные периоды сменялись периодами «брожений, переворотов, кризисов». В курсе лекций он признавал, что в историческом развитии многое, на первый взгляд, представляется случайным, но эти «случайности» всегда имеют причины и обусловленность, т. е. опять предстают как закономерность¹⁸. Утверждая существование непрерывности явлений и их безусловной преемственности, А.Н. Пыпин, как бы соединяя их в одну непрерывную цепь, признавал право на существование естественного, органического закона исторического развития¹⁹.

В этом смысле ученый не был оригинален. Он по сути дела творчески развивал научные положения исторической школы С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина, Н.В. Калачова, И.Е. Забелина, опиравшихся на скептическую школу М.Т. Каченовского и новую европейскую школу Гердера, Гримма, Гумбольдта²⁰. По их мнению, закон естественного, органического развития истории исключал правомерность скачков и переворотов. А.Н. Пыпин разделял и другой основополагающий принцип названной концепции (наиболее последовательным приверженцем его был В.О. Ключевский), согласно которому природные, климатические, географические и внешние условия оказывали влияние на историческое развитие. Так, по словам Александра Николаевича, «этнографические типы», предшествующие великорусской нации, изменялись «под влиянием климата, местности, соседству местных условий»²¹. Высказывания А.Н. Пыпина по этому вопросу соответствовали положениям современной ему буржуазной

историографии. Признание историками того времени закономерности таких явлений способствовало пониманию и разъяснению многих узловых моментов российской истории²².

Из курса лекций А.Н. Пыпина следует, что он являлся последовательным сторонником теорий Бокля. Так, выводы Бокля в применении к французской истории А.Н. Пыпин называет блестящими. «Нигде история нового французского развития, — писал он, — не была представлена в такой последовательности и вместе полноте»²³. В основу своих представлений о процессе развития А.Н. Пыпин положил принципиальный вывод Бокля, согласно которому цивилизация и характер народа определяются, с одной стороны, естественноисторическими условиями (климатом, пищей, почвой и общим характером природы), с другой — влиянием внутренней природы человека: сочетанием его интеллектуальных и нравственных черт. А.Н. Пыпин, следуя Боклю, допускает, что «мотивы нравственные отличаются характером неизменчивости, что главные нравственные правила всегда были одни и те же». Если признать это положение за неоспоримый факт, то, следовательно, моральные ценности для развития исторического процесса не имеют непосредственного значения. Таким образом, в распоряжении историка цивилизации остаются лишь истины интеллектуальные, им-то и следует приписывать все движение цивилизации. Принимая примат разума, науки, просвещения, А.Н. Пыпин в курсе лекций допускает мысль о том, что великие мыслители управляют делами человечества и своими открытиями определяют ход развития народов. По сути дела, А.Н. Пыпин стоял на позициях идеалистического признания того факта, что идеи правят миром²⁴. Но следует заметить, что такое восприятие действительности, а именно абсолютизация духовной сферы деятельности, ощущалась в научных работах ученого начала 60-х годов. В своих зрелых сочинениях А.Н. Пыпин приближался к материалистическому пониманию истории, да и возможность познания мира для него была фактом неоспоримым.

На основании выработанных Н.Г. Чернышевским и А.Н. Пыпиным историко-методологических концепций ими предполагались как различные теоретические обоснования грядущих перспектив развития общества, так и пути, механизмы реализации

заявленных программ. Н.Г. Чернышевский, считая, что в конце 50-х — начале 60-х годов настало время необходимости самых революционных изменений и обновлений всех сторон общественного бытия и сознания российской действительности, для осуществления своих идей предлагал организовать самый решительный натиск (за исключением кровавого бунта) на самодержавие единого блока радикальных и прогрессивных сил.

А.Н. Пыпин же в этот период, который явился пиком его близости к идеям революционных демократов, не разделял радикализма их настроения. Он был убежденным сторонником последовательных буржуазно-демократических преобразований в России, видел главную тактическую задачу всех демократических и либерально-оппозиционных сил в отвоевании у властей права легального распространения идей и ценностей свободного от пут самодержавия общества.

Примечания

¹ Работы по данной проблеме отличаются противоположными мнениями по вопросу о том, испытал ли А.Н. Пыпин в 60-е годы XIX века влияние Н.Г. Чернышевского. Частично историография темы освещена Л.М. Крупчановым в работе «Культурно-историческая школа в русском литературоведении» (М., 1983. С.174—190). Признавая факт воздействия в этот период Н.Г. Чернышевского на А.Н. Пыпина, он приходит к выводам: «Философско-эстетические и социально-исторические позиции Чернышевского и Пыпина были различны» (С. 190). Публикуемое сообщение обусловлено тем, что и в настоящее время исследователи отмечают: «Проблема идейных отношений между Чернышевским и Пыпиным требует более детальной проработки» (*Китаев В.А.* Рец.: Мои заметки. Вступ. ст. А.С. Озерянского. Саратов, 1996 // Отечественная история. 1998. № 3. С. 189).

² По замыслу английского историка, автора популярного в России в 60-е годы XIX века сочинения «История цивилизации в Англии» (Лондон, 1857—1861), оно явилось только введением к более обширному труду, который содержал бы как общие теоретические построения истории, так и их применения к объяснению законов ее развития.

³ Наиболее полный разбор исследовательских обращений к указанным сюжетам и самой исторической концепции писателя и мыслителя сделаны В.Ф. Антоновым в монографии «Н.Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста» (М., 2000. С. 17, 21, 24—25, 38, 43—109). Сюда не включен анализ статьи: *Макаровская Г.В.* Проблема исторического прогресса в литературно-критических и социальных воззрениях Чернышевского (К постановке вопроса) // Н.Г. Чернышевский. История. Философия. Литература. Саратов. С.99—109, основные положения которой разделяет автор данной публикации.

⁴ Работы по данной проблеме отличаются противоположными мнениями по вопросу о том, испытал ли А.Н. Пыпин в 60-е годы влияние Н.Г. Чернышевского.

Частично историография темы освещена Л.М. Крупчановым в работе «Культурно-историческая школа в русском литературоведении» (М., 1983. С. 174—190). Признавая факт воздействия в этот период Н.Г. Чернышевского на А.Н. Пыпина, он приходит к выводам: «Философско-эстетические и социально-исторические позиции Чернышевского и Пыпина были различны» (С.190). Публикуемое сообщение обусловлено тем, что и в настоящее время исследователи отмечают: «Проблема идейных отношений между Чернышевским и Пыпиным требует более детальной проработки» (*Китаев В.А.* Рец.: Мои заметки. Вступ. ст. А.С. Озерянского. Саратов, 1996 // Отечественная история. 1998. № 3. С. 189).

⁵ *Чернышевский Н.Г.* Замечания на книгу Г.Т. Бокля «История цивилизации в Англии» // Полн.собр.соч.: В 15 т. М., 1939—1953. 1953. Т.16 (доп.). С.535—635, 735—736. В тексте и примечаниях указываются том и страницы данного изд.

⁶ См.: Там же. Ср.: *Евграфов В.Е.* О новонайденных текстах Н.Г. Чернышевского. Т.16. С. XXVII—XXIV. Сложившиеся в советский период стереотипы о Н.Г. Чернышевском как последовательном и бескомпромиссном критике социолого-политических и философско-экономических теорий буржуазной науки и о признании его вождем революционных демократов разрушает В.Ф. Антонов. См.: Указ.соч. Очевидна актуальность объективного осмысления роли Н.Г. Чернышевского в общественном движении XIX века. Отметим лишь, что для безоговорочного перенесения этой знаковой фигуры с левого фланга политических деятелей на правый фланг необходимо расширить анализ факторов, позволяющих сделать такой радикальный вывод. Иными словами, разбор подцензурных сочинений писателя, освещение историографии проблемы должны быть дополнены обстоятельным рассмотрением отношения к автору «Что делать?» правительств и представителей различных партий (как современных ему, так и последующих поколений). Глубоко и всесторонне должен быть прорисован сюжет, связанный с ответом на вопрос, почему большевики и приверженцы коммунистических идей в мировом сообществе считали себя продолжателями Н.Г. Чернышевского. С оценкой В.Ф. Антоновым ранее исторической концепции Н.Г. Чернышевского как идеалистической был не согласен В.А. Дьяков. Он допускал, что отдельные высказывания Н.Г. Чернышевского позволяют говорить о его отступлениях от материалистического понимания истории, но одновременно утверждал, что именно материализм первенствовал в подходе Николая Гавриловича к процессам общественно-го развития. См.: К спору об идейно-методологической основе исторических взглядов Н.Г. Чернышевского // Освободительное движение в России. Саратов, 1992. Вып.15. С. 63, 75.

⁷ См.: *Макаровская Г.В.* Указ. Соч.С. 103—106. Ср.: Чернышевский Н.Г. Июльская монархия // Т. 7. С. 109. Он же. Апология сумасшедшего// Там же. С. 618.

⁸ См.: *Пыпина В.А.* Университетский курс А.Н. Пыпин 1860-1861 // К биографии А.Н. Пыпина. ГМУЧ, ОФ №3915. Папка 3. Ср.: 1—16.

⁹ Там же.

¹⁰ См.: *Искендеров А.А.* Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. 1996. № 4. С. 3—31. *Ковальченко И.Д.* Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. 1995. № 1. С. 3—33.

¹¹ *Пыпина В.А.* Указ. соч. С. 9.

¹² См.: Там же.

¹³ Там же. С. 9—10.

¹⁴ Там же. С. 10.

¹⁵ *Пыпин А.Н.* Древний период русской литературы и образованности. Сравнительно-исторические очерки // Вестник Европы. 1875. № 12. С. 674.

¹⁶ *Пыпин А.Н.* История русской литературы: В 4 т. СПб., 1898. Т.1. С. 590.

¹⁷ *Пыпин А.Н.* О задачах русской этнографии // Вестник Европы. 1885. № 4. С. 785.

¹⁸ См.: *Пыпина В.А.* Указ. соч. С. 10.

¹⁹ *Пыпин А.Н.* История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1891. Т.2. С. 24.

²⁰ См.: *Крупчанов Л.М.* Культурно-историческая школа в русском литературоведении. Генезис. Развитие. Наследие А.Н. Пыпина: Дис. ... д-ра истор. наук. М., 1985. С. 157.

²¹ *Пыпин А.Н.* История русской литературы. Т.1. С. 183.

²² См.: *Павленко Н.И.* Историческая наука в прошлом и настоящем (Некоторые размышления вслух // История СССР. 1991. №.4. С. 87—88.

²³ *Пыпина В.А.* Указ. соч. С. 12.

²⁴ Там же.

В современной жизни компьютер занял важное место во множестве сфер жизни человека. Их число увеличивается с каждым днем. Компьютер стал и членом семьи, и коллегой, и приятелем для отдыха.

Первые ЭВМ появились в нашей стране в начале 50-х годов прошлого века, на них до появления персонального компьютера могли работать только специалисты высокой квалификации. С появлением персональных компьютеров в начале 80-х годов их использование приобрело массовый характер. В середине 80-х годов их насчитывалось несколько тысяч персональных компьютеров, в начале 90-х годов — несколько миллионов, а в середине 90-х годов — несколько десятков миллионов. По прогнозам специалистов их будет 1 млрд. Статистика также показала, что во второй половине 1997 года число компьютеров, объединенных Интернетом, превысило 150 млн.

Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Объем информации, идущей по каналам Интернета, трудно себе представить. Это миллиарды страниц текста, миллионы графических иллюстраций, сотни тысяч аудио и видеозаписей. И этот объем информации удваивается каждые 53 дня¹.

Электронных материалов о Н.Г. Чернышевском и А.Н. Пыпине чрезвычайно много, так что исследователю придется провести не один час и день за компьютером, погружившись в неимоверно большой поток информации, который постоянно пополняется новыми материалами. Данная работа предлагает краткий обзор материалов о Н.Г. Чернышевском и А.Н. Пыпине, с которыми может столкнуться для написания своих научных трудов исследователь, студент или школьник при написании рефератов или сочинений, а, возможно, и для более глубоких исследований.

Поиск информации о Н.Г. Чернышевском и А.Н. Пыпине шел через поисковые системы — aport, yandex, gambler, yahoo, altavista. Первоначально были просмотрены русские сайты. В результате были получены следующие сведения:

Поисковая система Yandex

Н.Г.Чернышевский — найдено 309 серверов, где представлено 17 078 документов

А.Н. Пыпин — 145 серверов, 3027 страниц

Поисковая система Rambler

Н.Г. Чернышевский — найдено 416 сайтов, 17 172 документа

А.Н. Пыпин — 34 сайта, 90 документов

Поисковая система Aport

Н.Г. Чернышевский — 156 сайтов, 382 документа

А.Н. Пыпин — 23 сайта, 40 документов

Поисковая система Yahoo

Н.Г. Чернышевский — найдено 10 вэб-страниц, где расположено 140 документов

А.Н. Пыпин — найдено 10 вэб-страниц, где имеется 44 документа

На русских сайтах можно найти все сведения, начиная от рождения Н.Г. Чернышевского и А.Н. Пыпина до их смерти, отдельные биографические моменты, упоминания в словарях различного рода, публикации их трудов и статей о них, музеях, теплоходе «Н.Г. Чернышевский» и даже на одном из сайтов в глаза бросилось название — отель «Н.Г. Чернышевский». В целом документов очень много, и мне показалось, что некоторые сайты могут их дублировать.

Есть интересная информация и на зарубежных сайтах, и человек, свободно владеющий иностранными языками, может очень много прочесть об этих персоналиях.

Возьмем основные языки: английский, немецкий, французский.

Английский язык

Н.Г. Чернышевский — 1 документ

А.Н. Пыпин — 168 страниц текста

Немецкий язык

Н.Г. Чернышевский — 50 документов

А.Н. Пыпин — 10 документов

Французский язык

Н.Г. Чернышевский — 1 документ

А.Н. Пыпин — 3 документа

С помощью поисковой системы altavista кроме этих данных были обнаружены еще дополнительные материалы о Н.Г. Чернышев-

ском в зависимости от написания его имени: Cerniscevski (итал.) — 2 документа (страничка о Саратове с упоминанием имени Н.Г. Чернышевского и материалы В.И. Ленина с упоминанием имени Н.Г. Чернышевского).

Cernyscevski (румын.) — 7 документов
Csernisevskiy (венгер.) — 1 документ
Cernisevski (словац.) — 135 документов
Cernyszewski (чешск.) — 2 документа
Czernyszewski (польск.) — 29 документов.

Среди них любопытны три работы о А.Н. Пыпине на французском языке. Две из них написаны Еленой Кокушкиной. Одна из работ называется «От Гумбольдта до Потебни: эволюция понятия «*innere Sprachform*» в русском языкознании». Опубликовано в тетрадах Фернанда Соссюра. (Женева, 2000. № 56. С. 101—122). В ней автор рассказывает о А.А. Потебне, занимающемся вопросами изучения языкознания в России, последователе языка Гумбольдта в России.

Пыпин упоминается здесь в ряду русских ученых А.Н. Весловского, Ф.И. Буслаева, которые развивали тезис о том, что язык проявляется лучше всего в его традициях и фольклоре. Здесь же встречается и имя Н.Г. Чернышевского и А.И. Герцена, которые, по мнению автора, высказали очень важную для своей эпохи мысль, согласно которой появление языка изменило всю психологическую жизнь человека. В списке использованной литературы указывается работа А.Н. Пыпина «История славянских литератур», вышедшая в 1890 году в Париже. Вторая работа Кокушкиной — краткое представление докторской диссертации «Д.И. Овсяннико-Куликовский (1833—1920) в европейской лингвистической традиции» (к 80-летию со дня смерти). Здесь она также упоминает имена Н.Г. Чернышевского и А.Н. Пыпина. Третий документ на французском языке взят из коллекции рукописей славянского раздела университетской библиотеки в Хельсинки. Мария Виджес дает обзор 200 славянским рукописям из этой части библиотеки. Обзор состоит из нескольких разделов, в частности, в разделе «Художественная литература» к рукописи «*Istoria o Kaleandre cesare greceskom i o Neonile cesarevne Trapezonskoj*», опубликованной в Мюнхене в 1768 году, дается библиография, где на первом листе упоминается А.Н. Пыпин и

работа «Для любителей старины». Сборник общества любителей русской словесности (М., 1891. С. 234).

Из английских материалов о А.Н. Пыпине можно выделить журнал *Acta slavica Japonia* (№ 16, 1998), издаваемый Славянским исследовательским центром университета Хоккайдо. Здесь помещена статья Пауля Бушкевича «Формирование национального самосознания», где в списке литературы имеются ссылки на пять работ Пыпина — «Мои заметки» (М., 1910); «История русской этнографии» (СПб., 1912); «Волга и Киев» (№ 7. 1885); «Малорусская этнография» (№ 1, 1886); «Обзор малорусской этнографии» (№ 10, 1885).

Интересен и другой материал об А.Н. Пыпине на английском языке. Это диссертация Гордона Кука, написанная в 1972 году и переработанная в 1994 году в связи с 200-летним юбилеем П. Чаадаева «Петр Чаадаев и повышение российской культурной критики 1800—1830 гг.», где автор рассказывает в предисловии о своей работе над диссертацией у нас в России и находке в архиве Е. Дашковой и А.Н. Пыпина микрофильмов с материалами по Чаадаеву.

Имя А.Н. Пыпина упоминается в списке литературы, посвященной Александру I, составленном Андреевой в 1997 году на английском языке; в католической энциклопедии русского языка и литературы как автор работы об Александре I и ряд других.

Большинство материалов на немецком языке посвящено Н.Г. Чернышевскому. Среди них привлекает внимание объявление «Виртуального издательства антикварной книги», которое действует с 15 мая 1996 года и предлагает всем желающим заказывать для себя и своих близких необходимые книги в качестве подарка. Посетитель сайта на немецком языке имеет возможность узнать о выходе в 1999 году антиклерикального календаря, где представлены наиболее видные деятели XVIII—XIX веков, и в графе октябрь 29 числа стоит дата смерти Н.Г. Чернышевского. Здесь же можно найти материалы К. Маркса и Ф. Энгельса, посвященные событиям в России XIX века и Н.Г. Чернышевскому.

Примечателен тот факт, что в каталоге антикварной литературы и философии букинистического магазина Томаса Блэкера мы видим имя Н.Г. Чернышевского и его произведения. Любопытны

следующие данные. В нашей литературе имелись сведения об издании «Что делать?» в Германии в 1883 и 1959 годах. Но в списке Томаса Блёкера имеются дополнительные издания романа в 1963, 1979, 1988 годах в Веймаре. Здесь же дается ссылка на роман «Пролог» издания 1963 года в Германии.

Заслуживает внимания и такой материал, как рассказ о Генрихе Дице, представителе немецкой социал-демократии, работавшем наборщиком в Петербурге в журнале «Современник», печатавшем роман «Что делать?» и впоследствии присоединившемся к русским деятелям.

Материалы об А.Н. Пыпине на немецком языке также интересны. Сред них — Русский биографический словарь (репринтное издание 1896—1918 годов. В 25 томах). Эту работу начали по инициативе Александра III такие известные ученые как Б. Бестужев-Рюмин, Б. Городецкий, Ф. Иконников, А. Кони, А. Пыпин и др. (объявление за апрель 2001 года).

Имя А.Н. Пыпина мы находим также в двух больших словарях, посвященных писателям (Buchstabe и Stichwort).

В 1995 году Институт славистики г. Кёльна провел несколько заседаний и исследований. На одном из них была представлена тема «История литературы культурной школы — Александр Николаевич Пыпин» — монография, составленная профессором Шварцем. В Zweigbibliothek Geschichte значится книга А.Н. Пыпина «Общественное движение при Александре I» (СПб., 1900).

Обзор представленных материалов — это лишь крохотная часть того, что имеется в глобальной сети Интернет о Н.Г. Чернышевском и А.Н. Пыпине. Современные технологии предоставляют возможности значительно экономить время исследователю, которое он должен провести в библиотеке, роаясь часами в каталоге, заказывая и ожидая книги.

Примечания

¹ Журин А.А., Милютин И.А. Основы работы на компьютере. М. 2001. С. 6.

² Никишин Н.А. Музей в глобальных электронных сетях. Сб. Музей и новые технологии. М. 1999. С. 182—183.

Различного рода словари писателей возникают обычно на достаточно высоком уровне изучения творчества и личности художника слова, его литературных контактов, духовной культуры эпохи. Объективные предпосылки давно сложились и для создания щедриноведческой энциклопедии и словаря библеизмов. Самым крупным достижением в подобного рода подготовительной работе стало двадцатитомное собрание сочинений Щедрина под редакцией С.А. Макашина, в котором впервые были прокомментированы многочисленные случаи обращения сатирика к библейским текстам. Но комментарий касался прежде всего выяснения источника цитаты или образа и раскрытия их общего смысла. Авторское переосмысление библейского материала, его сатирическая функция, место в идейно-художественном контексте почти не затрагивались¹.

Некоторые библейские образы и выражения упомянуты в работе Н.П. Матвеевой «Библеизмы в русской словесности: Словарь-справочник»², однако это обращение носило избирательный характер, библеизмы комментировались вне контекста, без указания их структурно-грамматических функций.

Б.И. Матвеев в статье «Библеизмы в прозе Салтыкова-Щедрина» выясняет место в его творчестве сюжетов, образов, крылатых слов, взятых из Библии. Выделив в сатире писателя три группы библеизмов (собственные имена, фразеологизмы и афоризмы), исследователь анализирует их функции, стилистическую окраску, наполнение новым содержанием иногда с изменением лексического состава. В редких случаях автор ссылается и на щедринские «Сказки», но также без учета контекста того произведения, в котором встречается библейский текст³.

Обращение Щедрина к Библии, к сюжетам, образам, мифам, отдельным выражениям является яркой иллюстрацией богатства и разнообразия авторских художественных приемов и средств. Библеизмы в щедринском использовании и интерпретации открывают такие черты его сатирического стиля, которые долгое

время оставались в тени. Писатель (в зависимости от художественно-эстетических задач) по-разному вводит библейский текст или образ в свое произведение: иногда он ограничивается воспроизведением смысла первоисточника, а иногда переосмысливает его в соответствии с идейно-художественным контекстом всего произведения или какой-либо структурой его части. Этому принципу писатель остается верен и в сказках.

Классификация всех случаев обращения Щедрина к Библии достаточно условна: библейские реминисценции, фразеологические обороты и выражения, библейские образы, сюжеты или отдельные сюжетные мотивы.

Большая часть библеизмов встречается в словах автора-повествователя, в его комментариях и характеристиках («скорпионы и раны», «аридовы веки», «древний Исав»), которые всегда служат сатирическим целям. Нередки включения библеизмов в речь персонажей сказок как средство их саморазоблачения. В этом случае они дают дополнительную, яркую и наглядную «подсказку» для понимания характеров и настроений щедринских героев (мифы о всемирном потопе, о Вавилонской башне, упоминание о царе Давиде, выражение «плясаше... играше»). Иногда библеизм используется в характеристике героя другим персонажем, что также усиливает сатирический эффект. Наконец, библейские материалы могут и не нести разоблачительных функций — направленность их определяется идейно-смысловой и художественно-эстетической нагрузкой («море ... древле ... поглотило стадо свиной»). Но какими бы ни были авторские задания, цитируемый источник в сатирическом тексте так или иначе обыгрывается писателем.

Главный принцип при составлении словаря библеизмов — алфавитный, наиболее удобный для читателя. При этом словарными становятся те слова, имена или выражения из Библии, которые являются ключевыми и, следовательно, несут основную смысловую нагрузку в щедринском тексте. Далее, если это возможно и необходимо, воспроизводится соответствующая цитата из Священного писания, выясняются ее функционирование в произведении писателя, смысловая и стилистическая трансформация.

«Аридовы веки» («Премудрый пискарь», с. 30; «Карась-идеалист», с.86): *восходит к жизни ветхозаветного персонажа Иаред, сына Малелиила, прожившего, как утверждается в тексте Священного писания, 962 года: «Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. По рождению Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иаред было девятьсот шестьдесят два года; и умер» (Бытие, V; 18—19). В сказке «Премудрый пискарь» выражение «аридовы веки» возникает в экспозиции, когда говорится об уме родителей пискаря: «И отец, и мать у него были умными; помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали (т.16, с. 30). В сказке «Карась-идеалист» это же словосочетание «аридовы веки» появляется после сцены споров карася с ершом. Карась, рыба «смирная и к идеализму склонная», убежденно говорил ершу о том, как следовало бы жить всем рыбам («надобно, чтоб рыбы любили друг друга»), пылко рассуждал о гражданских правах. И при каждой новой встрече карась поднимался все выше в созданные им «эмпиреи»: «Дни проходили за днями, а карась все бредил» (с. 86). После этих характеристик появляется еще одно авторское заключение: «И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся» (с. 86). Но страсть к «диспутам» и проповедям идеи социального равенства привела его к трагическому финалу: щука «машинально», «не желая» того, «проглотила» карася.*

В обеих сказках выражение «аридовы веки» означает долгую, спокойную жизнь. Оно не случайно появилось у Щедрина при описании жизни именно подводных обитателей, существование которых было подчинено своим, давно установленным, медленно текущим, вечным законам. В контексте сказки наблюдается несомненное снижение высокого смысла библейского текста за счет его иронического наполнения. В сказке «Карась-идеалист» словосочетание «аридовы веки» соседствует с просторечным словом «растабарывает» (у Даля: «растарабариться — разговориться, разболтаться»). В сказке «Премудрый пискарь» оно применено к родителям пискаря, считавшимися «умными» только потому, что дожили до глубокой старости и не попали «ни в уху, ни щуке в хайло».

«Вавилонское столпотворение», «всемирный потоп» («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», с.12). *Салты-*

ков обращается к широко известным ветхозаветным мифам, о которых беспредметно рассуждают два «легкомысленных», «ничего не понимающих» генерала. Читаем в Библии: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они <потомки Ноя> нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там». Вскоре они решили построить город и башню из опасения, как говорится в «Библейской энциклопедии», «угрожающего ему <племени Хамова> расселения и рабства». Вавилонская башня же должна была служить «центром всех племен и в то же время знаком их равенства». В Библии далее приводятся слова Господа: «... вот, один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать... сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо смешал Господь язык всей земли» (Бытие, XI; 1—9).

Упоминание генералами «потопа» связано с легендой о всемирном потопе, о котором в книге Бытия сообщаются следующие сведения: «И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею... И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы... И лишилась жизни всякая плоть... и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни ... умерло... все истребилось с земли: остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» (Бытие, VII; 17—24).

В тексте щедринской сказки рассуждения о реальности этих двух мифов возникает лишь после того, как генералы, благодаря стараниям мужика, сделались «веселые, рыхлые, сытые, белые», и на сытый желудок появилась возможность поговорить на достаточно возвышенные темы:

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей?

Можно подумать, что выбор Салтыковым самих мифов достаточно произволен, так как их смысл ничем не связан со смыслом сказки. Но не исключено, что течение мыслей генералов определялось их пребыванием на необитаемом острове, со всех сторон окруженном водой. Для характеристики «легкомысленных» генералов любопытна их аргументация последствий «вавилонского столпотворения» и «потопа»: следствием первого, по их мнению, стало «существование различных языков на свете», а реальность второго объясняется существованием «допотопных зверей». Возникновение библейской темы в разговоре генералов свидетельствует об алогичности их мыслей, о случайности предмета обсуждения, о крайней духовной ограниченности шедринских «робинзонов». Этот авторский прием направлен на самодискредитацию героев и на усиление обличительного пафоса сказки в целом.

«Гефсиманский сад» («Христова ночь», с. 207). В сказке, получившей подзаголовок «Предание», использован евангельский миф о предательстве Иуды и воскресении Христа. Сила этого произведения — в обличении предательства, которое связывается не только с именем Иуды, продавшего Иисуса за «тридцать сребренников», но и с поведением некоторых слоев русского общества в эпоху реакции 80-х годов, когда отступничество, измена убеждениям стала характерным «признаком времени». Вспоминая драматические обстоятельства, предшествующие гибели Христа, автор-повествователь раскрывает сложные психологические чувства, охватившие его в Гефсиманском саду: «... сердце... затуманилось... великою и смертельною скорбью, ... до краев переполнилось... в ожидании чаши, ему уготованной» (с. 207). В Евангелии сообщается, что именно «в Гефсимании», куда Иисус пришел со своими учениками, ему открылась страшная истина, что «один из двенадцати», а именно Иуда, предаст его: «... вот приблизился предающий Меня». И когда еще говорил Он, Иуда... пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями... Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас подошел к Иисусу, сказал: ра-

дуйся, Равви! И поцеловал Его... и взяли Его» (Евангелие от Матфея, XXV, 36, 46—49).

Голгофа («Христова ночь», с.207). Салтыков, говоря о «высотах Голгофы», с которых Христос видел всех, «окутанных сетями рабства», откуда всех «благословил, совершая свой крестный путь», имел в виду «лобное место» (по-еврейски — Голгофа), где на кресте Иисус был распят. В Евангелии Христос обращается не к «многострадальному воинству», а к женщинам, «которые плакали и рыдали о Нем», а он их утешал: «... дочери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших» (Евангелие от Луки, XXIII, 27, 28); к Матери его и одному из своих учеников: «Жено! Се сын Твой» и «се, Мать твою» (Евангелие от Иоанна, XIX, 25—27).

Писатель снял присущее евангельским мифам религиозное смирение и акцентировал внимание читателя на близости Христа к народу: «... все они <»люди плачущие, согбенные под игом работы и загубленные нуждою»> жаждут его и рвутся к нему... простирают к нему руки: «Господи! Ты ли?» (имеется в виду сцена воскресения Христа).

Давид, закон Давидов («Пропала совесть», с.22) — образ библейского царя, о котором подробно рассказывается в «Первой», «Второй» и «Третьей Книге Царств» из Ветхого Завета. Здесь он выступает как царь Израиля, который в начале своего царствования овладел Иерусалимом, взял крепость Сион у Иевусеев. При мудром и кротком правлении Давида город быстро и значительно расширился. Так что в новую столицу был торжественно перевезен ковчег Завета. Давид прославил свое имя и множеством других богоугодных поступков. Но цари Израиля, в том числе и Давид, не создавали новых законов, а стремились следовать заповедям Бога Яхвы, записанным в «Книгах Моисея». (Подробнее о Давиде и реминисценции «плясаше-играше»).

Евфрат и Тигр ... Ева («Дикий помещик», с.27). «Глупый» помещик, «князь» Урус-Кучум-Кильдибаев, оставшись, по собственной воле и мольбам крестьян, без мужиков, начинает вести новую, наполненную бесплодными мечтами жизнь: «Думает <он>, какие... машины из Англии выпишет, чтоб все паром, да паром... какой... плодовый сад разведет..., каких... коров..., какой клубники насадит»,

сколько продаст ее в Москве... Сны, которые ему снятся, служат продолжением пустых дневных фантазий: губернатор, узнав о его «непреклонности» в отношениях с мужиком, «министром сделал». Кульминацией сна является его появление на «берегах Евфрата и Тигра» и встреча с Евой.

Известно, что великие реки Евфрат и Тигр упоминаются в Библии как две из четырех рек, омывавших земной рай Едем (Эдем): «Из Едема, — читаем в Библии, — выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон..., имя второй реки Гихон. Имя третьей реки Хиддекиль (Тигр)... Четвертая река Евфрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Бытие, II; 10—15).

Здесь и встречается «глупый помещик» Еву, сотворенную Богом из ребра Адама в качестве его жены (Бытие; 21—23).

Иов («Деревенский пожар», с.185). Напоминание батюшки обезумевшей от горя матери, потерявшей в пожаре сына, притчи об Иове («а Иова помнишь?») должно было утешить, успокоить женщину. Он по сути дела пересказывает историю жизни праведника Иова. В «Книге Иова» читаем:

«Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имение у него было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги; и был этот человек знаменитее всех сынов Востока... И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана... И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?: ...Но простри руку твою и коснись всего, что у него — благословит ли от Тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него, в руке твоей... И вот приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, и ослицы паслись возле них, как напали савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча... приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их... приходит другой и сказывает: Халдеи рас-

положились тремя отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча...

И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, дом упал на отроков, и они умерли...

Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!..

И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: Ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри! Но он сказал ей: ... Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими... И возвратил Господь потерю Иова... и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде... И умер Иов в старости, насыщенный днями» (Книга Иова, I, II; 7—11; 42; 10—17).

В передаче этой притчи батюшкой отсутствует детализация (она в трагической ситуации лишена смысла), опускает он и диалоги Господа и Иова, и реакцию Иова на советы жены, и многочисленные испытания, посланные «непорочному» человеку. В то же время в щедринском тексте сохраняются эмоциональная насыщенность первоисточника и глубокий драматизм: батюшка, специально сгущая краски, упомянул псов, лизавших проклятого Иова («Псы лизали его раны... псы!»). В Библии эта деталь в описании страданий Иова отсутствует. Однако Татьяна не слышит речей «утешителя»: «Батюшкины увещевания доходили до <нее> в форме смутного и назойливого шума» (с. 185).

По мысли автора, этот эпизод должен был сделать очевидной бесполезность «утешений» (даже в виде библейской притчи) в момент, когда горе и страдания заслоняют все остальное. Действие подобных несвоевременных и церковно-официальных проповедей производит скорее обратный эффект. Автор комментирует неудачные попытки батюшки одной яркой по своей реалистической суровости деталью: Татьяна «устремилла глаза на ту линию, которая разделяла уцелевшую часть Петькина лица от обуглившейся и тихо шептала: «Господи! Видишь ли?»» (с. 185). Высокий

эмоциональный уровень этой сцены создается столкновением привычных для церковника слов утешения («батюшка поспешил с утешением») с подлинным, безутешным материнским горем.

Исав («Дикий помещик», с. 28). К выразительному сравнению «дикого помещика», «князя Урус-Кучум-Кильдибаева» с древним Исавом Салтыков прибегает тогда, когда одичание помещика, изгнавшего из своего поместья мужиков, достигло своего апогея. Не только «в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют», но и сам «глупый помещик» потерял человеческий облик: «утратил способность произносить членораздельные звуки», начал лазать по деревьям, ходить на четвереньках. Изменился и его облик: «Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав» (с.28).

Библия описывает Исав как человека, косматого от рождения, отчего и дано ему было это имя (волосатый, косматый). Он сын Исаака и Ревекки, брат Иакова. «Первый вышел красный весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав» (Бытие, XXV; 25). В Библии имеется еще одна характеристика Исавы, отчасти отраженная в образе жизни «дикого помещика»: «Дети выросли, и стал Исав искусным в звероловстве, человеком полей» (Бытие, XXV; 27).

Первоначальное сравнение одичавшего помещика с «косматым» Исавом уже подготовило читателя к восприятию необыкновенных охотничьих способностей щедринского героя: «Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест» (с. 29). Введение в текст сказки библейского персонажа, хорошо известного читателю, позволило сатирику создать очень выразительный облик своего героя, показав степень его одичания и нравственного падения. Показательно, что этот эксперимент «глупого помещика», фанфарона и беспочвенного мечтателя, с мужиками не прошел даром: он, как пишет Салтыков, хотя и жив «доныне», но «умывается лишь по принуждению и по временам мычит» (с. 30).

Искарриот («Игрушечного дела людишки», с. 107); **Иуда** («Христова ночь», с. 209—210). Библейский образ Иуды Искарриота в речи «игрушечного дел мастера» Изуверова является не столько символом предательства и отступничества (Евангелие от Луки, XXII;

2—6; 47—48. Евангелие от Иоанна, 18; 1—3 и др.), сколько просто бранным, ругательным, оскорбительным словом, адресованным кукле «Лакомка» с ее «постыдным характером занятий» (с.107). Почуввав «приближение женского пола», «Лакомка» «замахал свободной рукой, то прижимая ее к сердцу, то поднося к губам». Но когда вместо «какой-нибудь ветреной маркизы» из-за ширмы-занавески, скрывающей «вход для прелестниц», вышла старуха-мещанка с прошением в руках и «тотчас же бросилась на колени перед «Лакомкой», он «ужасно разгневался:

— Вззз... — шипел он злобно, топая ногами и изо всей силы потрясая крошечным колокольчиком.

— Ишь, Искарриот, ошалел! — шепнул ... Изуверов, по-видимому, принимавший в старухе большое участие» (с. 107).

Контекст позволяет говорить о том, что имя «Искарриот» употреблено Изуверовым для крайне негативной характеристики поведения попечителя «по благотворительной части». Подтверждением этому служат резкие слова мастера в адрес этой куклы с ее «Приютом слатких адахнавений»: «И чтобы он, расподлец, хворости или старости на помощь пришел — ни в жизнь этому не бывать!» (с.107).

В сказке «Христова ночь» имя Иуды ни разу не названо писателем. Оно заменено экспрессивным синонимом «предатель». Только так называет его «воскресший», который, увидев его повесившимся, «воспылал гневом» и «осудил» его «на жизнь» «из века в век», на проклятия всех тех, с кем ему предстояло встретиться (с. 209—210). Салтыков, как видим, переосмыслил евангельский миф о самоубийстве Иуды.

В Евангелии от Матфея читаем: «Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшим, говоря: согрешил я, предав кровь невинную ... и бросив сребренники в храме, ... вышел, пошел и удавился» (XXVII, 3—5).

В.Н. Баскаков и А.С. Бушмин справедливо отмечают, что в сказке «отвергается идея прощения предателя и звучит призыв беспощадно карать его».

«... кийждо под смоковницею своей...» («Деревенский пожар», с. 184). Эта несколько сокращенная цитата из Третьей Книги Царств

(«кийждо под виноградником своим и под смоковницею своею», IV, 25) вводится Салтыковым в слова-«утешения» сельского батюшки, обращенные к деревенским погорельцам. «Словоохотливый» батюшка призывал мужиков не роптать, не унывать, сохранять в сердцах «страх божий»: «В будущем... году и не увидите, как на месте истребленных неумолимым пламенем хижин будут красоваться новые дома, удобные и просторные, и все вы поживете в них, кийждо <каждый> под смоковницею своей...» (с. 184).

Использование этого текста в речи батюшки иносказательно означало мир и благосостояние, хотя вряд ли мужики, лишь низко кланявшиеся батюшке, понимали смысл этого выражения. В Библии оно включено в рассказ о жизни Иудеи и Израиля при мудром и богатом царе Соломоне: «Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились... жили... спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею... во все дни Соломона (IV, 20, 25). Смоковница — это дерево, которым в древности изобиловала Иудея и плоды которого высоко ценились на Востоке. Сатирику понадобилась эта фраза, чтобы показать пропасть между духовными «увещеваниями» сельского батюшки и реальным драматизмом положения крестьянской России.

«Кто осла дивия быстра соделал? Узы ему кто разрешил?» («Медведь на воеводстве», с. 58). Почти дословная цитата из Библии («Кто пустил дикого осла на свободу и кто разрешил узы онагру...?» — Книга Иова, XXXIX, 5) возникает в смятенном сознании Топтыгина 3-го, прибывшего на воеводство после своих «тезоименитых предшественников». Размышляя о методах «подтягивания» «лесной сволочи», о запрещении всех вообще «злодейств», Топтыгин связывает сложность своего положения с деятельностью осла, по докладу которого Лев и подписал соответствующую резолюцию «О приговоре Истории», о которой следовало «дать знать майору Топтыгину 3-му». «На что похоже! — возмущается новый воевода. — А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? Узы ему кто разрешил?» — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!» (с. 58).

В Библии в диалоге с Иовом Бог в качестве доказательства своего могущества приводит пример с онагром (диким ослом):

«Кто пустил дикого осла на свободу и кто разрешил узы онагру, которому степь Я назначил домом и солончаки — жильем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщиков, по горам ищет себе пищи и гоняется за всякою зеленью!» (XXXIX, 5—8). Здесь заключена мысль о первичности Бога-Творца. В сказке библейский текст используется в близком, но несколько сниженном плане.

Точнее понять смысл упреков Топтыгина 3-го в адрес Осла поможет сопоставление поступков этого воеводы с действиями его предшественников, а также сравнение их взаимоотношений с советником Льва. Именно Осел за Топтыгина 1-го «перед Львом предстательствует», и воевода прислушивается к его советам, но остерегается его, боясь, что именно Осел скажет Льву о его «майорской проказе» (он по неосторожности «чижика съел»). Но когда Осел, получив от Топтыгина «кадушку с медом в презент», написал Льву новые подвиги «медведя на воеводстве», Лев не только не наградил его, но приказал уволить в отставку.

«Люби бога и люби ближнего, как самого себя» («Христова ночь», с. 208; «Рождественская сказка», с. 219). Салтыков использует две основополагающие евангельские заповеди. В «Христовой ночи» их произносит воскресший Христос, обращаясь к ожидающим его людям («... вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцем» (с. 208); в «Рождественской сказке» эти священные слова вложены в уста сельского батюшки, разъясняющего прихожанам, «в чем заключается Правда». Он подчеркивает, что «заповедь эта, несмотря на свою краткость, заключает в себе всю мудрость, весь смысл человеческой жизни» (с. 219).

«... море ... древле... поглотило стадо свиней» («Гиена», с. 197). Заканчивая свое повествование о гиене, о ее характере и повадках, Салтыков задается вопросом, «что же означает вся эта история и с какой целью она написана?», и отвечает так: «... чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским». А чтобы это произошло, нужно, по мнению писателя, «осветить сердца и умы сознанием, что «гиенство» вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывает ему безумный и злой предрассу-

док». Как только это просветление состоится, «не будет надобности и в приручении „гиенства“ — зачем? — ... а будет оно само собой все дальше и дальше удаляться вглубь, покуда, наконец, море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиной» (с. 197).

В финале этого поучения, как видим, автор и использует евангельский миф об исцелении Иисусом Христом «одержимых бесами». В Евангелии читаем:

«И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах... Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: «легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиной; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиной; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло» (Евангелие от Луки, VIII, 26—33). Последняя часть мифа в Евангелии от Матфея несколько отличается от процитированного варианта: бесы, выйдя из «двух бесноватых», «пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиной бросилось с крутизны в море и погибло в воде» (Евангелие от Матфея, VIII, 32).

Щедрин, как видим, не дословно приводит известный миф. Он заменяет слова «потонуло», «погибло» более экспрессивно окрашенным «погловило». Этот возвышенно-взволнованный стиль сохраняется и в том случае, когда автор признает, что «гиенство» готово весь мир «заполонить», что «и одесную и ошую распространило криле и вот-вот задушит все живущее» (с. 197). Однако сознание художника-просветителя противится такому мрачному финалу. И в связи с этим возникает потребность обращения к евангельскому мифу, чтобы с его помощью выразить уверенность в окончательном торжестве «человеческого» над «гиенским». Миф как бы подводит итог его размышлениям о возможных вариантах двух начал в жизни общества: «гиенство» погибнет, как некогда было поглощено морем стадо свиной, одержимых бесами. Гибель этого «стада» означает полную и необратимую гибель всего темного и безобразного. Реминисценция в сказке-поуче-

нии позволила сатирику наиболее ярко и образно воплотить взгляды просветителя на социальную и моральную проблему конечной победы «человеческого» над «животным», прогресса над реакцией.

«... муж, иже жены своя...» («Игрушечного дела людишки», с. 92-93). Городничий, наставляя мастера Изуверова, «проштрафившегося» тем, что не хотел жить со своей женой, «бабой», с точки зрения Вальяжного, «печь печью», произнес: «Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: «Муж, иже жены своя», — хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: — Ах-ах-ах!» (с. 92—93).

Как и генерал из сказки «Пропала совесть», городничий пытается прибегнуть к помощи Библии, но он толком не знал даже начала Ветхого Завета, откуда скорее всего намеревался извлечь наидание: «... она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть» (Бытие, II, 23—24).

«Непрелюбысотворение» («Добродетели и Пороки», с. 47). В сказке разоблачаются моральные принципы современного Салтыкову общества, построенного на сосуществовании Пороков и Добродетелей на почве Лицемерия. Рассказывая об истории их вражды и союза, сатирик прослеживает их внутреннее родство: не даром Добродетели мечтают о том, чтобы им, подобно Порокам, «удалось хорошенькое дельце обделать». При этом автор добавляет саркастически: «Да, признаться сказать, под шумок и обделывали» (с. 44).

Попытки проникнуть в стан Пороков с помощью Умеренности и Аккуратности не удалась Добродетелям. И чтобы доказать им, что «их на кривой не объедешь, на всю ночь закатились в трактир «Самарканд» <один из самых разгульных петербургских ресторанов>, а под утро, расходясь оттуда, поймали Воздержанье и Непрелюбысотворение и поступили с ними» крайне «низко» (с. 47). Щедринский фразеологизм включает в себе одну из евангельских заповедей «не прелюбы сотвори» («не прелюбодействуй»).

В «Евангелии от Матфея» в двух местах упоминается об этой заповеди. В одном случае она называется в ряду других («Иисус

же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего своего, как самого себя...» (XIX, 17—19). В другом размышления о христианских нравственных началах сосредоточены на двух принципах: «не убий» и «не прелюбодействуй» (V, 21, 27—32).

Антиподом «непрелюбысотворения» в сказке является порок «Прелюбодеяние» («... Прелюбодеяние в одном белье с лестницы спустили» (с. 46). Вся сказка построена на соединении оппозиций: Добродетель — Порок, Опыт добродетельный — Опыт порочный, Любострастие — Смирение, Воздержание — Распутство. Во всех случаях сатирик дает типично русские обозначения пороков, когда же речь заходит о такой Добродетели, как непрелюбодеяние, он использует старославянский вариант «не прелюбы сотвори».

На первый взгляд, такая форма звучит более высоко и торжественно, но в контексте, а главное — в итоге взаимоотношений Добродетелей и Пороков («почва для соглашения была сразу найдена» (с. 50) она приобретает явный оттенок авторской иронии («С тех пор пошло между Добродетелями и Пороками гостеприимство великое» (с. 50).

«плясаше — играше» («Пропала совесть», с. 22). Сказка «Пропала совесть» посвящена такой этической проблеме, как деморализация общества. В ней выражена вера писателя-просветителя в преобразующую роль Совести, которая спасет мир от несправедливости и насилия.

Обращение к Библии возникает здесь в тот момент, когда совесть, после долгих скитаний, попадает к ростовщику-еврею Самуилу Давыдовичу Бржоцкому. Избавиться от этой «ненужной» «вещи» он решает, прибегнув к пожертвованию в «некоторое благотворительное учреждение». Запечатав в конверт вместе с Совестью сотенную ассигнацию, Бржоцкий отправился к знакомому генералу, начальнику этого учреждения.

- Что же-с! это похвально! — отвечал генерал, — я всегда это знал, что вы... как еврей... и по закону Давидову... Плясаше — играше... так, кажется?

Генерал запутался, ибо не знал наверное, точно ли Давид издавал законы или кто другой» (с.22).

В этом эпизоде Салтыков обращается к реминисценции, восходящей к Ветхому Завету, ко Второй Книге Царств, где сказано: «Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава... А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом... Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками... И сказал Давид Мелхолье <дочери Саула, которая, видя все это, уничижала его в сердце своем>: «перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля, — перед Господом играть и плясать буду» (Вторая Книга Царств, VI, 3, 14, 15, 21).

В тексте сказки генерал, обрадовавшись пожертвованию и в то же время крайне удивившись, не на шутку разволновался, поэтому речь его стала прерывистой. В его памяти смутно всплыл сюжет из Библии, относящийся к одной из страниц истории Израиля, отсюда его несвязное бормотание: «что вы... как еврей... и по закону Давидову... Плясаше — играше...». Генерал плохо знал Ветхий Завет и его героев. В описании жизни царя ни о каких законах Давидовых не упоминается.

Обращение к Библии одного из персонажей сказки «Пропала совесть» позволило сатирику показать не только комичность и неожиданность ситуации (пожертвование Бржозского), но и необразованность генерала, представителя высшего чиновничества, запутавшегося в одном из библейских эпизодов и потому представшего перед читателем в явно невыигрышном свете.

«... раны... скорпионы» («Игрушечного дела людишки», с. 91; «Вялая вобла», с. 69). В обоих этих (разных по типу сказок) произведениях встречается библейское выражение («раны и скорпионы»). В сказке «Игрушечного дела людишки» оно появляется в рассказе об истории города Любезнова, который когда-то назывался Буяновым «за крайнюю необузданность его обывателей», когда они не только «не оказывали начальству должных знаков почитания», но одного из градоначальников «продали в рабство в соседний город» (с. 90). «Конец этой неурядице» положили четыре «удачных и продолжительных» правления. «Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй — скорпионы, третий — согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами» (с. 91).

То есть во всех случаях применялись самые суровые и жестокие меры подавления самостоятельности, инициативы, свободы, или «буйства», жителей провинциального городка.

Библеизм восходит к Ветхому Завету, где в одной из глав рассказывается о начале царствования Ровоама, сына Соломона, и его бесславном бегстве из Израиля. Именно он отверг совет старцев «быть слугой народа» израильского и последовал совету молодых людей «увеличить иго». Ровоам сказал: «... отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (Третья Книга Царств, XII, 6—14).

«Библейская энциклопедия» поясняет, что «под словом „скорпионы“ разумеется... орудие наказания, похожее на наш бич, но с многими узлами и малыми камнями на конце, каждый удар которого по спине должен был производить мучительную боль»⁴.

В сказке «Вяленая вобла» выражение «скорпионы и раны» появляется в связи с размышлениями сатирика о состоянии общественного сознания в «смутное, неверное и жестокое» время, т. е. в эпоху реакции 80-х годов, когда одни слои («убежденные люди») «надрывались, мучались, метались, вопрошали» (с. 69), а другие (люди типа «вяленой воблы») проповедовали «умеренность и аккуратность», самосохранение, консерватизм, освобождение от «лишних мыслей», «лишних чувств» и «лишней совести» (с. 68). Эти идеи проникли в широкие слои общества, в среду «пестрых людей», которые в конце концов, пройдя «короткий период задумчивости», «стыдливости», «волнения», отрезвились» (с. 69) и полностью подчинились господствующему настроению: «Не растут уши выше лба», «тише едешь — дальше будешь», «ты никого не трогаешь, и тебя никто не тронет».

Четвертая категория людей 80-х годов — это «клеветники и человеконенавистники», которые во многом способствовали появлению морали «вяленой воблы». В то же время они «повлияли на решение пестрых людей», так как «ежеминутно» «показывали» «перспективу... скорпионов и ран», взывая к «посредничеству ежовых рукавиц», угрожая «согнутием в бараний рог» (с. 69).

Таким образом, библейское «скорпионы и раны», соседствуя с щедринизмами, имеющими значение жестокого преследования,

усиливает степень этой жестокости. Такое же семантическое окружение этого библеизма в сказке «Игрушечного дела людишки» позволяет автору создать ярко выраженный сатирический колорит.

Исследование библеизмов в щедринском сказочном цикле позволяет говорить о широком и разностороннем использовании писателем текста Священного писания. Цитирование источника в его «первозданном» виде, его творческое переосмысление, подчинение определенным идейным установками, сатирическим целям, эстетическим задачам — таков диапазон освоения ветхозаветного и новозаветного материала, под пером Мастера превратившегося в явление высокой художественной силы. В отличие от других писателей-современников (например, Достоевского, Толстого), Щедрин чаще всего прибегал к сатирическому переосмыслению библейского текста, но нередко он служил писателю для углубления психологических характеристик героев или какого-либо социально-нравственного явления.

Библеизмы в щедринской сатире — один из приемов расшифровки сложных иносказаний, особенно необходимой читателю иных эпох. Словарный принцип расположения библеизмов, несомненно, облегчает поиски ответов на многочисленные стиливые и содержательные «загадки» писателя, которыми насыщено все его творчество.

Примечания

¹ Библеизмы в сказках Щедрина зафиксированы в примечаниях к сказкам писателя. См.: *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1974. Т.16. Кн. 1. (Коммент. В.Н. Баскакова, А.С. Бушмина).

² *Матвеева Н.П.* Библеизмы в русской словесности: Словарь-справочник // *Русская словесность.* 1993, 1994, 1995. № 2—5.

³ *Матвеев Б.И.* Библеизмы в прозе Салтыкова-Щедрина // *Русская речь.* 2001. №2.

⁴ *Библейская энциклопедия.* Труд и издание архимандрита Никифора. М., 1891. Текст печатается в современной редакции. М., 2001. С. 639.

**«Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина: смысл
и поэтика подзаголовка «Житие Никанора Затрапезного»**

Е.А. Ремпель

Одно из великих предсмертных творений Салтыкова-Щедрина — «Пошехонская старина» — имеет подзаголовок «Житие Никанора Затрапезного». В романном творчестве сатирика это единственный пример, когда писатель почувствовал необходимость уточнить название своего произведения, предлагая читателю еще и подзаголовок. Но этот факт в щедриноведении как-то остался без внимания. Единственное, что заинтересовало исследователей, — это слово «житие». Так, Н.В. Яковлев, сравнивая разные редакции «Пошехонской старины», подчеркивал, что Салтыков, хотя и заменил по цензурным соображениям в одной из редакций слово «житие» на «жизнь и приключения» Никанора Затрапезного, тем не менее «мыслил именно о „Житии“ <...>, а не о „приключениях“ какого-нибудь дворянского „Савраса без узды“»¹. И.П. Видуэцкая, затрагивая вопрос о жанровой природе этого произведения, отмечает, что авторское определение «житие» «не противоречит рассмотрению „Пошехонской старины“ в ряду произведений, относящихся к жанру семейной хроники»². С.А. Макашин выделяет в «Пошехонской старине» три слоя: «хронику», «публицистику» и «житие» — «повесть о детстве главного персонажа, Никанора Затрапезного, написанную на автобиографической основе»³.

В любом случае наличие данного подзаголовка свидетельствует о специфике художественной структуры романа, и, главное, он позволяет глубже проникнуть во «внутренний» мир хроники, четче определить авторскую позицию в тексте. Кроме того, уже в подзаголовке обнаруживается одна из главных особенностей поэтики этого произведения (так же, как и всего творчества Салтыкова) — использование библейских жанров, цитат, сюжетов, имен для реализации авторской концепции.

Житие, действительно, — самый распространенный агиографический жанр древнерусской литературы, в котором повествуется о подвижнической жизни святого и совершаемых им подви-

гах и чудесах. Русская литература знает немало случаев обращения к этому жанру. Так, в 1863 году появилась повесть Н.С. Лескова «Житие одной бабы», в которой писатель поведал трагическую историю крепостной девушки Насти. Слово «житие», используемое в названии этого произведения, позволило Лескову с небывалой широтой охвата изобразить несчастную жизнь Насти, которая знала только одни страдания и лишения, перенося их удивительно стойко и безропотно, но кроме того, выбранная форма повествования помогла автору создать обобщенный образ русской крепостной женщины. Еще один из ярких примеров обращения к жанру жития — тщательно продумываемое, но так и не написанное «Житие великого грешника» Ф.М. Достоевского (идея этого романа изложена в дневниковой записи от 3/15 мая 1870 года). Одушевленный своей идеей о возможности каждого человека обрести спасение, приблизиться к Богу через осознание своей греховности и искупления ее тяжелыми страданиями, Достоевский хотел написать роман о том, как великий грешник становится святым. И контраст, заключенный в оксюморонном названии произведения, как нельзя лучше отражал духовные поиски писателя. В щедринском подзаголовке также присутствует контраст, вызываемый несоответствием между жанром и героем, на первый взгляд явно не достойным быть описанным в житии. Как явствует из подзаголовка, это самый обыкновенный человек, пошехонский дворянин. Эту обычность героя подчеркивает и его фамилия, заключающая в себе оттенок даже некоторой грубоватости, сниженности. Так, слово «затрапезный» характерно для разговорного обихода и обозначает «повседневный, заноченный».

Но, как нам представляется, для Щедрина важен был не этот контраст. Сатирика интересовало прежде всего богатое смысловое наполнение «жития». С одной стороны, Щедрин действительно использует это слово как обозначение определенного жанра. «Пошехонскую старину» тоже можно рассматривать как своеобразное «житие» Никанора Затрапезного, так как в хронике рассказывается о его детстве и, что особенно важно, о его духовном развитии. Известно, что Щедрин хотел продолжить хронику описанием юности этого героя, но замыслу так и не суждено было

осуществиться. История Никанора, ощутившего на себе всю тяжесть и незавидность положения нелюбимого сына, испытывавшего все виды физических страданий, какие только можно предположить (постоянное чувство голода, полное отсутствие гигиены и опрятности во внешней обстановке), мало чем отличается от мученической жизни святого. Не случайно Щедрин даже опасался, что его могут упрекнуть в описании не действительности, а «какого-то вымышленного ада»⁴. Однако следует заметить, что если в «житиях» тяжелый и долгий путь аскетического подвижничества героя являлся испытанием его праведности, стойкости и ревности в православной вере, то у Щедрина лишения, выпавшие на долю Никанора, предстают как жестокая несправедливость, как трагедия, в результате которой «детская жизнь подтачивается в самом корне, подтачивается безвозвратно и неисправимо» (с. 79). В таком смысловом контексте подзаголовок «Житие Никанора Затрапезного» приобретает явно сатирический подтекст, который имеет исключительную значимость. Таким образом, слово «житие» как жанровое обозначение создает в хронике очень важный и сложный смысловой слой, необходимый для реализации авторского замысла.

Кроме того, это слово, обладающее богатой семантикой, интересует писателя, так же как и Н.С. Лескова, и в своем прямом значении, в том, в каком оно употребляется в святоотеческой литературе, а также встречается в Библии, означая жизнь, образ жизни. Приведем некоторые примеры использования этого слова в Ветхом Завете: «Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Бытие 6—9). Или: «Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моём, и в ярости Моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие» (Иер. 32—37).

Главной задачей Щедрина в хронике было, по его собственному определению, восстановить «характеристические черты так называемого доброго старого времени», изобразить пошехонскую жизнь, причем в ее обычном, будничном, повседневном проявлении, охватывая все ее существенные моменты. Этой установке художника соответствует и сам тон повествования — неторопливый, размеренный, призванный отразить медленное течение жиз-

ни. Все каждодневные ее проявления, распорядок дня, привычки, еда, поведение обитателей Пошехонья — ничто не ускользает от внимания Щедрина, каждая мелочь предстает подробно и обстоятельно выписанной.

Восстанавливая эти «характеристические черты» пошехонского быта, писатель постоянно задается вопросами философско-этического характера: а что же такое жизнь, что вообще значит жить и живут ли в настоящем смысле этого слова пошехонцы? Вот, например, Аннушка, героиня одноименной главы, уверена, что она «бодро пойдет навстречу безболезненной и мирной кончине, а до тех пор будет сидеть за печкой и «жить». Да и тетеньки, покуда она там покряхтывает и почесывается, будут с уверенностью утверждать, что ежели Аннушка почесывается, то, значит, она «живет» (с. 262). Также и все остальные герои хроники убеждены, что они «живут».

Вообще Салтыков, продолжая русскую культурную традицию XIX века, постоянно размышлял на страницах своих произведений над тем, что есть жизнь, в чем ее сущность, ценность, какую жизненную позицию должен занимать человек. В «Пошехонской старине» в наибольшей степени отразилась эта заинтересованность писателя глубинным значением слова «жизнь», наполненного для сатирика глубоким гражданским смыслом. В одном месте хроники Щедрин размышляет: «Печально существование, в котором жизненный процесс равносителен непрерывающейся невзгоде, но еще печальнее жизнь, в которой сами живущие как бы не принимают никакого участия. С больной душой, с тоскующим сердцем, с неокрепшим организмом, человек всецело погружается в призрачный мир им самим созданных фантазмагорий, а жизнь проходит мимо, не прикасаясь к нему ни одной из своих реальных услад. Что такое блаженство? В чем состоит душевное равновесие? Почему оно наполняет жизнь отрадой? В силу какого злого волшебства мир живых, полный чудес, для него одного превратился в пустыню?...» (с. 20). Как видно из этих строк (которые, казалось бы, трудно было ожидать от столь сурового и беспощадного сатирика), Щедрина жизнь представляется как интересный, «полный чудес» жизненный процесс, в котором человек должен принимать активное участие, но глав-

ное, он должен быть и морально, и физически готовым к тому, чтобы объективно оценивать условия своего существования и постоянно стремиться к их улучшению, добиваясь душевного равновесия.

Описываемую в хронике эпоху крепостного права сатирик характеризует следующим образом: «Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, — с другой, называлась...жизнь?» (с. 59). Сатирик обнажает в хронике «ужасную подкладку» помещичьего быта, правдиво изображает кровавые «мистерии крепостного права», в которых самое страшное заключается в том, что трагичные картины крепостной жизни воспринимаются пошехонцами либо равнодушно, либо как нечто само собой разумеющееся. Единственный герой, кто в этом царстве «мрака и духоты» осознает весь ужас и несправедливость подобного существования, — это Никанор. И в этом смысле его жизнь, которая может быть приравнена только к духовному подвигу, представляет собой настоящее, подвижническое житие: внутренне не принимая пошехонского образа жизни, он противится ему всем своим существом (например, бесстрашно вступает за жестоко наказанную крепостную девочку Наташку).

Богатые возможности для постижения авторского замысла заключает в себе и само имя героя щедринского жития — Никанор, также обнаруживающее непосредственную связь с текстом Священного Писания.

Имя Никанор означает «видящий победы». Как повествуется в Деяниях Апостолов, это был один из семи человек, «изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости», избранных Иерусалимской общиной верующих, чтобы «пещись о столах», т. е. заботиться о малоимущих и раздавать им дары, приносимые другими христианами. Позже они стали называться диаконами. Диякон же, как и любой служитель церкви, обладает правом на истолкование неких сакральных истин. Вполне возможно, что Щедрин, «награждая» своего героя этим говорящим именем, хотел еще больше подчеркнуть его обособленное по отношению к другим персонажам положение, связанное во многом с его умствен-

ным и нравственным превосходством, с его обостренным чувством вины за бесправное положение крепостных, его внутренним, сердечным порывом к справедливости, разумным человеческим отношениям.

Значение имени главного героя прямо соотносится и с занимасмой в хронике позицией автора. В своем предсмертном сочинении Щедрин спешил сказать последние слова правды, которую он понял, поделиться обретенной за долгие годы мудростью, богатым душевным опытом. Эта самоотверженная работа писателя над произведением в обстановке переживаемых им нестерпимых физических и душевных страданий, это стремление к одариванию, отдаче сродни бескорыстной и беспристрастной деятельности библейского Никанора.

Рассмотрим содержательное наполнение фамилии Затрапезный. Она имеет несколько вариантов толкования, так как обладает богатым идейно-семантическим рядом. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово «затрапезный» трактуется как «за церковной трапезой находящийся», а «затрапезная» — барская столовая, комната для обеда, застольня». «Затрапез» же — грубая льняная или пеньковая ткань, пестредина. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова и в «Словаре лексических трудностей художественной литературы» В.И. Макарова и Н.П. Матвеевой указывается в первую очередь на такое значение слова «затрапезный», как «будничный, повседневный, заношенный». Все эти значения, несомненно, реализуются в тексте хроники и оказываются непосредственно связанными с главной творческой установкой писателя изобразить обычное, повседневное течение жизни.

В «Пошехонской старине» большое значение имеет актуализация и такого смыслового наполнения слова «затрапезный», как «к трапезе относящийся» (см.: имя Никанор — заботящийся о «столах», раздающий «ежедневные потребности»). «Пошехонское раздолье» же, так подробно описываемое в хронике, по преимуществу выражалось в еде, питье (например, непрерывная еда у предводителя Струнникова, разгул и безудержное веселье у Милочки Бурмакиной). Правда, читателя не оставляет ощущение трагичности такого существования: удовлетворяя свои ежеднев-

ные физические потребности, герои совершенно забывают о существовании потребностей духовных, которые единственно могут сделать жизнь осмысленной и по-настоящему интересной.

В фамилии Никанора — Затрапезный — прослеживается и связь с фамилией купца Затрапезнова, упоминаемого в словаре В.И. Даля владельца фабрики, изготовлявшей ткань: мать Никанора была купеческой дочерью. Именно с появлением в Малиновце Анны Павловны, обладающей настоящей купеческой деловой хваткой, Затрапезные начали быстро богатеть, и вообще в семье установился культ денег, «благодриобретения».

Фамилия Затрапезный явно контрастирует с именем героя. Этому странному сочетанию мы можем предложить следующую, возможно, спорную трактовку. Никанор смог пережить духовное прозрение, увидеть «алчущих», «жаждущих» и «обремененных» (библейские термины), будучи самым обыкновенным человеком, более того, принадлежа к довольно обеспеченному дворянскому роду. Следовательно, нравственное перерождение могут пережить и все остальные обычные люди. Это неизбежное «грядущее обновление» всего человечества предрекает и семантика имени Никанор, которое не случайно переводится как «видящий победы».

Таким образом, становится очевидно, что выбор Щедриным подзаголовка для своей хроники далеко не случаен: он диктовался важнейшими художественными задачами и был связан с акцентировкой внимания читателей на центральных моментах поэтики романа.

Примечания

¹ Яковлев Н.В. «Пошехонская старина» М.Е. Салтыкова-Щедрина. М., 1958. С. 35.

² Видуэцкая И.П. «Пошехонская старина» в ряду семейных хроник русской литературы // Салтыков-Щедрин. 1826-1976. Л., 1976. С. 206.

³ Макашин С.А. Салтыков-Щедрин. Последние годы. М., 1989. С. 439.

⁴ Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1975. Т. 17. С. 24. В дальнейшем текст писателя цитируется по этому изданию с обозначением в скобках номера страницы.

Михаил Иванович Семевский родился 4 января 1837 года, став третьим ребенком в многодетной малообеспеченной семье отставного штабс-капитана, дворянина Ивана Егоровича Семевского (1806—1860) и обрусевшей польской дворянки Камиллы Матвеевны Богуцкой¹.

В 1841 году Миша был оправлен к Адольфу Матвеевичу Богуцкому — дяде по линии матери, человеку суровому и замкнутому. Четыре года, проведенные в обстановке строгости и требовательности, жестокой дисциплины, наложили отпечаток на формирование характера мальчика, воспитав у него обязательность и дисциплинированность, скрытность и замкнутость. В 1845—1847 годах Миша снова стал жить в родительском доме. В эти годы его учителем-воспитателем стал Иосиф Игнатьевич Малевич — домашний наставник семьи Семевских. И.И. Малевич отличался тем, что «не позволял себе прибегать ни к каким телесным наказаниям, не обрекал своих учеников на голодовку, никогда не требовал долбни, но ясного понимания предмета и передачи выученного своими словами, умелым выбором статей и книг из тогдашней, довольно убогой детской литературы. Малевич успел приучить меня к чтению»².

М.И. Семевский на всю жизнь сохранил душевную теплоту и глубокое уважение к Иосифу Игнатьевичу Малевичу. Наглядным свидетельством такого отношения может служить переписка между ними в 1856—1869 годах, вплоть до смерти первого учителя. Сама форма обращения М.И. Семевского к И.И. Малевичу говорит о многом: «Дорогой мой наставник и друг»³. Двухлетний период жизни, во время которого мальчик был окружен родительской лаской и дружбой братьев и сестры, все же не изменил уже сформировавшийся характер. По существу Михаил Семевский был лишен светлого, беззаботного детства.

В 1848 году Михаил Семевский оказался в Полоцком кадетском корпусе⁴. Вспоминая об этом, он писал в 1891 году, что «попал туда в такое время, когда в корпусах царила суровая, более

сказать, жестокая и зачастую лишенная всякого смысла муштра. Происходило это не только от крайне неумелого выбора дежурных офицеров и ротных командиров, которым вверялась не одна военная выправка своих питомцев, но руководство нравственным развитием и воспитанием юношей. Громадное большинство этих псевдовоспитателей было из глубокой армии, люди без малейшего образования, нередко полуграмотные...» И все же в условиях суровой кадетской школы «молодые люди, — по мнению М.И. Семевского, — закалялись в исполнительности, в исправности при исполнении от них требуемого»⁵. Преподаватели, за исключением историка А.В. Скворцова, были людьми профессионально неподготовленными. В этих непростых условиях Семевский учился очень хорошо и на выпускных экзаменах обратил на себя внимание прибывшего в Полоцкий кадетский корпус начальника штаба военно-учебных заведений России генерал-адъютанта Я.И. Ростовцева. Последнее обстоятельство способствовало тому, что примерный выпускник Полоцкого кадетского корпуса унтер-офицер М.И. Семевский без каких-либо препятствий в августе 1852 года был принят в Дворянский полк С.-Петербурга (переименованный в Константиновский кадетский корпус, а затем в Константиновское военное училище).

Заметное место в жизни М.И. Семевского занимала переписка с родными. 18 лет он регулярно отправлял письма отцу. Письма-дневники, как называл свои послания юный кадет, богаты личностно-бытовой и духовно-этической информацией. Пример написания такого рода писем М.И. Семевский воспринял от отца. 14 февраля 1853 года сын писал отцу: «Как вы подробно описываете каждый день, папенька, это удивительно, почти так же, как я пишу свой дневник, о котором, кстати скажу, что ни разу в нем я не говорил дурного про начальников или тому подобное с самого 9 сентября, так что, если бы он и попался в руки начальников, то ничего бы и не было худого для меня»⁶.

В новом учебном заведении М.И. Семевский и его товарищи «благодаря заботливости инспектора классов полковника Д.М. Павловского встретили очень много хороших преподавателей, что, впрочем, и не мудрено, так как петербургский состав педагогов был достаточно велик»⁷.

В жизни М.И. Семевского особенно значимую роль сыграли двое из них: И.И. Введенский (1813—1855) и Г.Е. Благосветлов (1824—1880). «Отечественная словесность, — писал в своих воспоминаниях М.И. Семевский, — имела в дворянском полку отличных преподавателей в лице Иринарха Ивановича Введенского, который в мое время уже сам не преподавал, но посещал классы русского языка в качестве наставника-наблюдателя по преподаванию русского языка в военно-учебных заведениях и нередко, увлекаясь, беседовал в сфере своего предмета с воспитанниками, а самый предмет — историю отечественной словесности — я слушал у Григория Евлампиевича Благосветлова, рекомендованного Введенским на место преподавателя и излагавшего предмет весьма увлекательно. Этим двум лицам я и мои товарищи обязаны возбуждению в нас большой любви к чтению. Достоинно внимания, что как Введенский, так и Благосветлов, лучших по успехам учеников приглашали к себе, делали участниками своих бесед, давали свои книги, а Введенский даже придумал для меня тему для разработки, а именно — «история русской комедии», в каковую историю, по предложенному им плану, я должен был вести А.П. Сумарокова, Фонвизина, Грибоедова, Гоголя и Островского...»⁸. М.И. Семевский позже вспоминал: «...мне на восемнадцатом году жизни довелось писать большое сочинение — очерк истории русского театра... Кто знает, быть может, без названной темы, когда бы еще довелось почитать журналы Новикова, Александра Сумарокова, сочинения Екатерины II, братьев Эшиных, журналы Крылова, Рубана, Козицкого, Дашковой и проч.»⁹.

Но Введенский влиял не только на процесс литературного и общекультурного развития способного и старательного юношеского кадета. Он привлекал своего ученика к участию в беседах на более широкие темы. Думается что под «беседами» Семевский мог подразумевать известные «Среды» Введенского¹⁰, где он познакомился со многими литераторами и деятелями культуры, в их числе с Владимиром Николаевичем Рюминым, который в 1857—1858 годах издавал журнал «Общезанимательный вестник» (которым впоследствии публиковался).

«Товарищеская жизнь в Дворянском полку и в сменившем его Константиновском кадетском корпусе была, — по свидетельству

М.И. Семевского, — несравненно лучше, чем в Полоцком кадетском корпусе: о кулачном праве здесь не было и помину, воспитанникам все говорили „вы“... выбор дежурных офицеров был значительно лучше, нежели в провинциальном корпусе, а учителя и наставники... по своим познаниям и по педагогическим приемам были неизмеримо выше полоцких педагогов»¹¹.

Из всех преподавателей М.И. Семевский отрицательно охарактеризовал только одного. «Профессором истории, — писал Семевский, — был у меня известный в свое время по бездарности М.И. Касторский — тот самый, который в течение многих лет благодаря какой-то протекции мог занимать кафедру в петербургском университете...»¹². Преподавание его сводилось к устряловскому учебнику, но разбавлялось одною особенностью: изредка он обращал внимание своей аудитории на источники...»¹³. Особая требовательность к уровню преподавания истории объясняется повышенным интересом Семевского к этому предмету.

Годы обучения в Петербурге прошли быстро и с большой пользой для Семевского. Под руководством Благосветлова он написал выпускное сочинение¹⁴, в котором предметом исследования была комедия А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся», опубликованная в 1850 году в журнале «Москвитянин» и еще не сыгранная на сцене. Чтение сочинения на выпускном экзамене произвело очень сильное впечатление на генерал-лейтенанта Я.И. Ростовцева, о чем в письме к отцу от 11 июня 1855 года Михаил не без гордости сообщал: «...Экзамены публичные я сделал так, как следует Семевскому, — обратил на себя внимание всех генералов..., а главное, своими сочинениями и удачливыми ответами обратил на себя внимание Якова Ивановича Ростовцева. Следствием этого внимания были неоднократные его похвалы и разговоры со мною перед всеми генералами и всеми воспитанниками 3-го специального класса всех корпусов. Во-вторых, серебряный кубок, который подарил мне Яков Иванович в числе многих воспитанников за экзамен этот. В-третьих, наконец, Яков Иванович просил меня к себе на квартиру читать мое сочинение — разбор комедии „Свои люди — сочтемся“. Я был у него 27 мая, провел целый вечер в кругу его семейства и близких друзей, читал свое сочинение так, что Яков Иванович расцеловал

меня после чтения и сказал: „Спасибо, спасибо, любезный Семевский, за большое удовольствие, которые ты мне доставил сегодня и моему семейству“»¹⁵.

11 июня 1855 года он писал родным и отцу: «Поздравляю Вас, мои бесценные, милые, с новым прапорщиком лейб-гвардии Павловского полка... Итак, общее Ваше желание, желание покойной маменьки (она умерла в 1854 году. — *В.П.*) свято исполнено... Ура и ура!»¹⁶. Однако радость его была омрачена известием о скоропостижной смерти И.И. Введенского: «...Получил громкую весть, что наставник мой, Введенский, после двухчасовой мучительной холеры отдал Богу душу. Горько, горько заплакал я, оплакал прах этого слепца, оплакал и свою злую фортуна»¹⁷.

Семевский продолжал заниматься изучением литературы по намеченной И.И. Введенским проблеме. «...Что же касается моего сочинения, — сообщал он 5 сентября 1866 года, — то тружусь в буквальном смысле все дни, свободные от службы, прихожу в 10 часов в Публичн(ую) биб(лиотеку), ухожу в 9 часов вечера, сижу и читаю, вместо обеда — пища духовная!»¹⁸.

Общение во время написания сочинения о комедии «Свои люди — сочтемся» сблизило М.И. Семевского с Е.Г. Благосветловым. В письме от 13 июня 1855 года читаем: «В 6 часов вечера отправился к Е.Г. Благосветлову — отлично меня принял мой многоуважаемый профессор, поцеловал, поздравил с чином, я у него напился чаю, и 2 часа в самых приятных разговорах прошли незаметно». На следующий день Семевский вместе с Николаем Федоровым — близким товарищем-однокашником, с которым они снимали квартиру, направились к наставнику. «Благосветлов принял нас, как молодых друзей своих (он так назвал нас). Оживленная беседа длилась до 12 часов ночи»¹⁹.

Получив чин прапорщика — первое офицерское звание, Семевский обратился к командованию Константиновского училища с просьбой направить его в действующую армию во время Крымской компании, где в это время участвовал в боях его старший брат — гвардейский офицер Владимир, тоже выпускник Дворянского полка. Но Ростовцев отказал в просьбе Семевскому и определил его в лейб-гвардии Павловский резервный полк, который должен был провести зиму в Москве. Приказ о назначе-

нии М.И. Семевского к месту службы был подписан царем 28 июня 1855 года.

В ходе подготовки к временному перемещению в Москву Семевский по совету Благодетеля запаса рекоммендательным письмом Ростовцева к А.Д. Галахову — авторитетному историку литературы XVIII — начала XIX веков, известному педагогу, составителю хрестоматии по русской словесности.

Пребывание в Москве с октября 1855 по июль 1856 года явилось важным этапом интеллектуального становления Семевского, чему способствовали регулярные встречи с А.Н. Островским, перед которым он благоговел, с литературным окружением комедиографа, сотрудниками редакции журнала «Москвитянин», с учеными столицы, в круг которых его ввел Галахов, посещение лекций в Московском университете и знакомство с С.М. Соловьевым. В Москве Семевский испытал определенное влияние славянофилов (В первую очередь самого Островского) и западников (А.Д. Галахов, С.М. Соловьев и др.). Но он не стал последователем какого-либо направления. У Семевского под их влиянием выработались либеральные взгляды, в том числе на вопросы крепостного права, свободу печати и т.д. Важным фактором, содействующим складыванию у Семевского оппозиционных настроений по отношению к самодержавию, явились письма Е.Г. Благодетеля, в которых он с душевной болью излагал историю своих злоключений в связи с поступившим на него в III отделение доносом. Следствием его явилось высочайшее распоряжение, запрещающее талантливому педагогу преподавать в каких-либо учебных заведениях²⁰. В связи с перепиской с Благодетелем Семевский попал в поле зрения III отделения²¹.

В Москве он начал интересоваться историей декабристского движения, что с годами стало одной из ведущих тем в его исследованиях. М.И. Семевский знакомится с запрещенными в России сочинениями А.И. Герцена, к которым относился с явным сочувствием.

Предвидя скорое возвращение в Петербург, он писал отцу: «Это грустно, крепко и крепко полюбилась мне Москва, легкая и беспроблемная служба, отличное сообщество, в которое я вошел»²². Спустя многие годы М.И. Семевский, вспоминая о жизни в Моск-

ве в 1855—1956 годах, отметил, что под влиянием литературно-аристократического кружка А.Н. Островского, «а также кружка именитых ученых и литераторов, собиравшихся у А.Д. Галахова... особенно сильно осознал недостатки теоретического образования». В связи с этим стал он усердно изучать иностранные языки, читать, «по преимуществу XVIII века журналы, также книги исторические, журнал „Москвитянин“, который М.П. Погодин назвал впоследствии, в 1870—1872 годах, „дедушкой“ „Русской старины“»²³.

Однако свою жизненную перспективу он связывал с военной службой. В письме к отцу 8 августа 1855 года М.И. Семевский заявил, что служба его кормит, «а словесность — это удовольствие, следовательно, во всяком случае, для военного должно быть дело второстепенное»²⁴.

Свой первый литературный гонорар он получил от соседки по имению А. Сеславиной, которая вместе с новогодними поздравлениями прислала ему 10 рублей. Интерес вызывает приписка Семевского на этом письме: «Первая плата» за мой литературный труд — вознаграждение за мое письмо, содержание которого было: сравнение Москвы с Петербургом»²⁵.

Продолжая активно работать в Москве, Семевский по совету А.А. Григорьева написал заметку «Несколько слов о фамилии Грибоедовых» на основе найденных им в архиве материалов. Она была опубликована в № 12 «Москвитянина». С этой заметки начался счет печатных работ Семевского.

По возвращении в июне 1856 года в Петербург Семевский обратился к Ростовцеву с просьбой перевести его на преподавательскую работу. Однако, учитывая молодость лет и отсутствие опыта, Ростовцев порекомендовал ему сдать экзамен на репетитора²⁶. После сдачи экзамена 23 мая 1857 года он был откомандирован в 1-й кадетский корпус. Но приказ о его прикомандировании был подписан только 3 октября 1857 года²⁷, о чем Семевский узнал 12 октября этого же года²⁸, т. е. это время он был нестроевым офицером. Семевский пользуясь возможностью, посещал лекции в университете, настойчиво занимался литературным творчеством и в марте 1857 года написал «Заметки о Великолукском уезде», которые появились в печати в журнале «Общезанимательный вестник» (1857, № 7). В расширенной редакции эта работа появи-

лась в том же году под названием «Великие Луки и Великолуцкий уезд» в «Современнике»²⁹. Посылая 16 июня 1857 года отцу экземпляр шестого номера «Современника», Семевский писал: «Прошло уже полгода, шесть книжек выпустила редакция сего журнала и этими шестью книжками не оправдала надежды публики...»³⁰. Не изменилось скептическое отношение Семевского и к последующим изданиям журнала. Поэтому он решил в 1858 году его больше не выписывать, заменив катковским «Русским вестником», который характеризовал как «журнал вполне серьезный, дельный и интересный»³¹.

Еще до получения приказа о назначении на должность репетитора Семевский в июле 1857 года принял решение «окончательно втянуться в журнальную работу»³². Главным предметом изучения становится для него история России XVIII века. «Отечественную историю, — вспоминал впоследствии Семевский, — я стал изучать с весьма ранних лет моего возраста. Я говорю „изучать“ потому, что уже в 15—16 лет не довольствовался одним учебным курсом, а старался прочитать, как говорят в школе, „посторонние книги“, имевшие более или менее отношение до родной старины»³³. Он подчеркивал, что еще в юности „любовь к книгам... в особенности к книгам историческим и главным образом в сфере отечественной истории, была необыкновенная“»³⁴.

После получения приказа о прикомандировании к 1-му кадетскому корпусу в качестве репетитора определился круг новых обязанностей Семевского: «Занятия мои в корпусе состоят в следующем: в девять часов утра прийти в корпус, если есть свободная лекция, в каком бы то ни было классе и по какому бы то ни было предмету, то я должен занять ее, и в продолжении ее могу каким мне угодно практическим занятием занимать воспитанников, но только по русскому языку: как-то — диктовка, чтение. Если нет свободных лекций, я могу сам слушать лекции преподавателей по русскому языку, преимущественно наставников и наблюдателей. В 12 часов я ухожу в университет, что подле корпуса, и до 3-х часов слушаю лекции там. Ни в ротах, ни после обеда я не должен заниматься с кадетами»³⁵.

Установленный служебный регламент давал возможность Семевскому заниматься написанием статей, сбором материалов, чи-

тать специальную литературу. Он поставил перед собой задачу — в 1858 году сдать экзамен на учителя и написать серию научно-популярных статей. Из них он особое значение придавал статье «Цесаревич Алексей Петрович», хотя отчетливо понимал, что ее в связи с политической остротой сюжета ожидают цензурные препятствия, и не ошибся. «Одна из статей моих и именно „Исследование о царевице Алексее. 1690—1718“ послано было мною в Москву»³⁶. На днях я получил от известного ученого и поэта, богатого помещика и талантливого литератора Алексея Степановича Хомякова большое и весьма лестное письмо о моей статье о „Алексее Петровиче“. Он хвалит мой труд и сожалеет о том, что по строгости цензуры едва ли возможно отпечатание моего произведения»³⁷. 28 апреля 1858 года Семевский сообщал отцу: «Сегодня получил послание от Филиппуса (вероятно, имелся ввиду К.Ф. Филиппеус. — В.П.). Посылая ко мне статью мою «О цесаревиче Алексее Петровиче», о которой я читал Вам лестные отзывы двух литераторов московских — Хомякова и Назарова, Филиппус пишет мне: „Что главный редактор „Русской беседы“ Кошелев передает Вам искренне почтение и просит передать, что они все в восхищении от Вашей статьи, но цензура решительно отказала в напечатании оной“. Нечего и говорить, что это известие при всей лестности отзыва сильно меня огорчило. Проклятая цензура. Для чего она зажимает рты даже и тем, которые повествуют о временах прошедших. Примусь в досужие минуты, уничтожу резкие места и все-таки оттисну статью в одном из здешних знакомых мне журналах»³⁸. Семевскому удалось выполнить заветное желание, и в 1858 году в журнале В.Р. Зотова «Иллюстрация», выходившем четыре раза в неделю, появилась статья (№ 63—71), прикрытая от цензуры тремя оригинальными графюрами.

Семевский также увлекался театром и сам был склонен выступать на сцене. В марте 1858 года он поставил в 1-м кадетском корпусе «Женитьбу» Н.В. Гоголя. Спектакль имел шумный успех. Однако постановочно-сценическая удача Семевского неожиданно обернулась для него служебными неприятностями. Дело в том, что 13 апреля 1858 года в «С.-Петербургских ведомостях» появился фельетон под названием «Петербургская летопись». В нем шла

речь об увлечении в образованном обществе домашними спектаклями. В статью было включено письмо «неизвестного» о постановке «Женитьбы» в 1-м кадетском корпусе. Автор этого письма не ограничился рассуждениями о спектакле, а остро раскритиковал положение дел в военно-учебных заведениях, в которых продолжают иметь место «формализм и вытяжка».

Фельетон крайне не понравился Ростовцеву, а директор 1-кадетского корпуса генерал Лихонин заподозрил Семевского в авторстве письма «неизвестного». Естественно, последний отрицал какую-либо причастность к публикации. Тем не менее «через два—три дня, когда я был в классе, — писал Семевский 28 апреля 1858 года, — ко мне подошел инспектор полковник Линден. «Михаил Иванович, знаете, друг, генерал вполне убежден, что статья написана вами. Ваше хладнокровие не разубедило его. Знаете ли, что статья это была читана Государем, что она перепечатана в „Музыкальном и Театральном вестнике“, что резкие, хотя и справедливые, ее доводы и мнения произвели большой говор в городе? Вы поспешите рассеять подозрения, ибо вас, как заподозренного в либеральном направлении, могут отставить от места...»³⁹. Семевскому удалось отвести от себя подозрения, но сам факт их возникновения достаточно симптоматичен для настороженного отношения к нему, ученику неблагонадежных И.И. Введенского и Г.Е. Благосветлова.

Постепенно в литературных кругах Семевский завоевывал к себе интерес и начал пользоваться авторитетом. В отношении к периодическим изданиям он действовал по принципу: «лучше быть первым в деревне, нежели последним в городе», который выражался в том, что Семевский вначале печатал свои статьи в «тонких» журналах, таких, как «Иллюстрация», и, лишь добившись определенной популярности, обратился к «толстым»: «Отечественным запискам», «Русскому вестнику» и «Русскому слову»⁴⁰. Уже в это время Семевский, самокритично оценив свои литературные способности, пришел к выводу, что он не писатель, а публицист-историк⁴¹.

Август—начало сентября были заполнены напряженной подготовкой к сдаче первой части экзамена на право стать преподавателем в военно-учебных заведениях. 15 сентября 1858 года Се-

мевский писал отцу: «Послезавтра у меня экзамен. Чем ближе роковой день, тем более поселяется в моем сердце уверенность, что я счастливо все выдержу»⁴². Тем обиднее для него был провал экзамена 17 сентября 1858 года. Несостоявшийся претендент на должность педагога тяжело переживал случившееся, назвав его в письме от 29 сентября 1858 года «горем». Что было причиной неудачи молодого Семевского? Не имея конкретных данных, можно высказать лишь предположения. Скорее всего молодость соискателя (Семевскому был всего 21 год), а возможно, и опасения педагогов старшего возраста нежелательной конкуренции. Во всяком случае, неудача на экзамене разрушила иллюзии Семевского относительно военной службы и явилась важным толчком к ориентации на литературную деятельность: «Время и труд — вот главные врачи всякого душевного недуга, всякой печали, — писал он в письме от 29 сентября 1858 года. — На другой же день я побежал в Публичную библиотеку и принялся за составление статьи под заглавием «Кожуховский поход 1694 года». Ее источником явилась редкая рукопись, «неизвестная самому историку Петра I — Устрялову»⁴³. Статья была начата 19 и окончена 29 сентября 1858 года⁴⁴. «Когда передо мною лежит труд, к которому лежит мое сердце, писал Семевский 24 ноября 1858 года, — я все забываю — сон, еду, чтение книг. Читаю только относящееся к моей задаче и пишу только ее. Не далее как третьего дня я встал из-за письменного стола и лег спать в половине четвертого пополудни»⁴⁵. 5 января 1859 года он сообщал отцу, что 14 его произведений «теперь готовы и бродят по разным журналам»⁴⁶. Особое внимание он уделял исследованию эпохи и царствования Елизаветы Петровны⁴⁷.

Еще одним направлением его интересов стал анализ содержания петербургских журналов, наиболее популярных в обществе: «Русский вестник», «Современник» и др. Наибольший интерес у него вызывал «Русский вестник». Семевского далеко не всегда устраивало содержание «Русского вестника», хотя он был согласен с Катковым по крестьянскому вопросу и его политическими обзорами. Так, в письме к сестре Соне он пишет: «По-твоему, все пишущие о крестьянском вопросе бредни, пустяки, даже статьи «Русского вестника» по этому делу отнесены тобою к бредням.

Это еще не большая беда. Человеку, не читающему этих пустяков или не понимающему всей важности и пользы этих пустяков, которые с жадностью перечитываются всеми образованными людьми, — иногда извинительно его опрометчивое мнение. Но вот что странно. Как же ты, имея перед собой книжки «Вестника», не потрудились хоть раз посмотреть их внимательно и толково? Тогда бы ты увидела, что авторы этих умных, вполне замечательных статей люди по большей части (если не все) помещики и притом известные, богатые помещики! Не веришь? Да вот загляни хотя бы вот в эту книжку, что лежит перед тобою: здесь ты найдешь статью Иванова о поземельной собственности крестьян. Статью известного помещика Смоленской губернии, чуть ли даже не Вяземского. Мало тебе одного помещика, посмотри внимательнее книжку, и ты найдешь в ней статью другого: а именно — превосходный проект о откупах (дело близкое в особенности крестьянам) помещика Стремоухова. Но что действительно мало таких дельных помещиков, мало кто из них пишет эти превосходные статьи, в этом подтверждение ты найдешь в этом же номере, прочтя статью г. Бунге «О последователях г. Бланка». Из нее ты увидишь, что большая часть наших помещиков, увлекаемые корыстью, не только говорят вздор, они даже решают печатать его. Таков г. Бланк* (от нелепейшей статьи которого приходил в восторг за 2 часа до своей смерти Ф.Н. Лавров), таков г. Голицын**, таков г. Козлов***, против которого написана статья г. Бунге****. Резкие, опрометчивые мнения, мнения неосновательные всегда смешны»⁴⁸. Семевский с горечью признал, что «крестьянское хозяйство, крестьянские заботы, крестьянские нужды, крестьянское воспитание — для нас (поместных дворян. — В.П.) дело низкое, неблагодарное!»⁴⁹.

* Бланк Григорий Борисович (1811—1889) — публицист, сторонник крепостничества.

** Голицын Сергей Павлович (1815—1887) — князь, член редакционных комиссий. Автор реакционно-крепостнической брошюры «Печатная правда».

*** Козлов Алексей Александрович (род. 1831) — автор статей по экономическим, финансовым и общественным вопросам, сотрудничал с «Московскими ведомостями».

**** Бунге Николай Христианович (1823—1895) — профессор-экономист Петербургского университета, академик.

Ранее отмечался интерес молодого историка к статьям Герцена. Так, Семевский читал герценовские издания Вольной русской типографии. Известно его негативное отношение к помещику Сеславиному по поводу второго выпуска общественно-политического сборника «Голоса из России»⁵⁰. О вероятном знакомстве Семевского со статьями Герцена «Тамбовское дворянство», «Фанатик паспортов», «1 июля 1858 года», опубликованными в газете «Колокол» (листы 16, 17, 18), свидетельствуют его замечания относительно суждений сестры Сони по крестьянскому вопросу. Заслуживает внимания не только упоминание в основном одних и тех же имен крепостников (Бланк, С.П. Голицын и, возможно, кто-то из семейства Вяземских) в письме Семевского и в названных статьях Герцена, но сходство оценок печатных выступлений владельцев «крещеной собственности», а подчас и текстуальное совпадение взглядов.

В этом контексте любопытна информация Семевского о посещении им Николая Николаевича Оржицкого (1796—1861): «Занятый статьями, чтением, уроками, я всегда имею возможность провести вечер чрезвычайно приятно: знакомств литературных бездна⁵¹, ныне прибавилось новое. В пятницу вечер провел у Оржицкого, первейшего друга Рылеева, казначея обширного общества декабристов, ныне 61-летнего старца⁵². Вы можете представить, с какою жадностью внимал я его рассказам о наших мучениках, об наших великих людях... Ни одного слова его не пропадет, *все записано и рано или поздно явится в печати там или здесь...* (курсив мой. — В.П.)»⁵³. Характеристика декабристов как «наших мучеников» и «великих людей», содержащаяся в письме, восходит к герценовским эпитетам «апостолов свободы»⁵⁴, что еще раз говорит о влиянии Герцена на Семевского.

Заявление автора письма о том, что ни одно слово Оржицкого не пропадет, «все записано и рано или поздно явится в печати там или здесь...» — достаточно многозначительно. «Там» означает не что иное, как несколько законспирированное на случай «шпекинского» любопытства, признание Семевского в готовности быть корреспондентом Вольной русской типографии. Такое признание приобретает особый смысл и значение накануне его заграничной поездки.

9 марта 1859 года Семевский писал отцу: «Лето близко, поеду или не поеду за границу, а деньги надо зарабатывать к июню»⁵⁵. И Семевский трудился не покладая рук. Он пишет статью о первом годе царствования Елизаветы Петровны, изучив для этого до 40 источников, сдал заказанную А.В. Никитенко для «Журнала Министерства народного просвещения» обзорную рецензию на книгу Н. Шпилевской «Описание войны между Россией и Швецией в Финляндии в 1741—1743 годах»⁵⁶.

«Работаю страшно. Источников бездна», — сообщал он 16 марта 1859 года отцу. Кроме того, «академики Куник»⁵⁷ и Ламбин⁵⁸ открыли мне Академию наук, самые редкие источники, и дозволили ради моей статьи (о царствовании Елизаветы Петровны. — В.П.) брать их на дом. Устрялов⁵⁹ сделал то же, Хмыров⁶⁰ — дал 15 самых любопытных рукописей, то же обещал сделать П.К. Щербальский⁶¹. Работа кипит. На дому у меня 42 источника, в разных библиотеках до 140!»⁶². Так продолжалось до самого отъезда 6 июня 1859 года.

Извиняясь перед Малевичем за долгое молчание, Семевский писал в апреле 1858 года: «Голубчик, простите, ей-богу, некогда, я работаю сильно и много, коплю деньги, хочу на лето поехать за границу, а деньги сами не даются, надо их зарабатывать: частными уроками да статьями»⁶³.

Накануне отъезда, 1 июня 1859 года, он сообщил отцу о результатах деятельности: первые три главы монографической по объему и содержанию статьи «Первый год царствования Елизаветы Петровны 1741—1742 годы» для журнала «Русское слово» отпечатаны. «Вторую и последнюю половину статьи оставил и ныне уже переписал начисто и сдал в редакцию... вышлю на днях вместе с цензурными листами «Елизаветы» и «Алексеем Петровичем» из «Иллюстрации»⁶⁴.

О заграничном вояже гвардейского прапорщика «С.-Петербургские ведомости» сообщили 15 мая 1859 года, но выехал он 6 июня вместе с В.П. Водовозовым, с которым познакомился в апреле 1858 года. Во время своей заграничной поездки Семевский все же не рискнул поехать в Лондон к Герцену. Ему пришлось ограничиться посылкой объемистой бандероли с различными материалами. Нелишне будет высказать предположение,

что Семевский еще 26 ноября 1856 года, после прочтения 1-й книги «Голосов из России», послал Герцену одобрительное письмо, а через полгода переслал ему записку инженер-полковника Н.И. Панаева о восстании новгородских военных поселян, свидетелем и участником подавления которого он был⁶⁵.

Почтовое отправление Семевского из Парижа не сразу попало в руки адресата. И только посланная во второй раз бандероль была получена Герценом. «Все посланное вами, почтеннейший соотечественник, — читаем в письме Герцена от 27 августа 1859 года, — я получил очень исправно»⁶⁶. Имя человека, которому было послано это и два других письма, опубликованные как «неизвестному», было установлено Н.Я. Эйдельманом⁶⁷. Высказывая предположение о содержании бандероли, посланной Семевским Герцену, Эйдельман называет «Воспоминания о Кондрате Федоровиче Рылеве» Н.А. Бестужева, опубликованные в VI книге «Полярной звезды» (март, 1861), мемуары Екатерины II, изданные еще до этого в Лондоне, разоблачительные сведения о Константине Николаевиче, брате царя Александра II, а также полагал, что в пакете содержались и другие материалы. В настоящее время есть возможность дополнить список корреспонденций, посланных Семевским, бумагами М.В. Буташевича-Петрашевского, которые Герцен предал гласности в 49—53 листах «Колокола»⁶⁸.

Примерно за год (с сентября 1859 по август 1860 года) Семевским было написано, опубликовано и подготовлено к печати 12 статей. Особенно часто в начале 1860 года стали публиковаться его статьи в «Русском слове», «Русском вестнике», «Военном сборнике», «Библиотеке для чтения» и «Отечественных записках».

Примечания

¹ Владимир (1832), Софья (1835), Михаил (1837), Александр (1838), Петр (1840), Егор (1842), Василий (1846).

² РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 3.

³ Там же. Ед. хр. 239. С. 1—46 об.

⁴ Пять или шести сыновей Семевских окончили это учебное заведение. Только Василий, ставший со временем известным историком, получил гимназическое, а затем университетское образование.

⁵ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 4. Ср.: Русская школа. 1893. Май—июнь. С. 64—69.

⁶ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 234.

⁷ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 3—4.

⁸ Там же. Л. 4 об.

⁹ Там же. Ед. хр. 16. Л. 2.

¹⁰ См.: *Медведев А.П.* Н.Г.Чернышевский в кружке И.И.Введенского // Статьи, исследования материалы. Саратов, 1958.

¹¹ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 4-4 об.

¹² Как установлено, М.И.Касторский был автором доносительной «Записки о литературной деятельности Н.Г.Чернышевского», сыгравшей печальную роль в судьбе последнего. Не в этой ли связи с III отделением и Голицыновской комиссией следует искать истоки протекции по отношению к Касторскому?

¹³ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 1 об.

¹⁴ Уволен по распоряжению Александра II из Дворянского полка за ироническую реплику о Николае I 11 апреля 1855 года.

¹⁵ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 388 об.

¹⁶ Там же. Л. 388.

¹⁷ Там же. Л. 447.

¹⁸ Там же. Л. 437.

¹⁹ Там же. Л. 396 об. — 397.

²⁰ См.: *Порох И.В., Порох В.И.* Семевский в Москве (октябрь 1855—июль 1856 г.) // Россия в XIX—XX вв. СПб., 1998.

²¹ ГА РФ. Ф. 109. Оп. 5. 1855. Д. 127. Л. 7.

²² РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 463.

²³ Там же. Л. 8.

²⁴ Там же. Л. 428.

²⁵ Там же. Оп. 2. Ед. хр. 9. Письмо от 10 января 1856.

²⁶ Там же. Л. 534.

²⁷ Там же. Ед. хр. 405. Л. 18 об.

²⁸ Там же. Ед. хр. 41. Л. 575.

²⁹ Сочинение М.И. Семевского вызвало противоречивые отклики в печати. Журналы «Отечественные записки» (1858, Т. 3) и «Атеней» (1858, № 1) выступили с положительными отзывами (РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 611), а Н.А. Добролюбов в первом номере «Современника» того же года поместил взыскательную и язвительную рецензию на «книжечку „Великие Луки“ (Добролюбов Н.А. Полн. Собр. Соч. В 6 т. М., 1936. Т. 3. С. 330—333). В рецензии Добролюбов подверг резкому суждению умеренно-либеральную позицию поэта В.Г. Бенедиктова, а заодно и Семевского, отметив ряд стилистических погрешностей в его работе.

³⁰ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 542. Ср. Л. 562.

³¹ Там же. Л. 579. «Этот журнал, — писал Семевский отцу 30 августа 1857 года, — не богат легкой литературой, но изобилует статьями учено-историческими; справедливо гордится он и политическими своими статьями. Только «Русский вестник» в настоящее время и знакомит с политическими событиями». (РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 542. Ср. Л. 561). М.Н. Катков выразил готовность сотрудничать с молодым историком.

³² РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 542. Ср. Л. 545 об.

³³ Там же. Ед. хр. 16. Л. 1.

³⁴ Там же. Ед. хр. 28. Л. 5.

³⁵ Там же. Ед. хр. 41. Л. 557.

³⁶ М.И. Семевский послал статью в славянофильский журнал «Русская беседа» не случайно, поскольку в ней осуждалась жестокость Петра I.

- ³⁷ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 577—577 об.
- ³⁸ Там же. Л. 606.
- ³⁹ Там же.
- ⁴⁰ Там же. Л. 623 об. — 624 об.
- ⁴¹ Там же. Л. 627.
- ⁴² Там же. Л. 643.
- ⁴³ Там же. Л. 647.
- ⁴⁴ Статья была опубликована в 1859 году в журнале «Иллюстрация». Кн. 43—39.
- ⁴⁵ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 664.
- ⁴⁶ Там же. Л. 675. Ср.: Л. 679.
- ⁴⁷ После прохождения через все цензурные учреждения исследование Семевского по частям было опубликовано в журнале «Русское слово» (1859. № 2, 6, 8,).
- ⁴⁸ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 463 об. — 464 об.
- ⁴⁹ Там же.
- ⁵⁰ *Порох И.В.* Герцен в письмах своих идейных противников (конец 50-х — начало 60-х гг. XIX в.) // *Историографический сборник.* Саратов. 1994. Вып 16. С. 63—65.
- ⁵¹ Среди лиц, с кем в 1850-е годы общался Семевский, были: А.Н. Островский, К.Н. Бестужев-Рюмин, В.Р. Зотов, А.А. Краевский, В.С. Курочкин, А.А. Григорьев, А.В. Никитенко, Л.А. Мей, Н.Г. Чернышевский, В.П. Водовозов, Е.А. Штакеншнейдер и др.
- ⁵² Николай Николаевич Оржицкий (1796—1861) — отставной штаб-ротмистр Ахтырского уездного гусарского полка, членом тайного общества декабристов не был, но хорошо знал о готовившемся восстании, присутствуя 13 декабря 1825 года на совещании «северян» у К.Ф. Рыльева. С ним Оржицкого сближало то, что он увлекался поэзией и сам писал стихи. Оржицкий был осужден по IX разряду, приговорен к лишению дворянства, воинского звания и сослан в дальний гарнизон на Северный Кавказ (Декабристы. Библиографический справочник. М., 1998. С. 134—135).
- ⁵³ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 261—261 об.
- ⁵⁴ *Герцен А.И.* Письмо к императору Александру II // *Полярная звезда* на 1855. Кн. Первая. Факсимильное издание. М., 1966. С. 12.; *Герцен А.И.* Собр. Соч. Т. 12. С. 203.
- ⁵⁵ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 692 об.
- ⁵⁶ Опубликована в «Журнале министерства народного просвещения». 1859. № 3.
- ⁵⁷ Куник Арист Аристович (Эраст Эдуардович. 1814—1899) — родом из Силезии, окончил Берлинский университет, в 1839 году приехал в Россию, историк, собиратель документов о древностях российских. Был главным хранителем «Эрмитажа». С 1850 года экстраординарный академик, член Российской археографической комиссии, сторонник норманнской теории. Печатался в «Записках академии наук».
- ⁵⁸ Ламбин Петр Петрович (1812—1871) — библиограф. Преподаватель Дворянского полка в период обучения там Семевского. С 1855 года — библиотекарь Академии Наук. Составитель (при участии брата Бориса) восьми томов «Русской исторической библиографии» (1855—1962).
- ⁵⁹ Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — историк, профессор Петербургского университета, с 1837 года академик, автор «Истории России» (1836) и «Исторического обозрение царствования Петра Великого» (Т. 1—3; 4, 6), изданных в 1858—1863 годах.

⁶⁰ Хмыров Михаил Дмитриевич (1830—1872) — писатель, историк, составитель истории Измайловского полка, (в котором служил), по архивным документам. Автор многих статей на исторические темы.

⁶¹ Щебальский Петр Карлович (1810—1886) — историк и публицист. Прошел военную службу, участвовал в боях на Кавказе (1842—1848), был полицмейстером Москвы, потом чиновником особых поручений при главном Управлении цензуры, автор ряда книг по истории России XVII—XVIII века.

⁶² РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 695 об.

⁶³ Там же. Ед. хр. 239. № 11.

⁶⁴ Там же. Ед. хр. 41. Л. 717 об.

⁶⁵ Эйдельман Н.Я. Анонимные корреспонденты «Колокола». Проблемы изучения Герцена. М., 1963. С. 252—254.

⁶⁶ Герцен А.И. Указ. изд. Т. 26. С. 291.

⁶⁷ Эйдельман Н.Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966. С. 138—140.

⁶⁸ Порох И.В. «Колокол» Герцена в борьбе за освобождение М.В. Буташевич-Петрашевского // Политическая ссылка в Сибири XVIII- начала XIX вв.: Сб. Новосибирск. 1987. С. 137—150.

А.А. Демченко

Родному городу Чернышевского со временем суждено было стать научным центром по изучению жизни и богатого творческого наследия писателя-демократа. И дело не только в генетических связях имени и места. В Саратове издавна сложился круг исследователей самых разных специальностей, глубоко исторически мыслящих, блестяще одаренных, искренне увлеченных научными изысканиями, отдавших годы жизни (по крайней мере, многие из них) делу освоения биографии и творчества знаменитого автора «Что делать?» — литературоведы Н.К. Пиксанов, В.В. Буш, В.Я. Каплинский, А.П. Скафтымов, Е.И. Покусаев, Н.М. Чернышевская, П.А. Бугаенко, В.А. Сушицкий, А.П. Медведев, лингвист А.Ф. Ефремов, историки С.Н. Чернов, А.М. Панкратова, Ю.Г. Оксман, В.В. Пугачев, философы И.П. Разумовский, С.З. Каценбоген, В.Г. Ильинский, экономисты В.А. Бельский, П.К. Топилин, педагоги Н.Ф. Познанский, Е.Т. Павловский, юристы Ф.Д. Кормилов, И.И. Евтихеев, Н.Н. Фиолетов, географ Н.С. Фролов, медики И.А. Чуевский, В.А. Павлов¹.

Профессор-историк Игорь Васильевич Порох (1922—1999) — достойный представитель этой плеяды.

По признанию самого И.В. Пороха, его судьба в науке определилась под влиянием Ю.Г. Оксмана². Первое направление исследовательских изысканий — декабризм (кандидатская диссертация — 1953), второе — Герцен (завершилось докторской диссертацией — 1977), и уже через Герцена исследователь приходит к Чернышевскому. Первое основательное изучение главы шестидесятников XIX века связано с участием в редактируемом Ю.Г. Оксманом издании воспоминаний о писателе. И.В. Пороху было поручено подготовить тексты и комментарии к двум мемуарам — «Заметки из тетради» А.А. Слепцова и «Заметки» П.Д. Баллода³. Основательные источниковедческие изыскания, критическое отношение к иным утверждениям исследователей в истолковании содержащихся в воспоминаниях событий (например, полемика с Н.Н. Новиковой, полагавшей, что Чернышевский

входил в состав комитета кружка «Великорусс»⁴) — характерные черты выполненного труда. В целом интерпретация фактов вполне соответствовала состоянию науки на тот период. Содержавшаяся в рецензиях общая высокая оценка качества текстологической и комментаторской работы участников издания распространялась и на сделанное И.В. Порохом⁵. Критическое замечание касалось лишь корпуса воспоминаний А.А. Слепцова. По мнению рецензента (им был С.А. Рейсер), следовало не ограничиваться двумя приведенными М.К. Лемке в 10 и 16 томах Собрания сочинений А.И. Герцена текстами записей воспоминаний А.А. Слепцова, а дать все сохранившиеся фрагменты мемуаров шестидесятника⁶. Впоследствии С.А. Рейсер так и сделал, собрав воедино обнаруженные и опубликованные в разные годы части повествований А.А. Слепцова⁷. Этот текст вошел в новое издание книги воспоминаний о Чернышевском⁸.

Следующая значимая работа И.В. Пороха о Чернышевском носила историографический характер⁹. Обзор изучения Чернышевского в Саратове историками автор начинает с потребовавшей всесторонней осведомленности оценки публикаций Н.Н. Фиолетова («К характеристике социально-политических воззрений Н.Г. Чернышевского» — 1925), В.И. Ильинского (Чернышевский как философ» — 1926), С.З. Каценбогена («Философские воззрения Н.Г. Чернышевского» — 1928), И.В. Герчикова («Н.Г. Чернышевский как критик либерализма» — 1928), С.Н. Чернова («К истории борьбы Н.Г. Чернышевского за крестьянские интересы накануне «воли»» — 1928), В.Е. Иллерицкого («Н.Г. Чернышевский о русской общине» — 1939), А.М. Панкратовой («Чернышевский и крестьянская реформа 1861 года» — 1939), Я.М. Майофиса («Франко-итало-австрийская война 1859 года в оценке Н.Г. Чернышевского» — 1939), Р.А. Таубина («Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов — патриоты демократической России» — 1939), Э.Э. Герштейн («Н.В. Шелгунов — соратник Н.Г. Чернышевского»), А.Л. Шапиро («Вопросы русской истории в произведениях Чернышевского»), П.К. Топилина («Политическая экономия трудящихся по Н.Г. Чернышевскому»). Статью завершала многозначительная цитата из публикации в одном из центральных изданий: «Систематически выходящие труды ученых Саратовского

университета и педагогического института позволяют говорить о саратовской школе изучения наследия Чернышевского, отличающейся сочетанием скрупулезного анализа самого частного факта биографии с глубоким осмыслением проблематики творчества Чернышевского в целом»¹⁰.

Год спустя после статьи об изучении Чернышевского саратовскими учеными в местном издательстве вышли две работы И.В. Пороха — статья «Герцен о процессе Чернышевского»¹¹ и книга «Герцен и Чернышевский»¹². Книга стала заметным явлением не только в научной жизни Саратова. На нее откликнулись столичные историки, заинтересовала она и некоторых зарубежных исследователей. В своих воспоминаниях об Ю.Г. Оксмане И.В. Порох свидетельствовал, что Юлиан Григорьевич «с большим одобрением отнесся к этой книге, послав ее зарубежным специалистам». В результате собирался говорить о ней профессор Локыс в обзоре герценовской литературы для берлинского журнала. Как извещал Ю.Г. Оксман И.В. Пороха, «проф. Ламперт очень хвалит вашу книжку в письме ко мне»¹³. Свое мнение Е. Ламперт сообщил и автору книги. «Считаю, — писал он ему 12 сентября 1963 года, — что это одна из самых ценных вещей, посвящённых этой теме... Я в свою очередь и наперекор всем стихиям западного герценоведения старался и стараюсь выяснить вопрос об отношениях Герцена и Чернышевского именно в том смысле, в каком Вы это делаете. В Вашей книге я нашел солидную поддержку и не могу не чувствовать настоящей благодарности к Вам»¹⁴. О внимании к работе И.В. Пороха английского исследователя Э. Актона сообщала И.В. Пороху Л. Сухотина¹⁵.

У автора книги были солидные предшественники в изучении темы: Ю.М. Стеклов, Н.М. Покровский, М.К. Лемке, М.М. Клевенский — в 1918—1930 годы, Е.М. Зеликина, М.В. Нечкина, Б.П. Козьмин, Ш.М. Левин, А.Е. Кошовенко. Т.И. Усакина, Я.И. Линков, Р.А. Таубин — в 1940—1960 годы. Все это статьи в сборниках или страницы в книгах. Однако, по справедливой оценке одного из рецензентов, «остро ощущалась потребность в такой работе, где бы подводились итоги всего того, что было сделано дореволюционными и советскими историками по проблематике, связанной с творчеством Герцена и Чернышевского».

И прежде всего именно в этом смысле книга саратовского исследователя отвечает назревшей задаче. Она удачно идет навстречу запросам читательских кругов и в том отношении, что явилась строго научной по содержанию и одновременно доступной по литературно-популярному изложению¹⁶. Академик Н.М. Дружинин также утверждал в частном письме от 15 ноября 1963 года: «Работа построена на большом материале, который глубоко продуман и прочувствован», она «соединяет в себе научную содержательность с популярным доходчивым изложением»¹⁷. По мнению Е. Подъяпольской, книга «написана увлекательно»¹⁸.

В связи с дискуссией 50-х годов, которая так и «не завершена», книга И.В. Пороха рассмотрена Н.М. Пирумовой. В книге наиболее удачно, по мнению рецензента, прослежена история взаимоотношений Герцена и Чернышевского. Недостаточно выясненной остается задача, являющаяся, впрочем, «темой отдельного исследования» — «определить влияние, которое оказали оба мыслителя на идейную жизнь России XIX века»¹⁹.

Рецензенты единодушно поддержали главную, методологически значимую исследовательскую позицию автора: «Не всегда политические взгляды и тактические установки Герцена и Чернышевского полностью совпадали. Были между ними разногласия, подчас довольно острые. Но в конечном итоге Герцен был совершенно прав, заявив, что они с Чернышевским не только не представляли антагонизма, но, напротив, служили взаимным дополнением друг другу. В освободительной борьбе 50—60-х годов XIX века Герцен и Чернышевский возглавили демократический натиск на самодержавие»²⁰.

К достоинствам книги относятся ее источниковедческая оснащенность, а также привлечение в ряде случаев новых архивных документов (агентурные донесения чиновников III отделения о толках и слухах по поводу сочинений Герцена и Салтыкова-Щедрина, отклик одного из корреспондентов «Колокола» Э.П. Перцова на предисловие Герцена к знаменитому «Письму из провинции»); обоснованная критика исследователей, отрицавших, что Чернышевский в течение ряда месяцев в 1858 году считал возможным оказывать Александру II поддержку в его реформистских намерениях; хорошо аргументированная полемика с иссле-

дователями в пользу предположения об отсутствии в России до «Земли и Воли» оформленной тайной революционной организации; полновесно собранные и тщательно систематизированные данные об отношении Герцена к процессу над Чернышевским.

Критические замечания сводятся, например, к тому, что автор не учел сложности формирования взглядов молодого Герцена, прошедшего через увлечения религиозным мистицизмом (Н.М. Пирумова), переоценена роль Герцена в создании «Земли и Воли» (Э. Актон), дается неполная трактовка «русского социализма» Герцена (Н.М. Дружинин), Я.И. Ростовцев объявлен откровенным крепостником, заметна нечеткость в характеристике отношений Чернышевского к вопросам о земельных наделах освобождаемых крестьян (В.Н. Бочкарев). К этим замечаниям можно присоединить не всегда удачную попытку автора максимального сближить позиции Герцена и Чернышевского²¹.

Вскоре после выхода книги в свет И.В. Порох начал большую, потребовавшую особых усилий, сосредоточенности во времени и глубоких источниковедческих изучений работу по подготовке сборника документов, освещающих процесс над Чернышевским²².

Следственное дело Чернышевского (1862—1864) явилось результатом вопиющего беззакония и произвола со стороны правительства Александра II. Вполне понятно и объяснимо желание вскрыть закулисную сторону судебной инсценировки, не оставшейся тайной для современников. Это стремление руководило Н.А. Некрасовым, который представил управляющему III Отделением А.Л. Потапову письмо студентов от 13 апреля 1863 года, с очевидностью доказывающее лжесвидетельство П. Яковлева — сообщника главного провокатора В.Д. Костомарова. Это стремление руководило и А.И. Герценом, напечатавшим в «Колоколе» сенатскую «Записку» по делу Чернышевского и в примечаниях к ней заклеившим его палачей.

Но вся подноготная суда и следствия над Чернышевским была полностью раскрыта только в последующие годы, когда стали доступны архивы жандармских и государственных учреждений. Сначала книга М.К. Лемке²³, затем сборник Н.А. Алексеева²⁴ познакомили общественность с многочисленными подлинными документами дела.

Особенно ценным в этом смысле представляется труд Н.А.Алексеева, исследователя, много и плодотворно изучавшего биографию и литературное наследие писателя²⁵. Он проверил по первоисточникам следственные материалы, напечатанные ранее М.К.Лемке, провел значительную текстологическую работу, устранив погрешности, допущенные его предшественником. Полностью воспроизведены почти все материалы, которые прежде давались в извлечениях, вольном пересказе или упоминались вскользь, свыше сорока документов опубликовано впервые.

Тем не менее изданная еще в 1939 году книга давно стала библиографической редкостью, к тому же страдала неполнотой и не удовлетворяла современным требованиям научной публикации исторического документа. Недостатки сборника Н.А.Алексеева, в свое время справедливо отмеченные²⁶, были во многом устранены И.В.Порохом. Вновь сверено по архивным подлинникам большинство документов, при этом каждый из них археографически описан. Проведена дополнительная работа по научному комментированию, и нередко примечания, особенно это характерно для первого раздела книги, включают публикацию новых материалов, расширяющих существующие представления о том или ином историческом событии или деятеле общественного движения. За счет новых сообщений пополнены, например, сведения о журналисте А.С.Гиероглифове, доставившем агентам политического сыска немало хлопот (с. 599—600). Историками тайных кружков в Казани, Перми и других городах Поволжья и Урала, несомненно, замечена публикуемая впервые переписка высших чинов III Отделения по поводу рапорта-доноса Пушкарева (с. 602—603). Любопытны новые материалы, касающиеся взволновавшей весь литературный Петербург истории с высылкой профессора П.В.Павлова (с. 604—605). Самостоятельную ценность приобрела впервые переведенная на русский язык статья Шарля де Мазادا «Россия при императоре Александре II» (с. 550—588). Существенным достоинством книги является также публикация профессором С.А.Рейсером научно выверенного текста прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Вступительная статья И.В.Пороха «Процесс Чернышев-

ского и общественность России» (с. 1—68) — образец всестороннего научного исследования темы.

Материал сборника хорошо систематизирован. В книге четыре основные части, в которых последовательно представлены история ареста Чернышевского, суда и следствия над ним. Четко выявленное тематическое распределение всей массы документов облегчает пользование сборником, делает его по сравнению с предшествующими трудами более доступным широкому кругу читателей. Способствуют этому подробное оглавление и указатель имен — необходимые компоненты любого научного издания.

«Приволжское издательство порадовало выпуском отличной книги», — писал профессор Е.И. Покусаев, отметивший ее «добротную научную подготовку», несмотря на отдельные неточности²⁷. Профессор М.Г. Зельдович: «Хорошо и вдумчиво организованное документальное повествование»²⁸. Положительно отозвался о сборнике Н.Я. Эйдельман в письме к И.В. Пороху от 12 февраля 1969 года, обещая обратиться к Ю.М. Короткову с просьбой о рецензии для «Нового мира»²⁹. Отозвался в этом журнале о книге, «подготовленной превосходно во всех отношениях», В.В. Жданов³⁰. Для поволжского журнала составил положительную рецензию профессор Н.А. Троицкий³¹. Приватно поддержали высокую оценку сборника академик Н.М. Дружинин, профессора Ш.М. Левин, С.Н. Валк³². Говоря о «хорошем общем впечатлении от издания», А.С. Нифонтов в частном письме поделился некоторыми критическими суждениями: не совсем объективно поданы А.В. Никитенко, А.В. Головнин, отношения которых к Чернышевскому были сложнее, не только отрицательными; могли бы оказаться полезными более развернутые и индивидуальные характеристики руководителей процесса над Чернышевским — А.Л. Потапова, В.А. Долгорукого, А.А. Суворова, оттенки в поведении которых отражались на ходе следствия³³. Американский исследователь Даниэл Филд в своей печатной рецензии на сборник³⁴ назвал И.В. Пороха «выдающимся представителем особого направления русской историографии — изучения общественного движения». Вступительную статью составителя он оценил как «прекрасную монографию», отметил «выдающуюся эрудицию и энтузиазм Пороха». В то же время зарубежный историк

пришел к выводу, что дело Чернышевского продолжает быть неисследованным вполне, поскольку ему приписывается авторство прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», и, судя по опубликованным документам, «сам Чернышевский — все еще лучший аналитик дела, которое велось против него»³⁵. В отечественной печати было обращено внимание на некоторые фактические ошибки, вкравшиеся в книгу³⁶.

Последовавшие после книги «Дело Чернышевского» публикации подтвердили неослабевающий интерес ученого к Чернышевскому. Вышла небольшая монография об одном из современников Чернышевского, саратовце Н.А. Мордвинове³⁷, статьи о похоронах Н.А. Добролюбова³⁸, о коллеге Чернышевского по саратовской гимназии Е.А. Белове³⁹, о поездке А.Н. Пыпина к Герцену в Лондон⁴⁰. Особое место занимает книга, открывающая замысел ученого серией изданий всесторонне осветить проблему «Чернышевский и его окружение»⁴¹. «Установление поименного состава окружения властителя дум молодого поколения, — писал И.В. Порох во вступительной статье, — может явиться предпосылкой для расшифровки литературных прототипов некоторых персонажей, встречающихся в сочинениях Н.Г. Чернышевского и близких к нему молодых писателей, особенно из среды разночинцев. Кроме того, сведения, полученные при глубоком изучении материалов, связанных с окружением революционного демократа, обогатят «летопись» Н.Г. Чернышевского, нуждающуюся в более обстоятельной подборке разнообразных фактов и в органическом включении их в биографию писателя-революционера»⁴². В книгу вошли научно-популярные очерки об А.Н. Пыпине, Г.Е. Благосветлове, Н.И. Костомарове, Е.А. Белове⁴³, А.Н. Пасхаловой, Д.Л. Мордовцеве, М.А. Воронове, В.Л. Поляке. К сожалению, замысел И.В. Пороха ограничен изданием лишь одного сборника. Между тем он заслуживает развития и ждет своих энтузиастов.

Последние годы жизни И.В. Порох интенсивно занимался организацией научных конференций по Чернышевскому, участием в редактировании выпусков сборника «Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», у истоков которого стоял его учитель Ю.Г. Оксман вместе с А.П. Скафтымовым и Е.И. Покуса-

евым. И.В. Пороху довелось рецензировать первый выпуск сборника⁴⁴, во втором, третьем и четвертом он выступил автором статей⁴⁵. Яркое, талантливое творчество Игоря Васильевича, вписавшего в науку о Чернышевском содержательные страницы, всегда будет служить образцом научной высоты и самоотверженного служения.

Примечания

¹ См.: *Сушицкий В.* Саратовский университет и Н.Г. Чернышевский. 1909—1934 / Под. ред. В.А. Артисевич. Саратов, 1934; *Супоницкая П.А.* Изучение Н.Г. Чернышевского в Саратове за советский период: Биография. Саратов, 1960; *Дербов Л.А.* Историческая наука в Саратовском университете. Саратов, 1983; *Демченко А.А.* Изучение Чернышевского в университете имени Чернышевского // *Методология и методика преподавания русской литературы и фольклора: Ученые-педагоги саратовской филологической школы* / Под. ред. проф. Е.П. Никитиной. Саратов, 1984. С. 18—34.

² См.: *Порох И.В.* Нетленное прошедшее // Юлиан Григорьевич Оксман в Саратове. 1947—1958 / Под ред. проф. Е.П. Никитина. Саратов, 1999. С. 71.

³ Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. / Под. ред. Ю.Г. Оксмана. Саратов, 1958—1959. Т. 1. С. 279—311.

⁴ *Новикова Н.Н.* «Великорусс» и его место в демократическом движении периода революционной ситуации 1859—1861 гг.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1951; *Новикова Н.Н.* Комитет «Великорусса» и борьба за создание революционной организации в эпоху падения крепостного права // *Вопросы истории.* 1957. № 5.

⁵ Напр., см.: *Шаниро А.* Славный путь // *Учительская газета.* 1959. 17 сентября; *Сенцов В.* // *Советская Якутия.* 1960. 5 марта; *Рюриков Б.* Чернышевский как личность и характер // *Новый мир.* 1960. № 6. С. 232—244.

⁶ *Рейсер С.А.* Воспоминания о Чернышевском // *Вопросы литературы.* 1960. № 4. С. 215.

⁷ *Рейсер С.А.* Воспоминания А.А. Слепцова // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы. Саратов. 1962. Вып. 3. С. 249—282.

⁸ Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников / Сост. Е.И. Покусаев и А.А. Демченко. М., 1982. С. 233—242.

⁹ *Покусаев Е.И., Порох И.В.* Жизнь и деятельность Н.Г. Чернышевского в трудах саратовских ученых // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы. Саратов. 1962. Вып. 2. С. 305—324.

¹⁰ *Литература и жизнь.* 1958. 22 октября. № 85.

¹¹ *Проблемы изучения Герцена.* Сб. статей / Под. ред. Ю.Г. Оксмана. М., 1963. С. 215—233.

¹² *Порох И.В.* Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963.

¹³ *Порох И.В.* Нетленное прошедшее // Юлиан Григорьевич Оксман в Саратове. 1947—1958. Саратов, 1999. С. 77.

¹⁴ Из личного архива И.В. Пороха. Это письмо и несколько других частных откликов о работах И.В. Пороха были представлены нам для ознакомления сыном ученого профессором В.И. Порохом, за что его благодарим. Ссылки на эти материалы впредь будут оговариваться особо.

- ¹⁵ Из личного архива И.В. Пороха.
- ¹⁶ *Бочкарев В.* Герцен и Чернышевский // Русская литература. 1964. № 1. С. 214. Доктор ист. наук, проф. В.Н. Бочкарев держал И.В. Пороха в курсе дел относительно своих переговоров с В.Г. Базановым, обещавшим опубликовать рецензии в «Русской литературе» (письмо от 10 октября 1963 года. — Из личного архива И.В. Пороха).
- ¹⁷ Из личного архива И.В. Пороха.
- ¹⁸ Письмо от 18 мая 1963 года. — Из личного архива И.В. Пороха.
- ¹⁹ Вопросы истории. 1964. № 6. С. 146—148.
- ²⁰ *Порох И.В.* Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963.
- ²¹ *Демченко А.А.* Н.Г. Чернышевский. Научная биография: В. 4 т. Саратов, 1978—1994. Т. 2. С. 91—92, 280—281; Т. 3. С. 14—31, 41—44.
- ²² Дело Чернышевского. Сборник документов / Подг. текста, введ. статья и коммент. И.В. Пороха; общ. ред. Н.М. Чернышевской. Саратов. 1968. Ссылки на страницы сборника в тексте статьи.
- ²³ *Лемке М.* Политические процессы в России 1860-х гг. Изд. 2-е. М. — Пг., 1923. С. 161—502. Некоторые материалы по делу Чернышевского были им опубликованы в книге «Политические процессы М. И. Михайлова, Д.И. Писарева и Н.Г. Чернышевского» (СПб., 1907).
- ²⁴ Процесс Н.Г. Чернышевского (архивные документы) / Под ред. Н.А. Алексеева; введ. статья А.М. Панкратовой. Саратов, 1939.
- ²⁵ См. подробнее: *Чернышевская Н.М.* Н.А. Алексеев // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1962. Вып. 3. С. 371—376.
- ²⁶ *Борщевский С.* Процесс Н.Г. Чернышевского // Литературный критик. 1940. № 2, С. 181—188; Козьмин Б.П. Процесс Н.Г. Чернышевского // Литературное обозрение. 1940. № 8. С. 53—56.
- ²⁷ *Покусаев Е.* Расправа // Коммунист (Саратов). 1969. 23 марта. № 70.
- ²⁸ *Зельдович М.* «Святая нераскаянность» // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 225—227.
- ²⁹ Из личного архива И.В. Пороха.
- ³⁰ Новый мир. 1969. № 8. С. 283—284.
- ³¹ Волга. 1969. № 8. С. 178—180.
- ³² Из личного архива И.В. Пороха.
- ³³ Письмо от 9 февраля 1969 года.
- ³⁴ Из личного архива И.В. Пороха.
- ³⁵ Текст перевода из личного архива И.В. Пороха.
- ³⁶ *Демченко А.А.* Процесс Н.Г. Чернышевского // Русская литература. 1970. № 1. С. 238—244. Об отношении И.В. Пороха к этой рецензии см.: *Демченко А.А.* Личность ученого (И.В. Порох) // Пропагандист великого наследия: Сб. науч. тр. Саратов, 2002. Вып. 3. С. 140.
- ³⁷ Порох И.В. История в человеке: Н.А. Мордвинов — деятель общественного движения в России 40—80-х гг. XIX в. / Под. ред. В.В. Пугачева. Саратов, 1971.
- ³⁸ *Порох И.В.* Речь Н.Г. Чернышевского на похоронах Н.А. Добролюбова и ее общественный резонанс // Н.Г. Чернышевский. История. Философия. Литература / Отв. ред. А.А. Демченко. Саратов, 1982. С. 35—42.
- ³⁹ *Порох И.В.* Н.Г. Чернышевский и Е.А. Белов // Пропагандист великого наследия: Из истории Дома-музея Н.Г. Чернышевского / Отв. ред. А.А. Демченко. Саратов, 1984. С. 107—112.
- ⁴⁰ *Порох И.В.* Лондонские встречи А.Н. Пыпина с А.И. Герценом (К вопросу об

их взаимоотношениях) // Освободительное движение в России: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Н.А. Троицкий. Саратов, 1991. Вып. 14. С. 17—26.

⁴¹ Саратовские друзья Чернышевского / Сост. Г.П. Муренина; под. общ. ред. И.В. Пороха. Саратов, 1975.

⁴² Там же. С.1.

⁴³ Автором очерка о Е.А. Белове («Вместе и в одном направлении») был И.В. Порох — см. там же. С.44—55.

⁴⁴ Порох И.В. Новый труд о Чернышевском // Коммунист (Саратов). 1958. 24 июля. № 173.

⁴⁵ Порох И.В. Из дневниковых записей И.Е. Забелина // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1962. Вып. 3. С. 283—289; Порох И.В. Из цензурной истории воспоминаний П.Ф. Николаева о Н.Г. Чернышевском // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материал. Саратов, 1965. Вып. 4. С. 251—253.

СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии	3
----------------------	---

Исследования и статьи

<i>И.П. Щерблыкин.</i> Художественная интерпретация истории в романах Н.Г.Чернышевского	6
<i>Т. Симосат.</i> Н.Г. Чернышевский и задачи современной критики	15
<i>Е.В. Листвина.</i> Н.Г. Чернышевский и культура повседневности	21
<i>Н.М. Белова.</i> П.Л. Лавров и Н.Г. Чернышевский об исторической роли великой личности	26
<i>С. Сигура.</i> Некоторые вопросы о разуме в контексте политической мысли 60-х годов XIX века в России	32
<i>В.Н. Белов.</i> Неокантианство как духовное явление в России на рубеже XIX и XX веков	38
<i>Н.В. Шалаева.</i> Русские мыслители начала XX века о Н.Г. Чернышевском и различии	48
<i>К.В. Ратников.</i> Категория комического в интерпретации Н.Г. Чернышевского и С.П. Шевырева	56
<i>О. Он.</i> Изучение творчества Н.Г. Чернышевского в Японии	65
<i>С.В. Беспалова.</i> Социально-психологическая проблематика в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя	72
<i>С.В. Клименко.</i> Социальная утопия Чернышевского в рассказе В. Пелевина «Девятый сон Веры Павловны»	83
<i>Г.А. Аветисян.</i> Поэтическое творчество А.Н. Чернышевского	93

Сообщения и материалы

<i>Т.Н. Метласова.</i> Неопубликованные варианты предисловия к роману Чернышевского «Повесть в повести»	106
<i>О.Я. Гусакова.</i> Н.Г. Чернышевский об энциклопедизме в журнале Полевого «Московский телеграф»	120
<i>З.И. Рустамова.</i> К вопросу о роли Дневника в жизни и творчестве Чернышевского	129
<i>Е.Н. Багдасарова.</i> Чернышевский в памяти астраханцев	134
<i>Е.Н. Манова.</i> Чернышевский в воспоминаниях И.А. Баталина	145

<i>О. Он.</i> О спиритизме в эпоху Александра II	152
<i>В.В. Мельгунов.</i> Некрасов в письмах Е.Н. Пыпиной о Чернышевском	159
<i>О.В. Тимашова, А.Ф. Писемский и Н.А. Некрасов:</i> историко-литературная параллель	168
<i>Ю.А. Пинчук.</i> Знаменитости XIX века: Костомаров и Чернышевский	174
<i>Р.В. Булатова.</i> Пыпин-славист (о значении трудов Пыпина для сербов) ...	182
<i>А.С. Озерянский.</i> Н.Г. Чернышевский и А.Н. Пыпин об общественном сознании и перспективах России (1860-е годы)	194
<i>И.В. Пузанкова.</i> Н.Г.Чернышевский и А.Н.Пыпин в сети Интернет	203
<i>Г.Ф. Самасюк.</i> Библиизмы в сказках Щедрина: опыт словаря	207
<i>Е.А. Ремпель.</i> «Пошехонская старина» М.Е.Салтыкова-Щедрина: смысл и поэтика подзаголовка «Житие Никанора Затрапезного»	225
<i>В.И. Порох.</i> Начало творческого пути М.И. Семевского	232
<i>А.А. Демченко.</i> К истории науки о Чернышевском:	
Игорь Васильевич Порох	250

Научное издание

Н.Г. Чернышевский
Статьи, исследования и материалы

Вып. 15

Редактор *Е.В. Сатарова*
Верстка *Л.В. Дёмкина*

Формат 60x90 1/16. Усл. печ. листов 16,5. Тираж 200 экз.

Московский городской педагогический университет
Редакционно – издательский отдел.
129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., 4.

Изготовлено ООО фирмой «Ин – Кварто».
119034, Москва, Курсовой пер., 17.
Тел / факс. 111-87-88.